



И. Е. Забелин

ДОМАШНИЙ БЫТ
РУССКИХ ЦАРИЦ
в XVI и XVII столетиях

И.Е. ЗАБЕЛИН

ДОМАШНИЙ БЫТ
РУССКИХ ЦАРИЦ
в XVI и XVII столетиях



НОВОСИБИРСК
“Н А У К А”
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1992

ББК 63.3 (2) 4
3-12



Печатается по:

З а б е л и н И. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. — М., 1901.

ISBN 5—02—029796—8

© Издательство “Наука”, 1991
© Предисловие, канд. филол.
наук В.Н. Алексеев, 1992

ПРЕДИСЛОВИЕ

Долгие годы научное наследие почетного члена Петербургской академии наук Ивана Егоровича Забелина (1820—1908 гг.) пребывало в незаслуженном забвении у читающей публики. Но еще в начале века он считался признанным знатоком в области русской старины. К его авторитету апеллировали А.Н. Островский и Л.Н. Толстой, В.М. Суриков и А.М. Васнецов, М.М. Антокольский, К.С. Станиславский и многие другие деятели литературы и искусства. Взыскательнейший критик И.С. Тургенев писал историку: “Ни у кого не нахожу я той ясной простоты изложения и того русского духа (в хорошем смысле этого слова), которые мне так нравятся в ваших вещах“. Тем не менее как историк И.Е. Забелин известен сегодня лишь небольшому кругу специалистов.

Однако сейчас, когда в обществе вновь возродился интерес к русским национальным традициям, к духовной культуре прошлого, труды И.Е. Забелина, насыщенные фактическим материалом, согреты искренней теплотой и любовью к родной истории, приобретают особое значение. Исследования Забелина созвучны сегодняшнему пониманию необходимости постижения и сохранения исторического и культурного наследия наших предков.

Воспитанник Преображенского сиротского училища в Москве, И.Е. Забелин семнадцатилетним юношей поступает на службу в Оружейную палату. С этого момента и более 70 лет жизнь его была посвящена неустанному и плодотворному труду. С именем И.Е. Забелина, почетного члена Петербургской Академии наук, председателя Общества истории и древностей российских связано создание и начальный этап работы Исторического музея, фактически руководителем которого он был.

Как историк И.Е. Забелин придавал исключительное значение факту и не стремился к теоретизированию. В отличие от Н.М. Карамзина, от своих современников С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, И.Е. Забелин не ставил задачу создания обобщающего труда по истории России, видя своей целью работу над двумя важнейшими, по его мнению, темами — историей русской жизни, русского домашнего быта и историей города Москвы. Среди множества написанных им книг, статей и заметок главнейшие его работы — знаменитый двухтомный труд “Домашний быт русского народа в XVI—XVII столетиях“ (I том: “Домашний быт русских царей“, II том: “Домашний быт русских цариц“), двухтомник “Материалов

для истории, археологии и статистики города Москвы“ и собственно “История города Москвы“, закончить которую ученому не удалось.

Исключительная приверженность исследователя фактической стороне событий подчас становилась поводом для пренебрежительного отношения к его трудам, но именно это качество работ И.Е. Забелина обеспечило им долголетие. Оказались плодотворными многие идеи И.Е. Забелина, как бы оброненные мимоходом щедрой рукой. Можно сказать, что сбылось его предположение: “... и старые исследования бывают бесполезны для новых изысканий и заключений“. Так, например, идея художественного “родства“ собора на Красной площади и индийской пагоды получила обстоятельное и фундаментальное развитие в новейшем (1988 г.) исследовании Н.И. Брунова о композиции храма Василия Блаженного.

Затрагивая вопрос об иноземных влияниях на древнерусское искусство, И.Е. Забелин высказал ценную мысль о том, что Русь, всегда открытая для разных художественных влияний как с востока, так и с запада, тем не менее сохраняла самобытность своего искусства и архитектуры. Причину этой самобытности историк усматривал в организующей и объединяющей роли русской православной церкви, в том, что искусство, по его словам, “сосредоточивалось у Божьего храма“.

Весьма актуально и даже злободневно воспринимаются сегодня рассуждения историка, связывающего степень действенности иноземных влияний с состоянием народной свободы. Он пишет: “Всякая доля свободы необходимо развивает в народе чувство самобытности, также как всякая доля неволи необходимо принижает и совсем истребляет это великое и могущественное чувство для всякого совершенствования жизни. Чужие формы в искусстве, чужие идеи в жизни принимают господствующее, то есть угнетающее положение у народа лишь в то время, когда нет у него свободы и вся его самостоятельность находится под запрещением. Как скоро развязываются путы суровой всесторонней опеки, народ неминуемо по всем направлениям своей жизни обнаруживает стремление выразить собственное существо, собственную мысль, собственное чувство. Наше существо, конечно, скрывается в нашей старине, по крайней мере, оно там родилось, выросло и воспитано...“.

Думается, что современному читателю будет небезынтересно сочинение русского историка, чья жизнь и труды прошли под знаком идеи “победить в обществе равнодушие к собственной древности“.

В.Н. Алексеев

Настоящий текст печатается по третьему изданию с дополнениями: Сочинение Ивана Забелина “Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст.“ (М., 1901). Главы I—IV, VI приводятся в сокращении (пропуски текста показаны многоточиями; крупные пропуски — многоточиями в угловых скобках); глава (“Царицын дворовый чин“), а также “Материалы“ и указатель опущены. Орфография и пунктуация приближены к современным. Сохранены разночтения в написании некоторых имен и названий.

ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
В ДОПЕТРОВСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Котошихин в известном своем сочинении “О России в царствование Алексея Михайловича” рассказывает, что когда были московские послы на свадьбе у польского короля, то правили посольство и подносили свадебные дары от царя и от царицы особо королю и особо королеве. Править посольство значило исполнять его самолично пред лицом потентата. Желая в той же мере отблагодарить Московского царя, и Польский король посылал к царю своих послов и велел посольство править и дары подносить от себя и от королевь царю и царице тоже каждому особо, как делали наши послы в Польше. Этого, конечно, требовало обычное вежество, обыкновенный этикет во взаимных сношениях двух государей. Но справив посольство и поднеся дары царю, польские послы по московскому обычаю не были допущены к царице. “А к царице посольства править и ее видеть не допустили, — говорит Котошихин; — а отговорились тем: назвали царицу больною; а она в то время была здорова. И слушал у послов посольства, т.е. обычные речи, и дары за царицу принимал царь сам“. Точно то же случилось с английским послом, приезжавшим к царю с дарами по такому же поводу в 1663 году.

“Для чего так творят?“ — вопрошает Котошихин, желая раскрыть иноземцам, для которых он писал свое сочинение, истинные причины этого обычая, и делая с этой целью свой достопамятный ответ.

“Для того, отвечает он, что московского государства женский пол грамоте неученые, и не обычай тому есть, а природным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы: понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственников, чужие люди, никто их, и они людей видети не могут. И поэтому можно дознаться, от чего б им быть гораздо разумными и смелыми. Так же как и замуж выйдут, и их потому ж люди видают мало. И только б царь в то время учинил так, что польским послам велел бы быть у царицы своей на посольстве; а она бы, выслушав посольства, собою ответа не учинила б никакого, и от того пришло б самому царю в стыд“.

Настоящий случай, почему царица не вышла принять посольство, Котошихин объясняет не совсем верно, ибо править посольство иноземным послам прямо пред лицом царицы строго воспрещал стародавний обычай. Послы не могли видеть царицу не потому, что царь боялся стыда от ее несмышленных и стыдливых отговоров, а потому, что хоромы царицы были совсем недоступны не только для иноземных послов, но и для своего народа, даже для всего боярства и всего двора, за исключением самых близких ей людей, обыкновенно близких ее родственников или самых доверенных слуг дворца. Но, неверно объясняя частный случай, Котошихин очень верно и вполне обстоятельно изображает вообще положение женской личности в нашем старом обществе, рисует действительность, над постепенным созиданием которой усердно работали целые века и целый ряд поколений. Короткими словами, но очень живо, он рисует вместе с тем и характеристику самого общества, ибо характеристика женской личности всегда служит вполне верным изображением самого общества. Напрасно мы будем отвергать суровую, быть может слишком жесткую правду этого отзыва, приводя в доказательство некоторые имена, заявившие своею жизнью и умственную и нравственную самостоятельность женской личности; напрасно мы будем смягчать простую и может быть оттого слишком грубую и резкую силу этих неподкупных слов, указывая на некоторые идилли, в которых выражались, иногда даже очень благодушно, семейные и общественные отношения женской личности и которые, сказать по правде, в той красоте, какая им приписывается, существуют только в воображении добрых защитников всего доброго и нравственного по форме. «...» Отзыв Котошихина, оправдывается не какими-либо исключительными одиночными явлениями, а всем строем допетровского русского быта, общим положением и умонастроением тогдашней жизни, всею нравственною стихиею общества. Некоторые исторические явления, некоторые юридические определения, придававшие женщине самостоятельный смысл, не могут колебать самой основы старых воззрений. Такие личности, как напр., Софья Витовтовна — литовка, Софья Фоминишна — гречанка, Елена Васильевна Глинская — тоже иноземка, которые как известно, пользовались некоторою долею женской свободы, по крайней мере иногда принимали лично иноземных послов и не прятались в своих хорамах, когда обстоятельства требовали их участия в подобных церемониях; такие личности, как иноземки, ничего не могут объяснить в отношении общей характеристики. Некоторая доля самостоятельности принадлежала им потому, что они были чужие, что личность их, по их иноземству и по высокому значению их рода, сама собою уже приобретала в глазах Русского общества особенное, независимое положение, которое ни в каком случае не могло равнять их со своими, а потому и освобождало некоторые их поступки от привычных ограничений женского быта. Но, воспитанные в обычаях, дававших больший простор женской личности, они однако ж, в московском дворце должны были жить так, как повелось исстари, т.е. должны были подчиниться тем понятиям и порядкам жизни, какие повсеместно господствовали в Русской земле. А

эти понятия почитали весьма зазорным всякое обстоятельство, где женская личность приобретала какой-либо общественный смысл: эти понятия признавали ее свободу, и то в известной мере, в одних лишь семейных отношениях и в положениях исключительно семейного общежития. «...» Известная выработка идей и представлений в этом направлении привела вообще к тому, что женская личность своим появлением в обществе нарушала как бы целомудрие публичного общежития, не говоря уже о том, что собственное ее целомудрие при таком подвиге, в глазах века, погибало окончательно. Одному мужчине исключительно принадлежали интересы общественности. Женщине оставалась обязанность жить дома, жить семейно, быть человеком исключительно домашним, и в существенном смысле быть вместе с домом и домочадцами только орудием, средством для жизни общественного человека — мужчины.

В одном только случае самостоятельность женщины являлась законною и неоспоримою — в том случае, когда она становилась главою дома; а это могло произойти лишь при том обстоятельстве, когда по смерти мужа она оставалась *матерою* вдовою, т.е. вдовою — матерью сыновей. И мы видим, что *матерая* вдова в древнем Русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль; мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а след. и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами.

Но матерая вдова все-таки была явлением случайным, в некотором смысле исключительным. Личность никак не может служить мерою самостоятельности женской личности вообще. Матерая вдова являлась случайным представителем дома, семьи, которая стояла уже так сказать на материке, т.е. на корню, ибо сыновья всегда придавали семье именно это значение корня. Вдова бездетная, у которой не оставалось под ногами материка или корня, у которой со смертью мужа разрушалась и семья, такая вдова по убеждению века равнялась в своем значении с сиротою, и в древнейший период нашей истории вместе с сиротами, убогими, калеками и пр. и всеми беззащитными личностями поступала под покровительство церкви, причислялась к людям церковным, *богодельным*, т.е. к людям, забота об участии которых была *делом Божиим*, потому что не была делом общественным. Вот почему вдова без сына почитает себя тоже сиротою. Одно это может уже свидетельствовать, что личность женщины не имела ни малейшей *общественной* самостоятельности и как скоро выделялась из семьи, где только и сохраняла известную долю самостоятельности, то теряла и эту малую долю самостоятельного значения и приравнивалась ко всем сиротствующим, совершенно беззащитным в общественном смысле, так что по необходимости переходила под опеку церкви, подававшей ей руку вместо общества, которое отрицало в женском достоинстве всякий смысл личности, имевшей какие-либо общественные, а не семейные только домашние права.

. Идиллики истории очень серьезно и с подобающею ученостью, со ссылками на летописи и другие источники, с выписками подлин-

ных текстов доказывают, что напр. “красота жены ценилась”: Святослав женит сына Ярополка на пленнице-гречанке “красоты ради лица ее”; Ольга удивляет красотой лица греческого императора; что “жена имела право на часть мужнина имения; что все заботы о детях возлагались на мать; что попечения и заботы, которые употребляла мать при воспитании детей своих, давали ей в народном воззрении неоспоримое право на уважение последних; что тесная связь матери с детьми не могла не оказывать влияния на последних: характер матери явственно отражался и в детях; что девушку не стесняли в ее действиях (следуют доказательства и подтверждения о том, как девицы постригались в монахини); что дочь-девица имела участие во всех событиях своей семьи; что покидая семью родительскую при выходе замуж, девушка однако не прерывала связи с нею; что воспитанная в общем кругу родной семьи, одинаково согретая любовью отца и матери, русская женщина этого времени (до монголов), являясь женою, стоит нравственно на одном уровне с мужем. В этом лежит объяснение тех отношений, которые возникают между ними. Подружье — название жены в книжном языке, ладой зовет жена мужа в языке народном. Равна жена мужу в законе: кто убьет жену — тот же суд, как за мужа. (Здесь однако ж закон, Русская правда, говорит вообще об убийстве женщины, а не о жене мужа). Любите жену свою, учит детей хороший отец (Владимир Мономах, который тотчас же и прибавляет другое поученье, пропускаемое автором: *но не дайте им над собою власти, что собственно значит: властвуйте над ними*). Жена стоит рядом с мужем, живет с ним одною жизнью, разделяя радость и горе, сопутствуя ему всюду, участвуя в самых сокровенных его думках. Муж видит в ней лучшего друга, спутника жизни, поверяет ей все; что где бы ни был муж, мысль о жене не покидает его; что жена была не стеснена в своей жизни, могла действовать свободно (доказательства: Верхуслава ведет переписку с епископом Симоном, принимает большое участие в монахе Поликарпе, желая устроить его где-либо епископом, вот и все); что жена могла иметь свою собственную землю, села; жена независимо от мужа могла иметь свою казну и т.д. (См.: Русская женщина в домонгольский период. Историческое исследование Александра Добрякова. Спб., 1864).

Подобные идиллические заключения носят в сознании многих изыскателей нашей старины; но в сущности они обнаруживают только какое-то странное сомнение во всем том, что составляет существо человека, будет ли он мужчина или женщина, и что никогда не подвергалось спору, в чем ни один рассудительный человек никогда и нигде не мог сомневаться. Все выводы, с таким усердием добытые из летописей, житий, грамот и т.д., сводятся к одному, что жена любила мужа, а муж любил жену; что мать любила детей, а дети любили мать; что женщина, как член семьи, пользовалась семейными правами, пользовалась известными правами как человек вообще и как член семьи в особенности. Кто же мог когда-либо в этом сомневаться? История застаёт древнюю Русь именно на той степени исторического развития, когда семья составляет единственный и непосредственный узел народной жизни, когда семья состав-

ляет существо, основу народного быта; когда, следовательно, семейные добродетели являются неизбежным последствием, естественным продуктом жизни. Доказывать ученым образом, что муж любил жену, а мать любила детей, все равно, что доказывать, что и в старину жили также люди. Не в том дело, имела ли женщина-человек человеческие чувства, находилась ли в человеческих отношениях к отцу, к мужу, к детям ... дело в том, пользовался ли женский пол общественными правами наравне с мужским полом ... была ли женская личность самостоятельна в обществе сама по себе как личность женщины, или же ее самостоятельность определялась только ее принадлежностью к личности мужской, как напр., значением жены мужа, матери сына и т.п. Вот вопросы, которые возникают сами собою, когда намереваемся узнать, каково было положение женской личности в допетровской Руси. «...»

Само собою разумеется, что в этом случае необходимо прежде всего узнать важнейшее обстоятельство, именно: признавало ли и могло ли признавать женщину своим членом древнерусское общество; а еще ближе, что такое было, каково было это самое общество, признавало ли оно вообще общественные права личности, почитало ли оно личность общественной единицею, самостоятельным целым, которым держится само общество; ибо самостоятельность женской личности является лишь там, где является самостоятельность человеческой личности вообще, где общество носит в своем сознании, а след. и в своем развитии самую идею личности, идеал человеческого достоинства, независимо ни от каких частных, случайных бытовых его определений.

Очень понятно, что русское допетровское общество в своем взгляде на достоинство женской личности не могло стоять выше тех убеждений, которые господствовали вообще в средневековом европейском обществе, которые господствуют во всяком обществе младенчаствующем. Точно так же, как и везде, на равной степени общественного развития, русское общество определяло нравственные и общественные права женской личности ветхим и по преимуществу восточным сознанием, что лицо женщины, каково бы ни было ее положение, не есть половина, а есть в отношении мужчины — величина меньшая: что женщина сравнительно с мужчиною есть малолеток, недоросль, член общества несовершеннолетний. Сама женская природа способствовала развитию такого убеждения.

В первую эпоху человеческой жизни в понятиях и представлениях человека господствовал и управлял всею его деятельностью идеал богатыря, т.е. идеал собственно физической силы человека. В то время физическая сила была первою необходимостью для человека, а след. первым, самым высшим, почти исключительным его достоинством. В то время по естественным причинам человек везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски завоевывать себе положение и побеждать природу больше силою плеча, чем силою ума. Богатырство было исходным началом его жизни, оно же стало и высшим его идеалом. «...»

Очень понятно, что по физиологическим особенностям своей природы женская личность не могла приравняться к этой перво-

зданной и тогда единственной мере человеческого достоинства. Правда, что в богатырский век и она должна была носить в себе некоторые богатырские черты; но вполне сделаться богатырем ей было невозможно. Призванная природою к рождению детей и ко всем тяжким последствиям этого действия природы, каково воспитание или собственно вскормление ребенка и т.д., женщина одним этим действием природы обрекалась уже на страдательную, вполне зависимую роль пред личностью богатыря — мужчины, не говоря уже о том, что самый ее организм, сравнительно слабый и нежный, никогда не мог равнять ее физические силы с силами мужчины. Вот естественная причина, по которой богатырские воззрения первобытного человека очень легко могли воспитать в его сознании мысль о великом различии женского существа от мужского. Различие в физических силах обоих полов было слишком очевидно, а между тем богатырские силы, как мы сказали, были единою мерою человеческого достоинства, единою оценкою достоинства каждой личности. Таким образом сама природа женщины, вовсе неспособная отвечать своею деятельностью первозданным идеалам человека, указывала женской личности место, которое в отношении ее самостоятельности всегда колебалось, да и до сих пор колеблется между женщиною и его детьми.

С богатырской точки зрения женщина — существо слабое не только физически, но и нравственно и умственно. Она отличается детскими чертами. Она даже и создана от кости самого богатыря; она в сущности его ребенок; поэтому зависимость, повиновение — вот ее идеалы, которыми она и воспитывается в течение тысячелетий, т.е. во все то время, когда в быту человеческом должен был господствовать идеал богатырский. Вообще достоинство женской личности на основании этих первозданных идей было возведено в идеал милой жертвы, милой *хоти*, как выразилось “Слово о подку Игоревом”. Соответственно этому идеалу ценились и все качества женской личности, вся так называемая женственность как исключительная сила ее природы, понятая лишь так, как требовал именно этот идеал. В этом идеале и выразился весь жизненный смысл женской доли, весь смысл ее роли общественной, а стало быть и исторической.

Мы не должны также забывать, что эпоха богатырского идеала была вместе с тем и эпохою идеала родительского, т.е. идеала родительской опеки, по которому всякая, почему-либо зависимая личность иначе не представлялась, как в образе малолетства.

Естественно, что навсегда слабая и зависимая женская личность должна была навсегда же сохранить в своем лице образ нескончаемого малолетства, нескончаемого детства, ибо такова была сила первозданных богатырских и патриархальных убеждений человека.

Само собою разумеется, что те же первозданные убеждения и идеалы управляли и нашим бытовым развитием. У нас по причине нашей молодости они сохранились даже с большею свежестью, чем у других европейских народов. Богатырские идеи, как и идеи родительской опеки, у нас живут еще до сих пор, а в допетровскую эпоху они были в полном цвету.

Идеал родительской опеки был основателем и устройтелем всего нашего быта. По этому идеалу идеалу создавалось наше общество и государство. По этому идеалу наше общество представлялось совокупностью семьи или родни, так что его разряды или ступени, особенно низменные, иначе и не представлялись, как малолетними и постоянно обозначались именами родства, каковы были, *отроки, пасынки, детские, молодь*. Самые низменные в общественном смысле именовались *сиротами*, т.е. людьми несчастными в смысле родства, а стало быть и в общественном смысле; каково было вообще неслужилое земледельческое и промышленное сословие, не обладавшее властным положением в обществе-государстве.

По идеалу родительской опеки не только личность женщины, но и личность мужчины не имела никакого самостоятельного, независимого значения по той причине, что этот идеал вообще не признавал, да и не мог понять самой идеи личности. Он знал только идею рода, идею отечества, т.е. идею принадлежности лица известному отцу или роду, идею полной зависимости лица от своего родства, вообще идею его детства, а не идею его свободы и самостоятельности. Для него независимая личность получила смысл личности *гулящей*, как и назывались вольные люди, которые так сказать выпадали из родового круга, т.е. из круга известной зависимости или принадлежности к тому или другому общественному разряду жизни.

Идея родовой зависимости построила по своему образцу и все эти общественные разряды, всякую другую зависимость, все общественные отношения лица, весь общественный наш быт, так что древнерусское общество в существенном и непосредственном смысле есть не *общество*, а *родство*, ибо его общее, его идея заключалась в идее рода, а не в идее независимой личности. Вот почему и древний наш быт очень основательно называется родовым бытом.

Но, говорят, у нас не было родового быта, а был общинный быт, след. и общественные отношения устраивались по другому, т.е. общинному началу; след. не только мужчина, но и женщина пользовалась правами личности самостоятельной и независимой; ибо что такое община, как не совокупность более или менее обособленных, самостоятельных, равноправных, независимых личностей. Действительно, понятие об общине не допускает иных представлений в отношении устройства общежития, в отношении характера общественности; общее значит равное для всех; община значит равенство. В общине, если она служит основой быта, невозможно представить себе какой-либо иной порядок жизненных отношений, как порядок равенства, равноправности всех частей этого *общего* целого. Все это так. Но одно необходимо помнить, именно: какую силу представляет каждая часть этого общего целого, в чем заключается существенный смысл каждой части; какого свойства эта единица, которая служит основой, корнем всего целого; носит ли в себе эта часть, эта единица, смысл... независимой личности человека самого по себе, или она «...» почитается за ничто, не имеет ни малейшего смысла и значения. Община как равенство вообще может вмещать в себя такие составные части, такие единицы, которые хотя по ес-

тественной необходимости и будут лицами, но вовсе не будут представителями личности. В этом весь вопрос. Наша древняя община была в собственном смысле общиною *родов*, или еще ближе общиною хозяйств, домов, дворов, а не общиною независимых личностей. Чтобы уяснить себе справедливость такого заключения, мы должны по необходимости остановиться на спорном вопросе о характере и свойствах нашего древнейшего быта. В настоящем случае для нас это необходимо по той причине, что от уяснения этого вопроса вполне зависит уяснение вопроса: что такое было древнерусское общество и каково было положение в нем женской личности?

Люди самых противоположных взглядов на существенный характер нашей допетровской истории будут, вероятно, согласны в том, что в древней русской жизни, домашней и общественной, с особенною силою господствовало и управляло жизнью отдельных лиц патриархальное родительское начало, что оно в значительной степени господствует даже и теперь. Иначе, конечно, и быть не могло, если непреложна та истина, что Русская земля расплодилось по преимуществу первобытною силою рождения, если род был непосредственным деятелем в образовании народной массы, если на самом деле он был растительною органическою клеточкою, основою строения каждого племени и всего народа, если наконец сама *община* явилась только совокупностью этих родовых клеточек, совокупностью не отдельных лиц, а отдельных хозяйств или дворов, в которых замкнулись отдельные роды или семьи. Мы пользуемся таким уподоблением, предполагая яснее и нагляднее представить отношение так называемого родового быта к быту так называемому общинному.

Такой естественный, почти физический ход народной жизни существовал везде. В других странах он еще в незапамятные времена подвергся различным колебаниям и сторонним влияниям и потому очень рано утратил свой первобытный облик, не оставив по себе слишком заметных следов. У нас, в нашей истории, сравнительно очень молодой, наоборот, такие следы можно наблюдать даже в настоящую минуту.

Родовой быт как жизненное историческое начало для многих является предметом ошибочной, даже нелепой и к тому еще немецкой теории; а потому нередко предметом голословных отрицаний и даже остроумных шуток. Нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор собственно о словах. Они упрекают противников в неопределенности будто бы понятий, заключающихся в словах *родовой*, *патриархальный* и стараются определить эти слова, как говорится, научно, т.е. исключительно книжным путем, более в духе грамматическом, чем историческом «...». Оттого они усердно ищут в родовом быте *учреждения*, с одной стороны политического, каково напр. государственное устройство, с другой — юридического, в законах и правах, и конечно ничего *учрежденного* в этом смысле не находят, вовсе забывая, что родовый быт не есть факт, а есть начало, стихия жизни, которая ...входит во все факты, пронизает их, дает им свою окраску, формирует их, но сама нигде в особое учреждение не воплощается. Самое прилагательное *родо-*

вой обозначает только стихийное качество быта и вовсе не указывает какую-либо учрежденную, т.е. законченную его форму. Точно так же и существительное *род* вовсе не обозначает какого-либо учреждения, т.е. искусственной какой-либо формы, выработанной развитием общества. Это, напротив, непосредственная, естественная форма человеческой жизни, произведенная стихийною силою рождения. Если же эта форма становится нормою, стихиею не только для домашних, но и для общественных отношений народа, то замечая повсюду ее присутствие исследователь с полною основательностью может и весь народный быт обозначить именем этой стихии, именем начала, которое движет всем этим бытом.

Однако ж отрицатели этого начала утверждают, что “слово *род* значит собственно *семья* и что поэтому у славян родового быта не было, а была семья и община, что Русская земля есть изначала *наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная* (именно общинная) земля” (См.: Соч. К.С. Аксакова. Ч. I. Стр. 92, 93, 124 и др.). По смыслу некоторых летописных и других свидетельств слово *род* действительно обозначает также и семью, и даже семью в тесном смысле, на чем особенно настаивают защитники семейной и общинной теории. Но иначе не могло и быть, потому что семья служит составною частью или же зерном рода; понятие о роде неизбежно включает в себе и понятие о семье. Семья служит с одной стороны под видом старшей семьи, его корнем, его основою, а с другой выражает, под видом младших семей, его размножение, его разветвление; семья, одним словом, относится к роду как частное понятие к общему. Немудрено, что в текстах эти понятия очень часто переходят одно в другое, мешаются и доставляют легкую возможность подыскать свидетельства, указывающие на тождество семьи и рода. Но что же из этого выходит? Что именно хотим мы определить, называя народный быт семейным? Не слишком ли широко, пространно, не слишком ли обще такое определение? Люди всегда жили, теперь живут и всегда будут жить семейно. Это неизменное условие человеческого быта, которое в отношении характеристики быта у известного народа на известной степени его развития ничего доказывать не может. Словом “*семейный*” обозначается именно тот тесный, или, вернее, частный смысл жизни, который навсегда останется в быту человечества, какие бы формы и порядки ни принимало его развитие; останется как естественный, физиологический закон жизни. Нам кажется, что говоря фразу: “Русская земля была наиболее семейная”, мы в историческом смысле ровно ничего не обозначаем. Другое дело, если мы незыряя на обыкновенный жизненный смысл этого слова создадим собственное понятие о семье, придадим ей свойства и качества, каких она никогда не имела, именно свойства и качества кроткой и мирной славянской домашней общины и назовем эту общину славянскою семьею в отличие от обыкновенной семьи, от семьи вообще; тогда конечно, мы отроем действительно характеристические черты в нашем древнем народном быту и по необходимости назовем его семейным. Оно отчасти так и случилось с защитниками семейно-общинного быта славян.

“Рода у древних славян не было, — говорят они, — а была семья. Семья эта была семья в тесном смысле. В устройстве ее нет и признака родоначальнического, патриархального характера. Напротив мы видим, что все члены в ней имеют голос в вопросе собственности. Это назвать родовым устройством невозможно. Если бы общество было построено на основе родового, патриархального быта, так, чтобы в его устройстве находилось отражение этого быта, мы могли бы признать родовой быт основным элементом, существующим в народе (например в Китае).. Но когда пред нами явление совершенно противоположное, когда не только общество, а даже семья построена под влиянием общинного начала, как можем мы тут найти родовой быт?... Что же вообще была славянская семья? Она была семья; но как скоро вопрос становится общественным, как напр. вопрос о владении (на землю право имела вся община), то она, стороною к этому вопросу, становилась сама общиною. Как скоро встречается другой общественный вопрос народного совещания, веча, она опять становилась общиною и от нее шел представитель: или старший, или избираемый ею (как в “суде Любуши”). Кто из детей отделялся от семьи и жил отдельно, тот уже отрешался от семьи и не наследовал ей, — семья сжималась в числе. С другой стороны, она могла расширяться по произволу, могла принимать в свой состав родившихся с нею и даже посторонних, но в этом случае соединение делалось относительно хозяйства; собственность не принадлежала всем принятым (вспомним выморочное наследство), но общим было пользование имуществом, во время которого в распоряжениях по имуществу естественно имели голос не только члены самой семьи, но и все те, кого она приняла в состав свой. Раздел же был всегда возможен, ибо постоянно действовала живая, свободная воля. Во всех тех случаях, где семья являлась как община, имели голос не только дети, не только семья собственно, но и другие лица, принятые в семью. Но здесь является вопрос: при таком общинном значении семьи в известных важных случаях, где дети имели голос, не подрывается ли ее значение семейное, кровное? Нисколько, продолжает семейная теория. “Семейное чувство и семейный быт крепки были, крепки теперь и крепки будут у славянских народов, пока они не утратят своей народности. На это доказательств так много и прошедших, и современных, что мы не считаем нужным на них указывать... Семейное начало, конечно, было твердо и в отдаленные времена, о которых говорим, и было твердо оно, как начало чисто нравственное; оно жило в нравственной свободе, в любви, в духе человека; оно было вполне чисто у славян, ибо с ним не связывалась выгода, ибо оно не нуждалось в житейских подпорках. Да и кто мешал семейной общине свободно и любовно исполнять волю отца? Из этого объяснения видим мы, как свято и нравственно понята была славянская семья, как всякий расчет был удален от святого семейного чувства (!). Чисто нравственная, чисто духовная сила семейного начала (каково оно у славян) всего более ручается за существование, глубину и вековечную прочность оного. А чувство семейное и семейное начало, повторяем, глубоко и неразрывно соединено с существ-

вом славянина“ (Соч. К.С. Аксакова Ч. I. Стр. 92—93; сравн. также стр. 90 и 91.)

Вот основания тех представлений о древнем нашем быте, по которым этот быт именуется *семейно-общинным* и в которых сосредоточиваются все доказательства и доводы его защитников или отрицателей родового быта. Мы полагаем, что читатель заметит здесь несравненно более теплой любви к идеалу семейной общины у древнего славянина, чем основательного разъяснения существовавшей некогда живой действительности; несравненно более фантазии и стало быть поэзии, чем рассудительной, хотя бы и суровой прозы, разъясняющей существо дела. А дело это в том, что все, что ни сказано здесь о семье-общине, именно об общинном ее значении и характере, должно относиться прямым и непосредственным образом к понятию не о семье собственно, а о *хозяйстве*, именно о *дворе*; так что если вместо слова *семья*, мы поставим слово *двор*, хозяйство, по древнему *господарство*, то получим совершенно правильное, вполне соответствующее действительности представление о том, что именно намеревалась выяснить общинная теория. Ей необходимо доказать, что *семья* славянская была не семьею в обыкновенном смысле, а была в сущности необыкновенным явлением, она была *семья-община*. Такому значению семьи вполне соответствует *двор*. Но почему семья, живущая во дворе, приобретает это значение? Потому, что существо двора, его корень есть имущество, хозяйство-господарство; а хозяйство-господарство по естественной необходимости ведется, строится, наживается общими, совокупными усилиями, работами и заботами всех живущих на этом хозяйстве; все, стало быть, вносят свою долю труда в общий оборот хозяйства; все стало быть, имеют полное право и на свою долю пользования общим хозяйским имуществом. Из того же источника вытекает и относительное равенство голосов в общих делах хозяйства-двора; непререкаемое право *думы*, непререкаемое право *представительства* в общих совещаниях. Однако ж все эти права в сущности есть простые естественные права семьи, по которым обыкновенно выходит, что отец обязан вскормить свое рождение, своих детей, а взрослые дети обязаны помогать отцу-кормителю, чтобы точно так же и самим кормиться от семейного хозяйства; что отец необходимо всегда советуется с возрастными детьми и родичами, а возрастные дети и родичи всегда убеждены, что без их думы и согласия он никогда ничего не предпримет по общему для всех делу. Все это были и есть непосредственные права рождения. Самая собственность, двор-хозяйство, носила в своем смысле ту же идею кровного союза в ее вещественном проявлении, т.е. общем хозяйстве семьи. Дети, приобретая своим рождением право быть детьми своего отца, вместе с тем приобретали право пользоваться отцовскою, а по крови, стало быть, и своею собственностью; они и делили ее, когда они, как кровь семьи, считали необходимым разойтись в разные стороны и зажить особою самостоятельную жизнью. Разделялась кровь семьи, разделялась и собственность семьи как вещественное ее выражение.

Мы не думаем, чтобы к идеалу таких отношений могло удобно прилагаться понятие об общине, а тем менее самое слово: община. Собственность, именно двор-хозяйство, придавала семье лишь вид общины. Эта община была только количеством родных лиц, живших на одном хозяйстве. Внутри же в качестве союза этих лиц в духе этой общины жила создавшая ее идея кровного союза. По этой идее и была построена внутренняя домашняя жизнь этой общины. Она в полной силе господствовала внутри каждого двора и ни под каким видом не допускала равенства лиц, там живших, не допускала даже малейшей возможности такого равенства, самой мысли о нем, что с особенною силою и образностью выражалось всегда, напр. в отношениях женатых братьев, замужних сестер, в отношениях свекрови к невестке, в отношениях золовок к той же невестке и т.п. Во дворе жила семья, следовательно, там жило естественное разделение людей на отцов и детей, на старших и младших по крови. Какая же тут может существовать община, т.е. равенство лиц, прав? Родитель по естественным причинам становился главою и властителем своей семьи; в его руках сосредоточивалась патриархальная опека не только над детьми, над своим рождением, но даже и над матерью этого рождения, значение которой, как мы упоминали, всегда колебалось между значением главы семейства и значением его рождения, т.е. его детей. Пред его лицом все члены семьи были по самому существу дела малолетними. Не говорим о том, что сила его опеки и власти увеличивалась и развивалась пропорционально бессилию или даже совершенному отсутствию опеки гражданской, в собственном смысле общественной, которую напрасно мы будем воображать в обществе младенчествующем. В таком обществе, каким было и древнерусское, родительская опека заменяет все то, чем обеспечиваются свобода и нравственное и имущественное положение личности в современном быту, все эти государственные, правительственные, общественные учреждения и многочисленные гражданские охраны. Очень естественно, что по той же самой причине в древнерусском обществе родительское начало опеки выросло до размеров, теперь нам мало даже и понятных.

Мы совершенно согласны с утверждением семейно-общинной теории, что древнерусская "семья была семья в тесном смысле", но никак не можем согласиться... что в устройстве этой семьи "нет и признака родоначальнического патриархального характера", что вообще у "древних славян не было рода". Мы напротив, и там именно, где эта теория видит *семью-общину*, видим только один род, не видим даже и семьи в ее прямом и тесном смысле. Понятие о семейной общине возникло у этой теории из представления о собственности, о дворе-хозяйстве, на котором всегда и жила семья-община. Положим, что хозяйство заводилось и двор строился первоначально одною семьею, в тесном смысле семьею. Но такая семья никогда не оставалась замкнутою в этом тесном смысле; она тотчас разветвлялась и обыкновенно к основному хозяйству сами собою прирастали другие новые семьи: являлась община, пожалуй, но община родных семей, община-родня, а в простом смысле являлся род. Семья попросту разрасталась в род, т.е. в кровную совокуп-

ность старших и младших семей, выроставших на одном корню. Отец становился уже дедом, прадедом, дети являлись уже внуками, правнуками. Этот новый тип быта, не злоупотребляя словами, мы не можем называть семьею, а тем менее общиною. Нельзя называть так целую совокупность семей, совокупность *родичей*, детей рода, а не отца только, между которыми возникают счеты и отношения уже не семейные, а именно *родовые*. Самое имущество, двор как корень материального существования семьи приобретает смысл имущества уже не семейного, а родового. Конечно, оно становится *общим* имуществом, но для кого? Лишь для одного кровного родства. Центр тяготения уходит уже к роду, а не остается только в семье. Во дворе, на общем хозяйстве живет уже род, а не семья. В действительности так и было в древней Руси. Двор именно был средою родового быта, выразителем родового устройства жизни, был экономическим... типом рода. (Срав. превосходную статью Кавелина: Мысли и заметки о Русской истории в Вестнике Европы 1866 г., том II.) В северной, собственно в Великой Руси и теперь часто встречается, что во дворе живет целый род, а в древнее время этому способствовало множество причин, напр. самый побор дани с двора, с дыма, от плуга, от рала, след. с хозяйства или тоже с двора, что практически должно было единить родство на одном месте, принуждало жить в одном дворе целым племенем: "живяху кождо с своим родом". Нельзя же полагать, чтобы наши далекие предки не могли, как говорится, двух пересчитать, т.е. понять, как легче платить дань, с семьи только или с целого рода, когда основой дани была не душа, а хозяйство. Таким образом выражение летописца: "живяху кождо с своим родом" мы почитаем типическим как для целого имени, так и для каждой его первоначальной единицы, т.е. для двора, для единичного хозяйства. В отношении пользования общим, т.е. родовым имуществом, на чем собственно и построена семейно-общинная теория, мы скажем, что самым выразительным типом этого пользования был наш княжеский Рюриковский род, для которого Русская земля была таким же двором-хозяйством, каким был в собственном смысле двор-хозяйство для тогдашнего крестьянства. Период княжеских междоусобий был собственно борьбою за это пользование общим имуществом, в которой именно никак не могли помириться между собою стихии или, пожалуй, взгляды, родовые и семейные; в том состояла и самая борьба. Впоследствии семейные взгляды побороли, а на семейном начале выросла и личность, к чему конечно стремилась вся наша история. Как бы ни было, но назвать княжеский *род* общиною по случаю общего владения и пользования им Русскою землею мы никак не сможем. Переходя к частным типам такого владения и пользования, мы еще меньше имеем возможности обзывать их общинами, ибо в них еще теснее сжималась стихия рода, чему сильно способствовал типический вид собственности, двор-хозяйство. Это хозяйство было общим, родовым; но кто собственно властвовал над этим хозяйством, управлял им? В семье управлял и властвовал родитель и тот же родитель властвовал и над родом. Община-родня как совокупность живых лиц, само собою разумеется, имела в общих делах хозяйства и го-

лос, и права; но это был голос и права детей, членов кровного союза, а не свободных лиц, членов союза общинного. Полагаем, что здесь существует великая разница. Семья, как мы сказали, разрасталась в целый род; она становилась, пожалуй, общиной семей (хотя это общее представляло все один и тот же тип). Существенное же положение ее власти от этого нисколько не изменялось. Напротив, от размножения семьи лицо родителя приобретало еще большее освящение; он уже был не только отец, но и отец отцов, родоначальник; затем все его *рождение* оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства к родоначальнику и в отношениях старшинства и меньшинства между собою, смотря по восходящему или нисходящему порядку рождения. Никакого равенства членов здесь быть не могло. Равенство или *общее* для всех было то, что все были родня между собою, все имели и голос и права родни, известные права. О самостоятельной личности здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось представителем известного старшинства или меньшинства по степеням рождения. Самый родоначальник вовсе не был представителем собственного лица, собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения. В сущности это был олицетворенный род. Личное начало совсем исчезало в идее рода. Смутное представление об этом именно отношении личности к роду, о господстве чего-то *общего* вместо *личного* и понудило семейно-общинную теорию вообразить здесь вместо рода общину. Теперь очень трудно войти в жизненный смысл понятий рода, в эту родовую идею, трудно представить себе, насколько в самом деле были крепки, совсем неразрывны эти узы рода и родства, вазавшие и путавшие личность на каждом шагу, во всех ее даже малейших нравственных движениях. Требовалось действительное, эпическое богатырство, чтобы вырваться из этих нравственных узилищ. Если б эти узы были только семейные, как должно называть их по уверению отрицателей родового быта, тогда не о чем было бы и толковать. В характеристике быта, как мы заметили, семейные узы ничего не определяют: они в такой же силе существуют и теперь, как существовали за несколько веков и даже тысячелетий. Для личной жизни семейные узы — необходимая нравственная сфера. Личность в них не пропадает, хотя и остается некоторое время пассивною в лице детей. Другое дело именно узы рода и родства, т.е. распространение смысла и духа непосредственных семейных связей и отношений на множество лиц, составляющих уже не семью, а целый род и в иных случаях совсем посторонних старшей семье, напр. в лице зятьев и невесток. Здесь личность совершенно теряется в сплетениях родового старшинства и меньшинства и подчиненная счетам этих сплетений никогда не пользуется самостоятельным независимым положением. Такую связь людских отношений мы не можем называть только семейною, а тем еще меньше общинною. Это связь в прямом и точном смысле родовая.

Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была *семья*, что было *семейное чувство*, *семейное начало*

(жизни) как начало чисто нравственное, что *семейная община* любовно исполняла волю отца и т.д. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственною стихиею древнерусского быта, основою всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым, и в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род, в семейном чувстве — именно родовое чувство; в семейной общине — родовую общину или общину-родню. Семьею мы именуем семью в тесном, т.е. в ее собственном, прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое, ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьею в обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть в сущности родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей, государственных и общественных.

Но была же, однако, община в древней Руси? Действительно была, и двор, этот неизбежный сосуд родового быта, свою внешнюю сторону, тою стороною, что он есть собственность или часть общей земской собственности, является единицею общинного быта. Двор был жилищем для семьи-рода, он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя; в этом последнем своем значении он является единицею новых отношений того же племени, он тянет к общим делам земли.

Сиденье племени на одной земле, владенье угодьями этой земли, общее *тягло* на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сиденья-владенья на той земле — все это само собою становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.

В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного, особого сиденья на земле, особого пользования ее угодьями? Двор был выразителем этой особенности. А кто был выразителем двора? Конечно его хозяин, большой. Большим же был отец или родоначальник и никто другой, т.е. в собственном смысле старший, большой по крови. Так было и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала; в одних только ее руках соблюдалась власть во дворе-хозяйстве. Умирало лицо, т.е. отец, но идея была бессмертна: в отца место вступал старший, большой из оставшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе рождения: естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особого земского имущества. Но что же собственно выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особое имущество, только двор, в котором жило его рождение своим особным хозяйством. Земская община, это общее сиденье на земле, корнем своих отношений ничего другого не могла при-

завать, как ту же землю, т.е. недвижимое имущество, иначе пользование землею. Из этого корня выросло известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особых владельцев земли, какими были не лица собственно, а дворы-хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, так как внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин, представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род, со многими домочадцами; но для земской общины все лица, жившие при хозяине, т.е. жившие на особом земском хозяйстве, не имели значения и никакого смысла. Для нее смысл заключался в одном лишь хозяине этого хозяйства или в тесном и непосредственном смысле в самом хозяйстве с его представителем. Таким образом, земская община, было ли то в деревне, в городе, в целой области, являлась в существенном своем смысле общиною хозяйств, а не людей, именно общиною дворов, совокупностью хозяев-домовладык как представителей частных отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной, земской точки зрения, с точки зрения владенья землею, сиденья на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а след. не было и нравственного равенства лиц. Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц; здесь людей-хозяев равняло лишь имущество, а не нравственное достоинство человека. Здесь не виделось даже пути для выработки *личной* нравственной, а вместе с нею юридической и политической свободы, по той причине, что не личная свобода, а земское имущество составляло здесь почву для действий каждого члена. Здесь наиболее независимое положение, собственно не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства «...». Земская община в своем дальнейшем развитии всегда и вырабатывала только аристократию богатства, всегда выделяла несколько богатых, а потому как бы аристократических родов (опять-таки не лиц), которые обыкновенно и управляли всеми движениями общины, определяли и выражали ход ее истории. Не личность своею нравственною и политическою свободою, своими нравственными и политическими правами давала смысл такой общине, а богач своими имущественными средствами. Имущество было основой и главною целью нашей древней общины, имущество же должно было преобладать в ней и поработать себе все другие интересы. Оно должно было представлять и всегда представляло *душу* общины. Пластическое доказательство такого именно значения нашей древней общины представляет знаменитая новгородская община. «...» Вершиною новгородской свободы было своеволие меньшинства (богатых родов) или своеволие большинства, бедных, меньших родов, вообще своеволие силы. Между этими двумя видами общинной свободы и колебалась вся новгородская история, до своего конца. *Уравнителем* таких свободных движений жизни и в народной общине, и у себя в вотчине является все тот

же Рюрик, государь-вотчинник, представитель *личного* начала, а следовательно и будущий освободитель *личности*.

В самой Москве, когда она устроилась окончательно в государственную вотчину, мало по малу стало обнаруживаться то же самовластие больших родов над всею землею; но здесь оно встретило кровавый отпор в лице Грозного, без всякой пощады истреблявшего этот ветхий дух родового своеволия.

Таким образом, наша древняя община ничего не выработала, да и не могла ничего выработать для нравственного и социального освобождения личности. Она ничего не выработала даже и для материального ее освобождения, ибо новгородская община как община имущественная вовсе не мыслила однако ж о равенстве, напр. о равном распределении земской собственности между всеми членами общины. У ней, как и в господарской вотчине, земская собственность была разделена слишком неравномерно; у ней, как и в господарской вотчине, существовало только равенство прав на землю, т.е. на пользование землею для каждого плательщика даней, а это составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей Русской земле. Эта-то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских нападений; она же создала и государство, именно как охрану и защиту от тех нападений.

Как бы ни было, но земская община, даже в своем роскошном цвете, в политической своей форме, какою были Новгород, Псков, Вятка, не в силах была высвободить личность и создать для нее равенство прав нравственных и социальных, в чем заключается все существо дела.

Быт народа мы называем *общинным*, желая совсем устранить другое его определение: *родовой* как противоречащее нашему представлению о существе общинной идеи. Но чего же мы ищем в этом определении и что именно хотим в нем обозначить? «...» Община вообще значит связь людей на общем деле; община земская означала связь людей по земле, собственно связь земли, связь народа как земли, т.е. как реальной сущности народных отношений. Другого смысла община не могла иметь, ибо зачатком ее было всегда представление о человеке в его имущественном положении. Община выражала лишь связь имущественных, след. материальных отношений, не более.

Ошибочное представление об общине заключается, по нашему мнению, в том, что ее почитают связью отношений нравственных, о чем она сама, как мы говорили, никогда не думала, да и до сих пор не думает. Между тем при определении бытового начала важны лишь одни отношения нравственные, которые всегда и составляют основной узел народной жизни и управляют ходом ее развития. Народ выражает свой быт многими формами и одна из таких форм есть община, как есть другая существующая рядом с нею, вотчина; как есть третья — семья, и т.п.; все это только формы. Но где же идея, общая всему быту, где нравственная сила, управляющая всеми формами, где этот дух, проникающий всякую форму и весь быт вообще? Общий характер народных нравственных связей и отноше-

ний должен, по нашему мнению, раскрываться ближе всего в отношениях общежития, в «...» сфере людских отношений. «...»

Мы уже говорили, что органической клеточкою нашего допетровского общественного быта был род, что родительское, патриархальное начало управляло всем ходом нашей допетровской жизни.

Но что же такое было это родительское, патриархальное или родовое начало жизни? Это было начало или *стихия родительской опеки*, стихия *старшей воли*, идеалом которой было родовое старшинство. Это старшинство одно почиталось выше всяких других достоинств человека, оно одно и было главным, начальным достоинством человеческой личности. Родительская опека с идеалом родового старшинства существовали и существуют везде, но не везде они становились стихией жизни. У нас не только семья и род, что очень естественно и обыкновенно, держались крепко и твердо стихией родительской опеки; но ею же держалось все общество, ею же строилось наше государство, ею выработалась и эта необычайная государственная плотность и стойкость народа.

Родительская опека была исключительною силою нашего развития. Она проникала всюду и все подчиняла своим воззрениям. «...»

Самою лучшею и наиболее верною характеристикою основных начал народного быта всегда служит *власть*. Мы не говорим о власти в ее тесном смысле, о власти только политической, государственной, верховной; мы говорим о власти как о стихии народного и именно общественного развития; о власти, которою живет и держится не государственное устройство, а устройство и связь самого общества, о власти, господствующей именно в народном быту.

Власть, как известно, вырабатывается с большим трудом и с великими жертвами. Сама история каждого народа есть ни что иное, как выработка более или менее правильной власти. Свойство и характер власти, действующей в быту народа, обрисовывает свойства и характер самого быта. Для уяснения характера и свойства не политической только, а вообще бытовой власти, необходимо вразуметь: как сознает себя в обществе властный человек не только тогда, когда он становится деятелем власти, но и в том случае, когда он является только членом общества; и потом, как понимает себя в том обществе человек безвластный, зависимый от власти.

Если общество сложилось путем завоевания, следоват. вообще путем наиболее сильного обособления личности, то понятно, что и характер его власти будет совершенно иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения. Властные, общественные и личные отношения первого будут стремиться определить себя юридически, разгородят себя, т.е. свои отношения, отчетливо и ясно необходимыми правами и обязанностями, отчего и характер власти выразится определеннее и резче, а потому, быть может, суровее и беспощаднее.

В таком обществе власть развивается и утверждает себя идеею права, идеею закона или, вернее, идеею строгой определенности и разграниченности жизненных отношений. В этом заключается все ее существо. Само собою разумеется, что такое начало власти прямым путем ведет к выработке более точных и более определитель-

ных понятий о независимой личности человека, выдвигает *личность* на первый план и в истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому пути прошло развитие западных обществ, с самой ранней эпохи поставивших личность выше всяких других определений в бытовом положении человека.

Наше древнее общество, как мы упомянули, сложилось путем непосредственного распространения рода, путем непосредственного рождения, без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. Варяжское вторжение, изгнание распустилось в нашем быту, как капля в море, почти не оставив следа. Своеобразная сила нашего быта была так велика, что самая реформа и можно сказать революция Петра оказалась во многом совершенно бессильною. Естественно, что характер, существо и свойство нашей русской власти вполне должны были выразить существо самого быта. Существом нашего быта, единственным и вполне непосредственным его источником, единственною и непосредственною его силою был *род*. Поэтому наша древняя власть была власть по преимуществу родовая. Где бы и в какой бы форме она ни возникала, она везде и всегда была властью отеческою со всеми своими свойствами, с одной стороны, с непомерною жестокостью безотчетного произвола, пред лицом которого не могло существовать даже и малейших понятий о каком-либо праве; а с другой, с тою любовною родственностью в отношениях, которая всегда ставила ее в непосредственные родственные, братские отношения к подвластной среде. Такими свойствами нашей власти и самого быта определяется и особенное своеобразие нашей истории. В западном обществе в основу бытового развития, а следоват. и в основу бытовой власти легли отношения завоевателей, дружинников или собственно право сильного, следоват. право личное. Там властные отношения и властный человек всегда, везде и во всем руководились этою основною идеею своей жизни; властный человек всегда и везде понимал себя, чувствовал себя как победитель; подвластный понимал и чувствовал себя как побежденный. Оба чувствовали себя *чужими* друг другу и на этой идее устанавливали свои отношения. Бытовую связь людей руководило там по преимуществу право — закон. У нас наоборот всякое движение жизни, всякое бытовое отношение и всю бытовую связь людей одухотворял смысл рода. Все наше общество по духу своей внутренней жизни представляло одну громадную совокупность *родни*, где не было и не могло быть членов, строго разграниченных своими правами. Поэтому у нас все общественные разряды людей или их отношений, напр. сословия, сливались можно сказать органически в какую-то общую, жизненно цельную массу так, что трудно указать, где собственно начинается и где оканчивается тот или другой разряд. Все по своему духу сливалось в один жизненно цельный организм рода. И так как род разграничивает людей только по *рождению*, т.е. по лестнице физического старшинства, то очевидно, что в этом организме все частицы должны были распределять и различать свои отношения только в меру такого старшинства. Так наши старые предки и понимали себя, и разверстывали по этому смыслу все свои бытовые отношения. Старшие, т.е. почему-либо властные,

идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть характером власти отеческой; младшие, т.е. подвластные в каком бы ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей, вообще малолетних, несовершеннолетних. Смысл таких именно, а не других житейских отношений высказывался всюду, во всех крупных и мелких обстоятельствах, во всех частных и общих случаях, с эпической первозданною наивностью, которая очень наглядно обнаруживала, как еще глубоко и широко лежали в общественной почве корни быта доисторического.

Если западный властный человек в средний век своей истории смотрел везде победителем, завоевателем; смотрел на подвластную среду как на свое завоевание; то наш властный человек даже и до сих пор смотрит отцом-опекуном, смотрит на подвластных или вообще на меньших, подчиненных, как на малолетних, несовершеннолетних, недорослей в общественном смысле и никогда не думает, как думал Петр Великий, что он прежде всего только первый, передовой слуга обществу; а напротив всегда убежден, подобно царю Алексею Михайловичу, что для управляемого общества он отец-опекун, что его обязанности к обществу, равно как и права, суть обязанности и права отеческие, опекунские, а не гражданские. В этом-то заключается все глубокое, коренное различие нашего Востока от европейского Запада; отсюда и различие истории, культуры, всей жизни, со всеми ее понятиями и движениями. «...»

«...» Всякое общество всегда живет идеалом хорошего человека, понимая и рисуя этот идеал под условием своего развития, своего времени, своего гражданского положения, своих начал жизни. Западная средневековая личность искала такой идеал сама в себе, в своих собственных доблестях, в высоте собственного своего достоинства, ставила целью своих идеализаций самое себя, свою индивидуальность. Рыцарь не потому становился рыцарем, что его посвящали в это звание, а потому именно, что личными качествами и доблестями он вполне достоин был этого посвящения, воплощал собою идеал достойного человека.

У нас наоборот идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем *отечестве*, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. По нашим старым понятиям человек почитался в обществе достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или умственными качествами, или какими заслугами и доблестями, а прежде и первее всего потому, что высок был своим родовым старшинством, т.е. старшинством в своем роде, потому что он был *отецкий сын* «...»

Общественное значение личности лучше всего, конечно, характеризуется понятиями о личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь рыцаря лежала в идее собственного его достоинства. Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее отечества. Русская боярская честь, т.е. самая развитая и высокая по общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность

под батоги (палки), кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее жестокой царской опале и все это делала с единым стремлением охранить неприкосновенность своего рода или отечества. (Самое слово *честь* родственно со словом *отец* и без сомнения от него происходит. Слово *чтить* образовалось из слова *отчить*, относиться к человеку, как к отцу, воздавать человеку уважение отеческое.) Лицо здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения представлений о чести рода. «...»

Самым определенным и законченным выражением нашей древней *общественности* служит известное местничество, которое напрасно рассматривают с одной только официальной точки зрения, как официальное какое-то учреждение или установление вроде таблицы о рангах. Официальный характер оно приобрело от официальной или собственно служебной среды, в которой стало действовать и которую оно стремилось пересилить, подчинить собственным своим, искони вечным уставам и порядкам. Действительно, происхождение местничества скрывается в глубокой древности. В древний период нашей истории оно не обнаруживало своих споров, стычек, и стало быть не обнаруживало как бы самого существования, потому что в то время оно было господствующею силою общественности, было святынею, неколебимым неизменным и несомненным жизненным положением, которое оспаривать, с которым бороться не представлялось ни причин, ни случаев. Оно стало обнаруживать свое существование, т.е. свои движения или споры лишь с той минуты, когда должно было вступить в борьбу с опасным своим противником — с идеею государственности. Оно нам и известно несравненно больше только стороною этой борьбы; т.е. своею отрицательною, а не положительною стороною. Положительную его сторону наука еще до сих пор не успела привести в должный порядок и выяснить.

Когда взамен родовых, кровных определений лица, взамен родовых достоинств личности, новорожденная государственность поставила служебные ее достоинства, достоинства личной службы государю и его государству, то старая общественность никак не могла понять этого нового шага в народном развитии и встретила враждебно эту новину жизни, боролась с нею до последних сил и до последних дней, даже и после того, как местнический устав официально был упразднен.

Само великое самодержавие, истребляя на своем пути все чуждые ему элементы, разрушая победоносно устройство целых и больших общин, упраздняя целые княжества, изводя целые княжеские и боярские роды, не находило однако ж достаточно силы обуздать местнические счеты, не находило никакой возможности разом покончить с этими счетами и большею частью или подчинялось им, или уклонялось от них, обходя их какими-либо косвенными путями. И это понятно. Легко было победить какой-либо внешний, формальный строй жизни или упразднить значение и даже самое существование целого ее порядка; но совсем было невозможно одною лишь волею разорить бытовой искони вечный и, можно сказать, стихийный строй народной общественности. Здесь приходилось счи-

таться не с личностями только, не с вольными городами или княжествами и знатными родами, а с нравственным складом народной жизни, который мог уступить не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах.

Достоинство личной службы, внесенное самодержавием в среду общественных отношений, и было таким новым нравственным началом жизни, способным изменить ее ветхую старину. Оно было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека как человека помимо всяких других определений его личности и родовых, и даже служебных, которые явились на смену этим родовым.

Нам, быть может, скажут, что силы нашей древней общенности лучше всего отыскивать в вече, в этой самой осязательной форме русского древнего общества. Мы и не думаем отрицать тако-го именно значения нашего веча. Но мы думаем, что местничество как порядок мест, оно-то именно и есть выражение нашего древне-го веча, вечевого собрания с внешней его стороны; оно-то и есть реальная форма, т.е. форма собравшегося общества. Местничество как порядок мест, служило выражением собравшейся государственной думы, а что такое была государева дума XVI и XVII ст., как не та же дружина, по крайней мере по форме, если не по духу, ибо дух ее в это время, как мы знаем, отлетел уже навсегда. В истории форма всегда долго переживает свою идею. Дружина, собиравшаяся с князем на думу, собиралась собственно на вече. Дума и вече — синонимы в смысле совета, совещания. Местнический распорядок мест был формою собравшегося общества-дружины, или формою вечевого собрания. Этот распорядок мест не зависел ни от чьей воли, даже и от воли великого самодержца, каков был напр. Иван Грозный, который ничего не мог поделаться с такою старою и крепкою формою русского быта. Чтобы разрушить ее, Грозному надо было сделать то, что сделал Петр, т.е. совсем смешать шашки; но в то время Грозный и сам еще не был готов для этого. Распорядок мест в думе, как мы сказали, не зависел ни от чьей воли; он вполне зависел от самого *устава* жизни, т.е. от устава общественных отношений личности. Местничество и было формою этих общественных отношений лица. Оно и указывало место для личности, когда она являлась в обществе, являлась членом общественного союза. «...»

...Вече и по духу своих совещаний и решений, и по форме людских отношений походило на собравшуюся *родню*, которая советуется о семейном деле. Это была община хозяев, разумевших себя больше родными, чем независимыми друг от друга и юридически определенными личностями. «...»

«...» На вече все делалось и совершалось ...как-то по-родственному, по-братски, полюбовно, а в сущности все делалось и совершалось подчинением разуму и воле старейших: что старейшие слушают, на том и пригороды, т.е. молодые, станут.

Вот почему и земские соборы XVI и XVII века являются в полном смысле только совещаниями родни, не нося в своих формах ничего определительного, законного, правомерного; такими совещаниями, где с полною откровенностью родственника возможно было высказывать все, что угодно, резко обличать существующую неправду, прямо, открыто указывать злоупотребления и вместе с тем заявлять свои исключительно эгоистические интересы, вовсе не помышляя об интересах общих; говорить обо всем и ничего не решать, в уверенности, что решение само собою явится мыслью и волею старейшей власти. Таков был смысл и характер нашего народного представительства в течение всего древнего периода нашей истории, и на вечах, и на соборах, и на мирских сходках: что старейшие сдумают, на том и меньшии станут. «...»

Подобно тому, как древняя наша общественность нашла себе типическое выражение в местничестве, так и родовая власть, строившая эту общественность, вполне и типически выразила себя в известном Домострое. Это памятник неопережимого значения для нашей истории, это цвет и плод, с одной стороны, писаного учения, которое как раз пришлось в рост и в меру нашему непосредственному бытовому развитию, нашим непосредственно созданным своенародным и своеобразным идеалам жизни; с другой стороны, это цвет и плод искони вечных нравственных и хозяйственных уставов нашего быта. Домострой есть зеркало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. Это зеркало нашего древнего домашнего быта, зеркало нашего допетровского развития, зеркало общества и общестственности. Пред этим зеркалом, то есть под его сильнейшим влиянием, совершилась постройка и нашего государства, которое в своем существе и до сих пор еще носит много тех же начал и тех же положений и определений жизни, какими исполнен этот многовековой источник нашего развития.

Известно, что Домострой написан или, вернее и точнее, записан, собран в порядок, в половине XVI в. благовещенским попом Сильвестром, новгородцем по происхождению. Дело, конечно не в том, кто его записал, т.е. кто собрал в одно место живые и написанные учения, существовавшие испокон века, “как строити дом” и весь свой быт: священник Сильвестр или другой кто — это все равно. Составитель был только редактором этого памятника и если бы он что и прибавил свое, личное, то это свое так было общее для всех, что нет никакой возможности его указать. Здесь выражалась не личность, а все общество, почему и собирателем кодекса явился именно священник как личность в полном смысле общественная. Поучение и наказание “как жити христианом”, из которого возродился и развил свои положения Домострой, искони было прямым делом духовных отцов, иначе назвать — духовников народа. Священник-духовник, особенно в первое время, был единственным, исключительным источником учения и назидания; к нему обращались со всеми житейскими недоразумениями, со всеми вопросами, какие только внушались благочестивою мыслью, как устроить свое спасение и эту временную погибельную жизнь. Оттого духовный

отец становится как бы членом семьи и притом самым почетным членом. Естественно, что весь нравственный строй дома опирался на его учение, естественно, что и сочинение написанного нравственного устава домашней жизни являлось его прямою обязанностью, исполнение которой для мирского человека и по учению церкви, и по разумению века было бы даже предосудительно, ибо поучать и назидать духовно мог только посвященный. С первых самых времен по принятии Христовой веры духовные отцы уже упражнялись в составлении небольших учительных слов с упомянутым заглавием, или с другим заглавием: *поучение избрано от всех книг*. Эти слова и поучения сказывались в церквях, распространялись в списках, наполняли особые сборники писаний: Златоструи, Златоусты, Измарагды и т.п., служившие всегда настольными книгами в каждом доме, желавшем учения и назидания. Почти все такие слова были заимствованы у отцов церкви, переведены или переделаны, или же составлены *выбором* (избрано от всех книг) целых фраз и речений, пригодных для назидательной цели. В этом отношении Домострой представляет для нас новый интерес: является цветом нашей старой книжной образованности, именно ее поучительной стихии; он является, так сказать, цветом ее общих мест, общих фраз. В сущности, весь он есть общее место нравственной и хозяйской жизни. «...»

Состав Домостроя, все это поучение и наказание “отец духовных ко всем православным христианам”, выразился главным образом в пяти отделах: 1) како веровати; 2) как царя чтити и вообще светскую власть; 3) как чтити святительский и вообще духовный чин или духовную власть; 4) како жити в миру или наказ о мирском строении и 5) хозяйственный, экономический наказ о домашнем строении.

Кто же является центром всех этих поучений? К кому собственно обращается Домострой со своим наказательным словом, кого он почитает твердою опорой для своих назиданий, с кем он собственно ведет речь? «...»

Домострой именует [его] государем дома, также *настоящим, большим*, прилагая ему как нераздельную с ним почву для его нравственной деятельности, жену, чад и домочадцев. Стало быть, в существенном смысле Домострой признает самостоятельную лишь одну личность родителя со значением главы дома, т.е. со значением государя или господаря-хозяина и нравственно и имущественно большего или настоящего в доме или во дворе. Мы уже упоминали, что таково именно было понятие древнего века вообще о достоинстве личности. Все другие лица дома служили как бы необходимую обстановкой, необходимым придатком этой *настоящей* личности. «...»

Непомерно возвышая и освящая в лице родителя домашнюю власть, писанное учение вместе с тем возлагало на главу дома и великую нравственную обязанность строить и охранять нравы дома, великую нравственную ответственность во всем, что бы ни совершилось в доме, не только со стороны собственных чад, но со стороны и всех чад дома, всех работающих дому. Глава дома нес вели-

кую ответственность перед Богом за это нравственное тело, называемое домом. Глава дома в действительности иначе и не сознавал своих отношений к домашней своей среде. Дом в своем нравственном составе был нераздельным целым, был на самом деле одним нравственным телом, все члены которого были исполнены сознания, что они лишь служебные члены, и что всему начало в этом теле глава-домовладыка, государь этого господарства.

Тот же древний домострой поучает: “рабы водите в наказании, с тихостью учаше добрым беспорочным, и чтя их, да негде мистять у притчи. Аще ли не послушают, то раны, разумеючи, дати, яко и те Божия создание суть, но вам даны суть Богом на службу... а что суть у вас рабы и рабыня, Богом даны вам на службу, теми паки достойно печися вам и душами их, от зла возбраняти им и на покойяние приводити; а к церкви принужати, *вы бо есте игумени домов своих*; аще ли кто без покойяния умрет у вас или не крещен, то вам ответ дати за душу ту пред Богом“. «...»

Эти поучения по всем признакам принадлежат к ранней эпохе нашего христианства, быть может к XI и, по крайней мере к XII в., т.е. вообще к эпохе до татарской. Само собою разумеется, что начинающаяся церковь вместе с начинающимся обществом иначе и не могли определить и устроить отношения домашней семейной общины, которая и в народном сознании, и в сознании самой церкви вся сливалась в лице своего домовладыки. Но причины, почему домовладыка должен был становиться игуменом, апостолом дому своему существовали и в следующие века; поэтому Домострой XVI в. развивает это учение, как несомненный и непререкаемый догмат нравственной жизни общества. Он отделяет для этого учения особый “наказ о мирском строении, как жити православным христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцы и их наказывати и учити и страхом спасати и грозюю претити и во всяких делах беречи, душевных и телесных, чистым быти, и *во всем самому стражу над ними быти* и о них пещися, аки о своих удох“, утверждая жизненное, практическое значение и смысл этого наказа таким рассуждением: “Господу рекшу: будет оба в плоть едину. Апостолу рекшу: аще страждет един уд, то все уды с ним страждут. Також и ты, не о себе едином пещыся, но о жене и о детях своих и о прочих и о последних домочадцах — вси бо есмы связаны единою верою к Богу; и с добрым сим прилежанием имей любовь ко всем в Бозе живущим и око сердечное взирающе к Богу и будещи *сосуд избран*, не себе единого несый к Богу, но многи, и услышиши добрый рабе и верный: буди в радости Господа Бога своего“.

На этом-то наказе построена вся нравственная практическая философия нашего древнего века. Этот наказ составляет, так сказать, душу, основу и всех поучений Домостроя; он присутствует в нем повсюду, почти во всякой строке, где только дело касается поучения и назидания.

Написав *память* о том, “как избную порядню устроити хорошо и чисто“, Домострой назидает государыню-хозяйку: “Всего того и всякой порядни жена (чтоб) смотрила и учила б слуг и детей добром и лихом: не имет слово — ино ударить. И увидит муж, что не

порядливо у жены и у слуг... ино бы умел свою жену наказывати всяким рассуждением, и учити. Аще внимает — любити и жаловати. Аще жена по тому научению и наказанию не живет... и слуг не учит, ино достоин мужу жена своя наказывати и ползовати страхом на едине;... И слуги и дети также, посмотри по вине и по делу, наказывати и раны возлагати; да наказав, пожаловати... А только жены или сына или дщери слово или наказание не имеет, не слушает и не внимает и не боится и не творит того, как муж или отец или мати учит — ино плетью постегать, по вине смотря. А побить не перед людьми, на едине: поучити да примолвити и пожаловати; а никако же не гневатис, ни жене на мужа, ни мужу на жену. А про всяку вину по уху, ни по виденью не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть; никаким железным или деревянным не бить: кто с сердца или с кручины так бьет — многи притчи от того бывають: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст; и главоболие и зубная болезнь; а у беременных жен и детем повреждение бывает во утробе. А плетью с наказанием бережно бити: и разумно, и больно, и страшно, и здорово. А только велика вина и кручиновато дело, и за великое и за страшное ослушание и небрежение, ино сойма рубашку плеткою вежливоенько побить, за руки держа, по вине смотря; да, поучив примолвити; а гнев бы не был; а люди бы того не ведали и не слышали, жалоба бы о том не была... а не кается и не плачется о грехе своем, о вине, то уже наказание жестоко надобеть, чтобы был виноватый в вине, а правый — в правде; а всякому греху покаяние... а поклонны головы и меч не сечет, а покорно слово кости не ломит“.

Домострой закрепляет свой наказ следующим обращением к мужу или главе дома: “аще муж *сам* того не творит, что в сей памяти писано, и жены не учит, ни слуг своих, и дом свой не по Бозе строит, и о своей душе не радит, и людей своих по сему писанию не учит, и он сам погублен в сем веце и в будущем и дом свой погубит и прочих с собою. Аще ли добрый муж о своем спасении радит, и жену и чад своих наказует, также и домочадцев своих всякому страху Божию учит и законному христианскому жителству, яко же есть писано — он вкупе со всеми в благоденстве по Бозе жизнь свою препроводит и милость Божию получит“. «...»

“А себе *большой венец* приемши, понеже не о себе едином попечение имея к Богу, но и сущих с собою введе в жизнь вечную“.

Таково было великое и высокое значение господаря дома, такова была великая и страшная его нравственная ответственность пред Богом, и именно за свой дом. Он один за всех должен был “ответ дати в день страшного суда“, как говорит Домострой в другом месте. Эта священная обязанность и великая ответственность сама собою уже давала владыке дома самые полные, беспрекословные, самые широкие права поступать в доме домашнего нравственного и хозяйственного строя только свою волю. «...»

Определения воли должны распространяться только в этой подвластной родителю среде. Вот почему Домострой особенно и настаивает, чтобы господарь жены, чад и домочадцев как возможно заботливее определял их волю. «...»

Очень понятно, что от детей Домострой, по заповеди Господней, требует повиновения и послушания родителям во всем. “Со страхом раболопно служите им, — заключает он свое наказание, — да и сами от Бога мзду примете и жизнь вечную наследите, яко совершители его заповеди“. Но этот наказ детям, как и... наказ отцу “како дети учите и страхом спасати“, в духе своем, как и на самом деле, распространялся и ко всем живущим под властью домовладыки. Пред его лицом все были детьми, не исключая и их матери или его жены. Домочадцы же, т.е. слуги со всеми своими семьями стояли ниже степенью и детей господаря, ибо почитались чадами дома, чадами всего господарского семейства. Таким образом поучение: “казни сына своего“, как и поучение о повиновении детей, практически относилось ко всякому без исключения члену господарского дома. Оно служило единым основанием домашнего господарского быта. Такое же детское послушание Домострой налагает и на жену: “жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии: како душа спасти, Богу и мужу угодити и дом свой добре строити; во всем ему покорятися и что муж накажет, то с любовью приимати (и со страхом внимати) и творити по его наказанию... а по вся бы дни у мужа жена спрашивалась и советовала о всяком обиходе, и вспоминала, что надобеть. А в гости ходити и к себе звати: ссылатся с кем велит муж“... Домострой определяет для жены даже и то, как и о чем с гостями беседовати. “И то в себе внимати: у которой гостыи услышит добрую пословицу: как добры жены живут и как порядню ведут, и как дом строить, и как дети и служак учат; и как мужей своих слушают и как с ними спрашиваются и как повинуются им во всем“... Равновесия отношений между мужем и женою Домострой и не предчувствует. Доля жены в нравственном смысле есть доля детская. Она с одной стороны первый из домочадцев как первый и ближайший слуга мужа, на обязанности которого лежит весь домашний обиход. С другой стороны она старший из детей, правая рука мужа.

Конечно, на самом деле положение жены могло быть и в действительности бывало лучше, чем то, какое рисуется учением Домостроя. Но лучшим это положение бывало уже по требованиям самой жизни, но никак не по учению Домостроя, которое, напротив, своими освященными, авторитетными речами отдавало жену в полную опеку мужа, след. ставило ее не только в детские, но и в рабские отношения к нему, и все это утверждало искони вечным уставом доброго и богоугодного жития.

Муж, господарь дома, оставался таким образом единым лицом, самостоятельность которого была несомненна и ничем непререкаема. В этой одной только форме личность признавалась самостоятельною и обществом. На этом одном лице утверждался и союз общегития. Это одно лицо было, так сказать, целым полным лицом. Все остальное имело значение неполноты, неоконченности, вообще значение детства.

Таковыми-то ученьями созидался и укреплялся в народном сознании идеал родовой или родительской власти, что в сущности одно и то же. Значение этого идеала в древнерусской жизни, его влияние

на народный ум, на все представления народа о житейских отношениях были так сильны и велики, что самая оценка даже исторических событий и подвигов рассматривалась по преимуществу с точки зрения того же идеала. Так, всякое проявление личной или общественной самостоятельности, всякое малейшее движение личной или общественной независимости тотчас же возбуждало нравственное осуждение как порок гордости, самонадеянности, высокоумия. Конечно, это осуждение всегда имело в виду христианский идеал смирения, во имя которого оно и распространяло свои поучения о гордости; но самый идеал смирения мог получить особенный смысл, самый раболопный, только под сильным влиянием библейского идеала родовой власти, которая, как мы видели, смирение, покорение возносила на высоту главнейших добродетелей жизни, и именно для младшей ее среды, для младшей и в домашнем и в общественном значении. «...»

Вообще именем гордости кроме нравственного порока обозначалось и всякое независимое или самостоятельное деяние, где бы оно ни обнаружилось. В этом смысле и московский князь Симеон был прозван *гордым*. «...»

...Наиболее пластическим выразителем идеала служит известная “повесть о Горе-Злосчастии“, в которой живыми красками изображается *ослушание родительское*, вообще непослушание, непокорение и непоклонение родителям, а в сущности безнравственное, по тогдашним понятиям, и самонадеянное стремление личности жить, как себе любо. Это-то стремление к самостоятельности и независимости приравнивается — и с полным основанием с точки зрения родового идеала — к детской глупости. Повесть описывает жизнь молодца, оторвавшегося от родного корня, в сущности, жизнь личности *гулящей*, и в том смысле, что она сбилась с настоящей дороги, повела себя развратно; и в том смысле, что она хотела жить свободно, самостоятельно, независимо от родительской опеки, ибо, по понятиям века, жить без опеки значило то же, что жить гулящим путем, развратно.

Молодец, захотевший жить, как ему любо, был в то время “мал и глуп; не в полном разуме и не совершен разумом“. Только глупый и мог решиться скинуть с себя родительскую опеку, хотя бы и сознавал в себе силу и возможность жить своим разумом. «...» Повесть ничего другого и не думает изобразить, как одно назидание, что вышедший из родительской воли молодец всегда падает. «...» В лохмотьях стало срамно молодцу появиться к своему отцу и матери, и к своему роду и племени, и к своим прежним милым друзьям. Пошел он на чужую сторону; попадает на пир к добрым людям, рассказывает свое *ослушание родительское*: “ослушался я отца своего и матери, благословенья мне от них миновалось; Господь Бог на меня разгневался... *Отечество мое потерялось*, храбрость молодецкая от меня миновалась!“ Он, таким образом, теряет свое достоинство; в собственных глазах он становится ничтожным. Он просит добрых людей научить, как жить на чужой стороне, в чужих людях. Добрые люди, т.е. само общество, эта чужая сторона, поучают его так: не будь ты спесив на чужой стороне: покоришься ты

другу и недругу, поклонися стару и молоду, будь скромн, не лъстив и не лукав, смирение ко всем имей, с кротостью держися истинны с правдою... то тебе будет честь и хвала великая... Таковы требования жизни в обществе, которое иначе не представлялось исполненному родовой идеи уму, как чужою стороною.

На чужой стороне стал жить молодец умеючи; от великого разума наживал он живота (богатства) больше старого. Словом сказать, самостоятельность его стала несомненною. Он задумал жениться, срядил честный пир *отечеством* и *вежеством* и на пиру похвастался, что стал совсем независим: наживал-де я живота больше старого. А всегда гнило слово похвальное, похвала живет человеку пагуба! За эту похвалу, а в сущности, за сознание своей независимости и свободы, которое, по естественным причинам, личность не могла не высказать, за это ей готовится пагуба, готовится кара в образе Горя-Злосчастия. Подслушало Горе-Злосчастие хвастанье молодецкое, само говорит таково слово: не хвались ты, молодец, своим счастьем, не хвастай своим богатством; бывали люди у меня, Гора, и мудрее тебя и досужее, и я их, Горе, перемудрило: учинися им злосчастие великое; до смерти со мною боролися; во злом злосчастии позорилися.

Вот судьба, ожидавшая всякую личность, которая высвобождалась из родовой опеки, которая отрывалась от родового корня, которая теряла свое отечество. Это судьба ребенка-сироты, брошенного на произвол случайностей. Так личность и понималась нашим древним веком, когда она устремлялась жить как себе любо. Индивидуальной жизни, индивидуальных стремлений вовсе не существовало в его сознании. Жизнь *родом*, а не личностью, жизнь в круговой зависимости и в круговой опеке — это жизнь правильная и счастливая. Жизнь, отделившаяся от своего целого, естественно жизнь неправильная, не обстоятельная, жизнь горя-злосчастия, которого “гнездо и вотчина в бражниках”. В действительности так большею частью и бывало. Оторвавшаяся от родного союза личность, разумеется, очень редко могла выдержать борьбу со случайностями самостоятельного житья-бытья, ибо выходила она на эту борьбу в самом деле глупым малым ребенком, т.е. с ребяческим воспитанием своей воли. Поэтому Горе-Злосчастие и становится олицетворением личной свободы человека, живущего на своих ногах, без всякой опеки. «...» Горе-Злосчастие неизменно приводило молодца к бражничеству, соблазняло его безответственною жизнью нагих-босых и преследовало его всюду. «...»

Пошел молодец в свою сторону; но горе наперед зашло, везде его встречает. “Ты стой, не ушел добрый молодец! Не на час я к тебе, горе злосчастное, привязалося...” Полетел молодец соколом, полетел сизым голубем, побежал молодец в поле серым волком, стал в поле ковыль-трава, пошел в море рыбою — везде горе готовило ему напасть напрасной смерти. Наконец оно научает молодца богато жить — убити и ограбить, т.е. сделаться разбойником. Но молодец вспоминает *спасенный* путь и уходит в монастырь, постригаться. Горе остается у святых ворот, к молодцу вперед не привяжется.

В этом подвиге молодца вполне и высказалась даже историческая правда, что единственным исключительным прибежищем для индивидуальной жизни был монастырь, к которому по этой причине всегда и стремилась искавшая себе спасения наша допетровская личность. «...»

Таким образом, главным мотивом повести остается все тот же общий во всей поучительной литературе мотив смирения, покорения, послушания, с отрицанием всякой непокорливости и гордости, именем которой, как мы заметили, обозначалось и все самостоятельное в действиях человеческой личности. В этом отношении повесть о Горе-Злосчастии есть только поэтическое воспроизведение основных учений Домостроя. «...»

Истинных понятий о нравственной свободе лица не могло существовать в обществе, где родовый дух с такою силою пригнетал, давил личность, т.е. всякую человеческую индивидуальность. Поэтому идея свободы понималась так же материально, как и идея воли, и свобода значила собственно освобождение от чужой воли, а след. приобретение своей воли; или в сущности приобретение нравственной или материальной силы распоряжаться в данных обстоятельствах полным хозяином. Идея самостоятельности, нравственной независимости была нераздельна с идеей самовластия, а еще ближе, с идеей самоволия и своеволия. Вот почему мы, люди другого времени и других понятий о законах нравственности, не имеем права слишком строго судить об этом неизмеримом и безграничном *своеволии и самовластии*, которое так широко господствовало в нашем допетровском и петровском обществе, и особенно мало имеем права осуждать за это отдельные, а тем более исторические личности, которые всегда служат только более или менее сильными выразителями идей и положений жизни своего общества.

Своеволие и самовластие в ту эпоху было нравственною свободой человека; в этом крепко и глубоко был убежден весь мир-народ; оно являлось общим, основным складом жизни. Это была общая норма отношений между старшими и младшими, между властными и безвластными, между сильными и бессильными, между независимыми и зависимыми, и в физическом, и в нравственном, и в служебном, и в общественном, и в политическом отношениях. Это был нравственный закон жизни, выращенный ею же, самую жизнь, из почвы родового, патриархального быта и отеческих поучений; закон, которому противоречия, отрицания являлись только в среде государственных, вообще гражданских, социальных стремлений, постоянно, хотя и не всегда успешно, с ним борющихся. Нужно было очень много времени для того, чтоб этот закон в борьбе с государственными, т.е. социальными элементами износил свои жизненные начала, сделался дряхлым и ветхим, каким он представляется нашему сознанию только теперь. «...»

Допетровское русское общество со стороны общего характера своих подвигов, деяний и былей, переживало еще древний, эпический склад быта. Богатырство, как известный закон личного характера, было исходным началом личной деятельности, личного де-

янья... Историк распространяет смысл богатырства и на все другие, с виду однородные, явления жизни. Он ставит его общею характеристическою чертою нравственной жизни общества, а следовательно типическою чертою жизни отдельных лиц. С этою целью он дает нам эпическую характеристику богатыря, рисует вообще *сильного* человека нашей старины. «...»

Как ярко и живо в этом изображении выясняется нам лик и само Петра, этого последнего богатыря нашей эпической древности и первого выразителя всех сознательных элементов русской личности. «...»

В народном эпосе значение и даже происхождение этих богатырских сил очень понятно — там это не более как эпическое олицетворение сил народного духа, олицетворение сил и направлений всей жизни народа. Но, перенося эпический смысл богатырства на мелкие и крупные дела людей XVII века, в среду ежедневной действительности, мы уже имеем дело не с поэтической правдою, а с правдою историческою, с *нравственным* историческим началом жизни и по необходимости должны спросить: откуда это начало, где его корень? «...» Очевидно, что корни исторического богатырства должны лежать в той почве, которая вообще именуется культурою народа, его нравственною и умственною выработкою или выправкою. «...»

«...» “Таким образом, два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека: *отсутствие образования*, выпускавшее его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего, опека необходимая, впрочем, потому что, во-первых, он был действительно несовершеннолетним, а во-вторых, общество не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что продолжительная опека делала его прежде всего робким перед всякою силою, что впрочем нисколько не исключало детского своеволия и самодурства” (История России Соловьева. Т. XIII. Стр. 162, 172—174, 206 и др.)

В том-то и дело, что продолжительная опека прямо и непосредственно воспитывала это своеволие и самодурство, которое и составляет сущность указанного историком богатырства уже не эпического, а исторического, как мы заметили, которое правильнее будет назвать не богатырством, а господарством. В том-то и дело, что *не отсутствие образования*, а именно слишком тяжелое присутствие *известного образования*, выразителем которого был Домострой со своими родоначальниками и родичами, и не отсутствие со стороны общества нравственной опеки, а именно до крайности великое и осязательное ее присутствие, до крайности сильно выработавшиеся известные нравственные сдержки всякой личной самостоятельности — вот что именно воспитывало и развивало каждый личный характер и делало его с одной стороны *робким*, ребенком, дитятею *пред всякою силою*, а с другой — самовольным, своевольным, т.е. самовластным *пред всяким отсутствием силы*, *пред всяким ребенком по силе*. «...» Дух этого “глупого малого ребячества” и был первою основою его нравов, и стало быть и первою основою его поступков

и подвигов. «...» Мы вообще хотим сказать, что образование ничего не сможет сделать, если вся общественная, и умственная, и нравственная культура питается противоположными ему началами. Тогда оно производит только печальные плоды и наиболее только жертвы умственных и нравственных несообразностей, какие всегда порождает борьба просвещения с закоренелым невежеством.

Точно то же мы должны сказать и о нравственной опеке общества. Если есть общество, то есть и опека, и именно нравственная. Весь вопрос в том, на чем общество стоит в своем воззрении на нравственное, что общество почитает нравственным? Ибо по этому вопросу каждый век имеет свои особые созерцания и убеждения. Наше общество было сильно лишь родовыми идеями, отчего мы и называем его не обществом, а родством. Существо нравственной идеи, которая была руководителем всех помыслов и поступков старого русского человека, когда он стремился взойти на высоту нравственной жизни, заключалось в том, чтобы во имя родового идеала сдерживать до принижения нравственную свободу и нравственную самостоятельность личности. В умственной культуре для этого существовал целый нескончаемый ряд представлений о господстве над жизнью человека неведомых демонических сил, пред которыми самостоятельность и свобода личности поникала в полное сознание своего бессилия и ничтожества. «...»

Общество или, точнее, пропитанный идеями всесторонней опеки над личностью общественный ум чутко и зорко сторожил всякое и малейшее отступление от сознанных им начал жизни и даже от самых их форм. Детство ума он охранял и укоренял тем, что обзывать всякое его движение страшным в то время словом: ересью, а всякую книгу, не входившую в круг его созерцания, еретическою. Детство чувства и воли он охранял и укоренял неустанным преследованием всякого выражения самостоятельности, почитая это гордостью, высокоумием, самонадеянностью и т.п. нравственными грехами, и с этой целью широко развивал идею смирения, а в сущности идею повиновения, безграничного принижения личности во всевозможных видах.

Такова была нравственная опека общества над личностью, действовавшая во имя нравственного совершенства, которое все сводилось, как мы сказали, к всестороннему отрицанию природных человеческих требований и природных человеческих достоинств личности.

Эта-то опека и создавала тот тяжелый, душный мир, из которого вырваться было возможно только с силою богатыря. Она-то и производила богатырей необузданной воли; но не потому, что недоставало им переходного времени образования или нравственной опеки общества, а потому, что слишком эта воля была занузана. Тут становился сильным естественный закон, что крайность вызывает другую крайность; отрицание самостоятельности человека в природе его нравственных дел являлось отрицанием в нем самом его человеческих свойств и он, по неизбежной причине, делался зверем своей воли, или, говоря от поэзии, становился богатырем.

Для действий такой воли, конечно необходимым был простор, необходимо было *поле*. Как только человек, после 30-летнего сиденья сиднем в своем доме, т.е. в доме, исполненном родительской и общественной опеки, выезжал в поле, он богатырствовал, как Илья Муромец. Для одних, счастливых, таким полем была власть, властное авторитетное положение в обществе; для других, угнетенных и чем-либо утесненных, таким полем было действительное поле, степь, куда, как в нравственную и социальную отдушину, уходило все, что чувствовало себя не по себе в этом тесном и душном жилище всяческой опеки. Отсюда разбойная жизнь по большим дорогам и рекам, особенно на Волге-матушке, отсюда украинное казачество, отсюда усиление бродяжничества, т.е. в сущности искание независимости и самостоятельности для личности, которая не могла иначе, т.е. лучше, разумнее, законнее и возвышеннее понимать и чувствовать эти блага своей человеческой природы. Отсюда развитие нашего раскола и этот широкий нигилизм разных его согласий и толков. «...»

С первого взгляда может показаться очень странным: старинная родительская философия и житейская практика со стороны всяческой власти стояла на том, чтоб *не давать воли* малому, т.е. малому или меньшому во всех отношениях, и домашних, и общественных. Это было коренное неколебимое убеждение века в его нравственной сфере, убеждение, созданное развитием и делами самой жизни. Это было коренное, несомненное начало, руководившее прежде всего воспитанием детей, след. родительскою властью, а потом всяким начальством, всяким управлением в житейской среде, начиная с домовладычества и восходя до владычества в каком-либо воеводстве или наместничестве, или даже в государстве. На этом начале крепко стоял смысл всякой власти, сколько бы ни была она мала или велика. Оно господствовало везде и не допускало никаких других понятий о подчиненных, подвластных, как только о детях, о малолетних или о домочадцах, которыми *управлять* — значило *не давать им воли*. Сюда были направлены все поучения, вся практическая философия того времени, вся *жесточь* практических выполнений этой философии.

Следовало ожидать, что воля должна совсем утратить свою жизненную энергию. Внутри оно так и случилось. Восьмивековой период, живший одною идеею, успел окончательно подавить, заглушить волю; но за то взамен воли этот многовековой период успел вырастить самое безграничное своеволие, от которого старина никак не могла отличить волю в собственном смысле. Вот почему в нашей истории мы видим, что воля богатырствует везде, где только является *своею волею*. Мы видим, что волю брал всякий и везде, где только являлась возможность и где не встречалось другой, чужой воли, настолько сильной, чтоб не давать забирать свою волю. Таким образом воля, как мы уже выше говорили, представлялась чем-то материальным, внешним, чем-то таким, что можно было давать и не давать, брать или не брать. Высокого нравственного смысла человеческой свободы она не имела, она носила один лишь смысл животный, выражалась в животных формах и требовала жи-

вотных средств для направления и отправления своих действий.
«...»

Должно вообще заметить, что если мы хорошенько всмотримся в это богатырство необузданного самовластия, которым исполнена наша история, хорошенько вникнем в непосредственные и посредственные причины этого всеобщего жизненного явления, то едва ли станем удивляться даже и такому типу нашего *самовластного* богатырства, каким был Иван Грозный. Народ ему и не удивлялся. Он вынес его как страшную стихийную грозу, с чувством страха, с чувством ежеминутной гибели, с мыслью, что тут ничего не поделаешь, что это бушует и все громит непобедимая первозданная стихия. Народ потому и не удивлялся, что здесь на самом деле бушевала первозданная стихия его быта; оттого бушевала, что воплотилась в самые широкие размеры личной воли старшего. Народ, напротив, отнесся к Грозному не только без всякой ненависти, но и с большим сочувствием, как к эпическому богатырю — покорителю татарских царств и выводителю *измены* из Русской земли. Очень понятно, что на сентиментальный взгляд наших отцов и на гуманный взгляд наших современников такой разгул нашей первозданной стихии не только возмутителен, но и ни с чем не сообразен и совсем непонятен; однако ж в свое время он был терпим, он был в порядке вещей, он был в сущности только наиболее сильным, выпуклым выражением той же нравственной богатырской, вполне эпической силы, которая руководила жизнью всей народной массы, которая проявляла себя повсюду. «...»

Недаром Грозный явился вместе с Домостроем. История выразила в этих двух формах многовековые плоды русской жизни. Домострой был вполне законченным *словом* ее нравственного и общественного идеала. Грозный был *самим делом* того же идеала, также вполне законченным, после которого русская жизнь должна была идти уже по другому направлению, искать другого идеала. Грозный окончил самый запутанный акт русской драмы — истории. Он указал дорогу к высвобождению личности и обрисовал собою будущую личность освободителя — личность Петра. После Грозного старина опять было вздохнула в лице боярского царя Шуйского; но напрасно Шуйский провозглашал восстановление ветхого права боярской думы ограничивать волю самодержца — его голос не был никем услышан. Государево дело уже выпадало из боярских рук и становилось делом всей Земли. Земля требовала новой жизни, новых сил развития, искала новых идеалов... Целые сто лет прошли в смутах и волнениях. Земля двигалась из конца в конец, двигалась в самой глубине своих убеждений и воззрений. Приближалось что-то неведомое, *новое*... Тем сильнее подымалось все *старое* и высказывалось в самых резких, последних очертаниях. Званный идеал наконец явился в образе Петра, уже не первого отца и первого господара обществу, а первого его слуги, первого его неутомимого работника. Это уже наш идеал и нас от него отделяет только старая прапрадедовская форма самовластия, завещанная еще Грозным, которую Петр по необходимости носил, потому что в ней и родился, и оттого так ей и сочувствовал.

Итак, самовластие было жизненным началом старого русского быта; оно было олицетворением родовой идеи, которая построила наш быт. Оно во имя этой идеи держало личность многие века в нескончаемом детстве и во всякой крепости. Естественно, что по этому пути оно должно было выработать для личности условия самого низменного, рабского принижения пред всякою властью. «...»

Ярче всего принижение русской личности выразилось в пресловутом *челобитье*, в этом битье головою до земли, без которого невозможно было встретить какую-либо власть, и особенно очень старшую, т.е. господарскую, владеющую, стало быть в полном смысле родительскую, напр., помещичью, воеводскую, а тем более царскую. При всем том наше челобитье по существу своему являлось лишь первородною формою чести, какую должны были воздавать дети родителям. Другого смысла оно в себе не носило. Это была форма родового приличия, форма сыновнего почтения к родителю, которая распространилась и на общественные отношения, потому что все общество организовалось силою родового духа, вводившего повсюду свои уставы и порядки, свой строй жизни. От родового корня пошла наша внутренняя, нравственная жизнь, от этого корня произошли и все ее формы, не исключая даже и государственной. Вот почему в нашем рабстве, в его существе, постоянно скрывалось какое-то родственное благодушие, смягчавшее даже и силу крепостных отношений, так что раб и холоп становились у нас детьми, чадами дома, рабские и холопские формы отношений всегда приобретали смысл отношений детских, вообще отношений малолетства к возрастным.

Особенно живую картину таких именно отношений представляет напр. царский отпуск полковых воевод в поход на польского короля, происходивший 23 апр. 1654 г., при царе Алексее. На отпуске, как и на приезде к государю, бояре и все другие лица, которые допускались видеть его пресветлые очи, обыкновенно целовали его руку, что и называлось вообще: быть у государевой руки. Каждый, по порядку подходя к государю, сначала поклонялся до земли, целовал руку, а затем, отошедши, опять кланялся до земли. В настоящем случае торжественный отпуск совершался в Успенском соборе, после молебна. Тут же всех полчан царь звал к себе *хлеба есть*. Стол был в передней избе. После стола, после кубков и медов, двадцатипятилетний царь прощался с полчанами и особенно с главным воеводою кн. Алексеем Никитичем Трубецким. "И царь паки звал бояр и воевод к руке. И бояре шли един за единым. И царь кн. А.Н. Трубецкаго своими царскими руками принял к персем своим главу его для его чести и старейшинства, зане многими сединами украшен и зело муж благоговейн и изящен и мудр в божественном писании и предивен в воинской одежде и в воинстве счастлив и недругом страшен. И кн. А.Н. Трубецкой, видя такую *отеческую* премногую и прещедрую милость к себе, *паки главою на земле ударяется со слезами, до тридесят крат*".

На прощаньи с меньшими полчанами, дворянами и жильцами государь угощал их из своих рук белым медом и говорил речь, на которую они отвечали также речью и поклонялись до *седьми крат*.

Все это черты отношений по преимуществу детских, отношений меньшей родни, а не рабов. Во всех этих отношениях господствовало наиболее чувство родства — отечества и детства, а вовсе не чувство рабства; господствовало чувство тесной, неразрывной родовой связанности людей, а не чувство юридически выработанных отношений рабов к господину. В глубине этих-то чисто родовых отношений и скрывается весь смысл нашей истории, нашей нравственной и общественной культуры.

Если мы согласимся, что таковы были бытовые нравственные силы, действовавшие в нашем допетровском обществе, то вопрос, какое положение занимала в этом обществе женская личность, уясняется сам собою. Если идея личности совсем не была сознаваема, то могла ли существовать самая мысль о самостоятельном положении личности женской? По причинам, указанным выше, эта личность почиталась малолетней по преимуществу, почиталась ребенком, над которым была необходима самая полная опека. В начале главы мы заметили, что положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне рисует положение самого общества, т.е. состояние его умственных и нравственных сил, состояние его образованности и гражданской свободы. «...» Строгая характеристика Котошихина, перенесенная с женской личности на целое древнерусское общество, очень верно определяет существенные черты его положения, его умственного и нравственного состояния. Можно дознаться, выражаясь словами Котошихина, отчего б такому обществу быть гораздо разумным и смелым, т.е. свободным, когда грамоте оно неученое (умственно неразвитое) и не обычай тому есть; когда от младенческих лет и до старости оно живет в тайных покоех, т.е. во всякой умственной и нравственной опеке и цензуре, и никого и ничего не видит, т.е. ничего не знает опричь самых ближних, родственных учений и наказаний Домостроя. Можно дознаться, отчего такое общество породным разумом простовато, на отговоры несмысленно и стыдливо, т.е. отчего оно неподвижно целые столетия, отчего в нем не действует живая сила человеческой свободы и нет в нем развязных свободных движений ума и воли. Это общество, как берегло женскую личность от стороннего глаза, от мира-света, так оно берегло и само себя от всякого умственного света, в несказанной боязни, что, как проникнет к нему такой свет, то растленными явятся все основы его нравственности. «...» ...Личность, вследствие напора самой истории, самой жизни, вырвавшаяся, наконец, из этого терема, ни чем другим не могла явиться, как полнейшим нигилистом, всесторонним отрицателем всего прожитого, потому что в этом прожитом она видела и знала только одну полицейскую опеку родовой власти и никаких общечеловеческих сил развития. Оттого и последовал такой быстрый разрыв общества со своею стариною, которую оно очень скоро совсем забыло. С XVIII в. отрицание стало жизненною силою нашей общественной культуры. Мы отказались сами от себя, ибо ничего в себе не чувствовали и не находили положительного, основного, с чем бы возможно было показаться в люди. Этот новый двигатель нашей жизни, с особенною силою работавший в XVIII ст., еще продолжает

свое существование и до сих пор. Он лучше всего и со всех сторон выразился и пластически нас изобразил в нашей литературе. К нашему счастью, нынешние реформы вносят в нашу жизнь действительно положительные основы развития, которые и не замедлят совсем упразднить уже в высшей степени обветшавшее начало родовой самовластной опеки с ее неизменным сопутником — отрицанием и всяческим нигилизмом.

ГЛАВА

2

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ

На пределах нашей допетровской исторической жизни, по ту и по эту сторону, стоят две очень замечательные женские личности, которые в действительности пользовались общественными правами, занимая высокое общественное положение. Одна почти начинает нашу историческую жизнь, по крайней мере принадлежит первым лицам, дающим этой жизни начальное движение и направление; другая заканчивает и, так сказать, замыкает древний период русской жизни. Одна, вместе с тем, как общественная личность, носит в своей деятельности характер прямых, положительных условий жизни, является тем, чем должна быть русская женщина-язычница, является идеалом, которым народ выразил свои представления о достоинстве женской личности, в каких именно чертах это достоинство наиболее казалось ему высоким и желанным. Другая, напротив, является только отрицанием положительных условий жизни, является вовсе не тем, чем должна быть русская женщина-христианка, по крайней мере по учению и по идеалам века. Она является плодом жизненной смуты, плодом растления положительных жизненных условий быта.

Мы говорим об Ольге-княгине и Софье-царевне.

Несмотря на мужественный тип Ольги-язычницы, который с такою самостоятельностью открывает историческую жизнь русской женщины и тем самым как бы дает сильный образ для последующего развития этой самостоятельности, мы однако ж не видим в последующей истории, чтобы русская женщина употребила себе в пользу это богатое наследство. Семьсот с лишком лет, которые отделяют друг от друга Ольгу и Софью, не представили ни одной личности, сколько-нибудь равной им по значению. Семьсот лет таким образом протекли без следа для развития женской личности в смысле самостоятельного члена общественной, а не семейной только, жизни, так что и самостоятельность царевны Софьи, как упомянуто, явилась собственно отрицанием тех положений быта, какие были выработаны этим семисотлетним периодом русской истории.

Летописный образ Ольги исполнен эпических народных очертаний. Она предстает нам идеализированною и как матерая вдова, и как женщина вообще, и наконец, как женщина-христианка.

По смерти Игоря Ольга осталась вдовою с сыном Святославом, стало быть, *матерюю* вдовою. В тот век она имела естественное, положительное и ни в чем не оспоримое право *сидеть на вдовьем стольце*, как выражаются о таком праве даже позднейшие юридические памятники, т.е. сидеть на княженьи, управлять Землею или, по простому понятию, управлять домом, владением, имуществом умершего князя, каким в сущности и была для князей в то время Русская земля. Это был по всему вероятно, очень старый обычай, общий для славянской земли, гораздо древнейший, чем призвание варягов. Таким образом, вместе с обычным правом сидеть на вдовьем стольце Ольга по своему положению как вдова князя и главное вдова матерая, получает общественное политическое значение. Она в действительности управляет Землею, как князь. Она самолично с маленьким сыном и дружиною идет мстить древлянам за смерть мужа и покоряет их Киеву окончательно, с тою хитростью-мудростью (напр. истребление нарочитых, лучших людей земли), которая употреблялась несколько столетий спустя, при собирании земель Московюю. Она сама ходит по Древлянской земле, уставляя *уставы* и *уроки*, т.е. законодательствуя, водворяя порядок в определении даней и оброков.

Вслед за тем она сама ходила по всей Русской земле, точно так же уставляя дани и оброки, устроая землю, как самый деятельный и мудрый князь. Об этих земских ее походах и уставах память жила еще в XI—XII столетиях, т.е. спустя сто—двести лет. Еще тогда по всей земле оставались ее *знаменья*, места, погосты, ловища и перевесища. Это значит, что в XI—XII столетиях устройство земли во многих и по всему вероятно, в самом главном, в оброках и даних, оставалось еще то же самое, какое дано было Ольгою; оставались те же места, погосты, становища, в которых со времен Ольги утвердились местные данничьи и судебные центры княжеского управления. Из летописного рассказа видно, что народ очень дорожил памятью об этой действительно замечательной личности, ибо после нее сохранялись еще во Пскове ее сани.

“Ловища и перевесища” указывают также, что Ольга в своих походах “деяла ловы”, т.е. охотилась, как добрый князь. В этом нельзя и сомневаться. Если она сама ходила воевать с древлянами, сама в лесах и болотах Новгородской области уставляла дани и погосты, то почему же ей не ходить и на охоту, тем более, что охота в то время, кроме обыкновенного потешения, составляла очень важный промысл даже и для князей. Форма слов: *ловища*, *перевесища*, *становища* показывает, что это были места, где происходила охота или бывали остановки в походе, места наиболее выгодные для охоты или удобные для остановки. Припомним, что хождение за данью, как и на охоту, князья предпринимали всегда в сопровождении дружины и челяди — слуг, оттого и стан этого полка или двора по необходимости оставлял по себе знаменья, т.е. память и следы своего устройства и пребывания. Вообще ни один князь не оставил по себе такой земской и доброй памяти, как мудрая Ольга. За ее земским ликом, быть может, сокрылись и все земские заслуги мудрого Олега, с народным идеалом которого так родственно слива-

ется и ее народный идеал, даже самое имя. Наконец Ольга идет в Греки, в Царьград, идет так, как обыкновенно хаживали русские в греческую столицу, т.е. с куплею, по торговым делам, ибо с нею вместе находится более сорока купцов или *гостей*.

Уже один этот подход мог бы служить достаточною характеристикою ее необыкновенной предприимчивости и мужества. Всякое дело она хочет и знать, и делать самолично. Это черта петровская. Мы достоверно не знаем, какие именно прямые цели влекли Ольгу в Царьград, но видимо, главною целью было христианство, видимо, что она в это время была уже христианка в своих мыслях и стремлениях: в походе с нею находился даже христианский священник Григорий. Она пожелала самолично видеть христианский торжественный обряд в самом Царьграде и там просветить свое поганство новым учением; видеть лицом к лицу лучшую жизнь.

Таким образом, деятельность Ольги представляет нам типический образ всей княжеской деятельности первого века, олицетворяет идею жизни этого века. Ольга делает то, что делали все первые князья, воевавшие и торговавшие с Царьградом, покорявшие соседние племена, уставлявшие уставы, уроки и дани. Все это было обычным княжеским делом в то время. Необычайно только то, что Ольга, женщина, совершает эти мужские и мужественные дела. Но казалось ли это необычным для ее современников? Мы полагаем, что общее убеждение века находило деяния Ольги очень обыкновенными и весьма естественными. В сущности она ничего не делает такого, что могло бы противоречить ее положению. В ее деяниях ничего нет *зазорного* для ее положения как женщины вообще и как матерой вдовы в особенности. Она исполняет то, что была обязана исполнить именно как матерая вдова, наследница мужнина владенья, т.е. отомстить смерть мужа, потому что этого требовал обычай, требовала народная вера; ей было естественно устроить дани, уроки и оброки, вообще устроить землю, потому что неустойство именно даней, беспорядок, произвол и насилие в их собирании привели к тому, что муж был убит. Быть может добрая народная память о ней потому так долго и сохранялась, что она привела в порядок, в ясность и определенность эту важную статью княжеских отношений к Земле. Она является только хорошею, умною, самостоятельною хозяйкою своего имущества, какою по понятиям старины должна быть каждая матерая вдова. В этом смысле она и послужила идеалом для последующего времени. Конечно, мы должны отнести многое и к ее личной энергии, к ее личному характеру. Не всякая женщина могла иметь столько мужественной силы. Но не следует забывать, что мужество составляло общую характерную черту людей того времени. Это был век силы и отваги, век мужественных дел по преимуществу. Храбрость освещалась в то время даже религиозными представлениями о загробной жизни. Умереть победенным значило поступить в рабство к победителю на том свете. Если же мужество, вообще храброе и отважное дело, составляло высший идеал жизни для мужчины, то это убеждение не могло оставаться без влияния и на положение женщины. Обыкновенно, чего требует основная мысль века, на то отвечает и жизнь людей, их

поступки и дела; только то и господствует в жизни, что убеждение века почитает своим идеалом. Не могло быть, чтобы рядом с мужественным, сильным и отважным мужчиною, каким он был в первый век нашей истории, стояла женщина слабая или ослабленная нравственно, умственно и даже физически, как это было впоследствии, при господстве других идей и положений жизни. Не могло быть, чтобы женщина, находясь в сфере, где мужественное дело и отвага составляют стихию жизни, не воспитывалась под сильным влиянием этой стихии, чтобы свобода действий, которая сама собою уже разумеется в представлении о мужественном деле и отваге, не распространялась и на женщину, несмотря даже на физиологические условия ее пола. «...»

Дело жизни прямо выдвигало женщину на богатырские подвиги. И вот народная былина рисует нам первобытную нашу женщину такую же удалою поляницею, таким же удалым богатырем, несколько не смущаясь мыслью, что это для женщины зазорно, как потом стали учить премудрые *словеса* жизни. О мужестве русских женщин в языческую эпоху засвидетельствовали византийские летописцы, которые рассказывают, что во время войны Святослава с греками после одной весьма жестокой битвы, когда греки стали раздевать убитых скифов, то нашли между трупами и убитых женщин, которые в мужеском одеянии мужескою храбростью с римлянами (греками) сражались. Таким образом, народные идеалы рисовали в сущности народную действительность. Так понимал древний век общественное положение женщины, так идеализировал он и личность Ольги. Но в Ольге древний век идеализирует также и вообще женское существо, как оно ему тогда представлялось. Он идеализирует Ольгу мудрую — хитрою; она хитростью победила не только древлян, но перехитрила и самого царя греческого, который вздумал было взять ее себе в жены. Таково в глазах язычества свойство женской личности вообще. Хитрость в том веке являлась не только положительным свойством ума, но и вещью силою, приближавшею человека к богам. Оттого все женские типы из мифической эпохи обладают прежде всего именно этим свойством их существа. Такова, напр., и Феврония Муромская, и типы народных былин. Вообще языческий идеал присваивает женской личности существо мифическое. Она обладает даром гаданий, чарований, даром пророчества; она знает тайны естества и потому в ее руках по преимуществу хранится врачеванье от болезней, а след. колдовство, ведовство, заговоры, заклинания. Она в близких связях с мифическими силами; в ее руках и добро, и зло этих сил. Мифический змей становится спутником ее личности. На особенную высоту вещиго значенья ставит языческий идеал вещью деву. Как ни скудны и как ни темны сохранившиеся свидетельства о таком значении девичьей личности, но они все-таки и до сих пор сохраняют ее вещие черты. Достаточно указать на святочные подблюдные песни, на некоторые заговоры и народные обряды «...». Языческие идеализации коренились конечно на почве действительности, а действительность здесь заключалась уже в самой природе женского пола, в действиях этой природы на другой пол. Эту-то природу язычество и олицетво-

ряло в поэтических образах и в мифах, которые как ни были многообразны, но все выговаривали одно, что в женском существе кроются непостижимые демонические силы. Чары красоты и любви были очень достаточны для того, чтобы возвысить идеал женщины до мифического существа и вырастить на этой почве целый культ очарований во всяких других смыслах.

Все это должно было ставить женскую личность в самостоятельное отношение к языческому обществу, давать ей самостоятельное общественное значение. Но помимо вероятных соображений есть весьма положительные свидетельства о том, что идеальный характер русской женщины-язычницы, как он рисуется в эпической народной поэзии, в песнях, в обрядах, преданиях, вполне соответствовал тогдашней действительности, т.е. что женщина пользовалась самостоятельным положением в обществе, что ее общественная доля уравновешивалась с долей мужчины.

Укажем важнейшее, именно языческие браки, где свобода и самостоятельность женской личности уже в том обстоятельстве, что мужчины “умыкаху жены себе, с нею же кто свещашеся”. Брак, след., зависел не столько от воли родителей, сколько от согласия самой невесты, хотя вследствие родовых отношений общества необходимо было похищать невесту, ибо род даром ее не уступал. Общее свидетельство летописи утверждается еще более некоторыми частными случаями; напр. полоцкая Рогнеда отказывается идти замуж за робичича — Владимира, когда отец предложил ей, за кого она хочет: за Ярополка или Владимира.

Свобода совещания о браке, свобода выбора свидетельствует вообще, что в языческое время положение женщины было вольнее, независимее, чем в последующие века. К тому вела, как мы заметили, самая непосредственность всего народного быта, самое *дело* жизни, хотя бы и крепко связанной родовыми, кровными началами ее развития. Мы выше указали, какое именно дело жизни должно было уравновешивать женскую личность с мужскою.

Если все так было, если личность женщины действительно наравне с личностью мужчины пользовалась не домашними, семейными и только, но и общественными правами, т.е. правами делать дела мужские, если даже и в народном сознании вовсе не существовало понятий о раздельности общественных дел на женские и мужские, и женщина могла даже по-богатырски выезжать в поле, богатырствовать с врагом; если такие и подобные женские дела вовсе не принадлежали к необычным явлениям, а выражали только простой, естественный, самый обычный ход жизни; то и личность язычницы Ольги должна представляться нам не каким-либо исключительным явлением, а простым, естественным, самым обычным типом жизни. В чертах Ольги мы можем видеть тип русской женщины-язычницы, выразивший в себе ту весьма значительную долю свободных действий, какая принадлежала по обычаю языческого века вообще женскому полу в древнейшем русском обществе.

Само собою разумеется, что принятие Христовой веры должно было изменить положение вещей в древней Руси, изменить характер ее жизненной деятельности, характер ее представителей и геро-

ев. «...» И умственный, и нравственный образ русского человека начинает мало-помалу изменяться. Св. Вера смиряет и смягчает языческие нравы и обычаи.

Но, естественно, что вместе с благовестием евангельского учения приносится к нам нашими учителями греками и их литературная образованность, их умственная и нравственная культура в многочисленных произведениях их литературы, приносится и известный, собственно византийский склад понятий о многих предметах жизни. И именно тот склад понятий, какой в ту эпоху господствовал в умах византийского духовенства, находившегося в отношении своей проповеди в исключительном положении вследствие особенного воспитания и развития византийского общества. «...»

...Действие такого отношения этой учительной литературы к нашему обществу не замедлило обнаружиться. Сильнее, чем на мужчину, литературные учительные идеи стали действовать на женщину, т.е. вообще на домашний, так сказать сидячий быт народа, и тою собственно стороною, которая изображала этот мир миром погибели и прославляла удаление от него. «...»

Отрицание житейского мира выразило свои идеалы главным образом в аскетизме. В том обществе на самом деле иного пути для спасения и не было. В том обществе потребен был аскетизм беспощадный и всесторонний. «...»

Ясно, что только монашеский идеал и мог стать исключительным идеалом высоконравственной жизни. Но аскетизм, идя последовательно, приводил к отрицанию и таких сил жизни, без которых невозможно самое существование человеческого общества. Отрицая нескончаемые пороки ума, он отверг самую науку. И вот дух этого отвержения вносится и к нам, в молодое общество, ум которого не только не был заражен пороками праздного и сварливого умствования, но обретался еще в полном детстве и именно науки-то требовал для своего здорового развития. То же должно сказать и о нраве. Не испорченность нрава или старческий его разврат, а напротив его младенческое развитие ставило в этом отношении наше общество как бы в параллель с византийским и давало легкую и полную возможность отрицать его формы и порядки. Там старость, дожившая до детства и потерявшая знание и сознание истинных начал жизни; здесь настоящее детство, еще не выросшее до понимания этих начал. Видимая форма той и другой стороны, конечно, заключалось в крайнем рабстве и неподвижности ума, отчего безобразною являлась и самая жизнь общества.

Отвергая и отрицая наши младенческие формы жизни, аскетизм вместе с тем и здесь отверг целую область эстетических сил народа, народную поэзию в полном ее составе, не принеся взамен того никаких общечеловеческих начал для эстетического воспитания народных нравов, без которого всегда черствеют, грубеют и развращаются эти нравы, что осязательнее всего доказала, между прочим, и наша история.

В Византии особенное внимание нравственных умов обращало на себя поведение женщины; ее публичная роль, которую она легко себе присваивала в обществе, преданном сластолюбию и роско-

ши; ее, можно сказать, господство над этим обществом, чего, конечно, никак не могли выносить аскетические и особенно восточные умы. В самом деле, византийская женщина прославляла себя даже на императорском престоле такими делами и деяниями, которые требовали самого беспощадного, сурового осуждения. Поэтому в литературе она становится предметом самых жестоких и сильных обличений, рисовавших ее пластически во всех чертах ее греховной жизни. Вырастает образ *злой*, вообще греховной, *жены*, тип всякого нравственного безобразия, или вернее тип аскетического омерзения вообще к женскому существу как к существу великого, неисчерпаемого соблазна для аскетической мысли. Могло ли явиться что-либо другое в эпоху, когда аскетическая идея, вызванная и выращенная полным растлением общества, господствовала не только во всех нравственных умах, но и в самом вероучении, выражалась в каждом литературном памятнике, была, как мы сказали, единым путем спасения в виду общей гибели и единою исходною точкою сознания о нравственном совершенстве человека.

Основная идея, в которой главным образом таилось начало всяких обвинений, обличений, даже поношений женской личности в образе злой жены, а вместе с тем таилась и аскетический страх вообще пред женским существом, а стало быть, и аскетическая неугаемая вражда против него, основная идея всего этого заключалась в убеждении, что "от жены начало греху и тою все умираем". Словом сказать, и по библейскому, и по аскетическому воззрению женская личность сама по себе уже являла образ соблазнительного греха, от которого надо было бежать, не оглядываясь, как от Содома и Гомора. Вот причина, почему в учении, обращенном к ее лицу, мы находим самое широкое отрицание всего того, в чем сколько-нибудь выражалась эта, по мнению века, обольстительная греховность.

Красота лица, вместе с красотой наряда, не говоря уже о кокетстве, которое называется вообще *лукавством* и несколько не различается от настоящего лукавства, являлись для аскетических умов самыми вопиющими предметами соблазна и греха и преследовались с ожесточением, свойственным одному только аскетизму.

Такие-то идеи, которыми пропитана была литература Византии, переносятся вместе с грамотностью и на нашу литературную почву и воспитывают ум и нрав нашего младенчающего общества. Поправляя и передуляя по этим идеям наши нравы, очищая их от мнимых грехов непосредственного язычества, византийская литература переносит к нам, в наши детские умы и действительные, чисто византийские грехи, бесчисленные грехи всяческого суеверия и суесвятства, которые с течением веков разрастаются у нас в тучную ниву и производят неисчислимые плоды, выражаются во многих жизненных типах.

Принесенные к нам литературные, аскетические и вообще восточные, азиатские представления, совсем чуждые, ни мало не свойственные нашей северной природе, и физической, и нравственной, в духе своем клонились к тому, чтобы поставить женскую личность в самое невидное место общественной организации, чтобы вовсе от-

далить ее из общества как великую помеху для нравственных дел и деяний мужчины, как воплощенную человеческую слабость и шаткость нрава. «...» Восточная идея о великом неравенстве существа женского с существом мужским, о великом превосходстве мужского существа пред женским осязательнее всего чувствовалась, напр., в физиологическом факте, что для женщины наставали в известное время дни очищения. Эти-то дни и послужили, быть может, началом для всех “восточных” представлений о существе женской личности. Эти дни становятся для женщины днями изгнания... В эти дни она является существом нечистым, поганым... и в представлениях книжных умников века возбуждает вопрос: а что если случится плат женский в одежду вшити попу, может ли он в той одежде служить? Вопрос конечно разрешается уверением, что жена не погана; но тем не менее, простая, неисхитренная различными учениями мысль не может отойти от убеждения, что все-таки в женском существе есть нечто поганое, ибо святость, иначе светлость, чистота все-таки воспрещает ей многие действия, которые открыты для мужского существа, воспрещает ей, когда она бывает *скверна*, даже в церковь лезти. «...»

Уже одних представлений о чистоте было достаточно, чтобы отдалить женскую личность от общения с светом, т.е. с обществом, отвергнуть в ней смысл лица самостоятельного, полноправного для жизни общественной.

Дух восточных представлений отделяет ей в храме на общественном богослужении особое место, *ошуюю*. Там она становится на левой стороне, иногда едва допускается только в притвор или на полати — хоры; скрывается от чистых глаз за занавесами. «...»

Женщина приобщается св. Таин не из царских, а “из других дверей, что противу жертвенника” с той левой стороны, где определено ей стоять. Невестю при венчании она получает перстень железный, в то время, как жениху подают золотой. Женою она должна покрыть свои волосы и до гроба носит этот покров. Даже случайно открытые волосы являли грех и срам неизобразимый. А кто чью жену *опростоволосит*, тот подвергался строгому патриаршему суду. Народная культура обозначила свое понимание такого срама до сих пор еще живущим выражением: *опростоволоситься*, сделать наивную глупость, осрамиться.

Вдовою она должна носить платье *смирных, вдовьих* цветов, т.е. темных, траурных, ибо “вдовья беда (доля) горчее всех людей”. Она на всю жизнь печальная сирота. Самые материи, употребляемые на одежду, получали наименование вдовьих, так напр. в XVII ст. были в продаже *тафты вдовьи*.

“Пытайте ученье, которое говорит: жене не велю учить, ни владети мужем, но быти в молчании и в покорении мужу своему. Адам прежде создан бысть, потом Ева сотворена, и Господь рече: аз тя бех сотворил равно владычествовати с мужем, но ты не уме(ла) равно господствовать, буди обладаема мужем, работающи ему в послушании и в покорении вся дни живота твоего... Да будут жены *домодержецы*... да покоряются во всем своим мужем, и мужи да любят жены своя, и жены да послушают во всем мужей своих, яко

раб господина. Раб бо разрешится от работы от господские, а жене нет разрешенья от мужа, но егда муж ее умрет, тогда свободна есть законного посягнути... Глава есть мужеви Христос; жене глава — муж. Несть сотворен муж жены для, но жена мужа для, того для имати власть муж над женою, а не жена над мужем. Не мози, сыну, возвести главы женские выше мужни, али то Христу наругаешься. Того ради не подобает жены звати *госпожею*, но и лепо жене мужа звати господином; да имя не хулится в вас, но и паче славится. Кий властель под собою суца зовет господою, или кий господин зовет раба господином, или кия госпожа зовет раба господином, или кия госпожа зовет рабу госпожею?“ «...» (Рукописная Кормчая: Толк Козмы Халкидонского.)

В этом тексте заключается вся философия восточных воззрений на женскую личность вообще.

Само собою разумеется, что влияние византийской культуры должно было подействовать на самое устройство брака, и мы видим, что вместо туземного языческого брака, по обоюдному соещанию “с нею же кто свещевашеся” возникает как положительный вывод восточных воззрений на женщину брак малолетних: являются *десятилетние* мужья (Святослав Игоревич в 1181 г.) и *восьмилетние* жены (Верхуслава, дочь Суздальского Всеволода, отданная за четырнадцатилетнего Ростислава, в 1187 г.). На востоке и в Византии совершеннолетие для брачующихся полагалось для мужчин 14 лет, для девиц 12 лет; но обручение могло совершаться и раньше. Закон воспрещал однако ж обручение для отроков *менее семи* лет возрастом, стало быть, бывало и то, что обручались чуть не младенцы. У нас Верхуслава была повенчана восьмью лет и без сомнения это не был пример единственный. Естественно, что такой брак становился исключительно делом родительской воли или вообще воли старших родичей. Родовой дух здесь должен был торжествовать. «...»

Родовой дух, воспользовавшись учением закона, обошел мимо различные ограничения родовой власти, существовавшие в том же законе, и в течение целых веков рассматривал брак как такое дело, которое никак не могло быть совершенно без воли и опеки старших, распространяя понятие о детстве молодых и на всякого в действительности уже возрастного и потому *самовластного* распоряжаться собою, чего не отрицал и византийский закон. Непосредственность родовых понятий освятилась, таким образом, писаным и уже по этому одному только освященным правилом — законом, и получила еще большую силу для своих действий и влияний. Отсюда, из этого нового жизненного положения, сама собою выросла целая группа новых отношений, совершенно изменивших судьбу женской личности. Она, как ребенок, становится предметом самых неустанных забот, которые естественным образом и приводят ее в *терем* как в такое место, где береженье неразумного дитяти вернее и полнее достигает своих целей.

С какого именно времени вообще жены знатных и богатых людей стали скрываться в удаленных от людского глаза хоробах, с какого именно времени является в русской жизни этот *терем* и как

особая постройка, и как особая жизненная идея, сказать определенно мы не можем. По всему вероятно это началось с первого же века по водворении в нашей земле византийских понятий и византийских обычаев. Если бы терем и не был принесен к нам прямо византийскими руками как особая форма жизни вместе с какою-либо формой постройки, одежды, головного убора, и т.п., то во всяком случае он сам собою народился бы в нашем обществе по той простой причине, что была принесена из Византии и водворена в нашей земле его идея... Терем, по крайней мере в Русской земле, был плодом постнической идеи, действие которой, и в довольно сильных чертах, обнаруживается в нашем древнем обществе очень рано. Монашеский идеал в княжеском роде является господствующим уже при внуках Св. Владимира, и первыми его подвижниками являются девицы, дочери Всеволода и сестры Мономаха, Янка (Анна) и Евпраксия. Янка, *девою сущи*, постригается, собирает черноризиц и пребывает с ними по монастырскому чину, в монастыре, который, без сомнения, для нее же и устроен был ее отцом в 1086 г. Через три года, когда в Киеве умер митрополит, "иде Янка в греки и приведе митрополита Иоана скопчину; его же видевше людье, вси рекоша: это мертвец пришел". Идеал княжны нашел себе живое олицетворение. Через год Иоан помер. Летописец говорит, что "был сей муж не книжен, но умом прост и просторек".

Янка таким образом подает благочестивый образец постничества и иночества для княжеских дочерей, указывает им путь подвижничества, самостоятельный и независимый от мирской жизни. За нею скоро следует ее сестра, Евпраксия, которая постригается в Печерском монастыре.

В последующих поколениях идеалы детства и иночества распространяются в женском быту все больше и больше. Несмотря на то, что знаменитый брат этих первых инокинь-княжен, Владимир Мономах, пишет своим детям: "не монашество спасет вас, а добрые дела", его дочь Марица все-таки уходит в монастырь (1146 г.). К этому же почти времени, немного позднее, принадлежит и замечательное подвижничество Евфросинии Полоцкой, которая устроила также монастырь и постригла двух своих сестер, родную Гориславу и двоюродную Звениславу, и двух племянниц. Вообще с XI в. "иноческий образ" становится высшею целью жизни не только для женщин, княгинь и княжен, которые в нем одном находят себе настоящий путь жизни, но и для мужчин-князей, которым само духовенство толковало, что Бог им велел *так* быть, правду делать на этом свете, в правду суд судить, т.е. оставаться князьями, ибо и без того велика и священна их обязанность пред Богом, и которые однако ж всеми силами стремились избавиться от суетного, мимолетного и мятежного жития сего и постригались в монахи и даже принимали схиму, по крайней мере на склоне дней или же перед самою смертью. Что же касается княгинь, то, напр., в одном московском княжеском колене мы встречаем из них целый ряд инокинь, заслуживших даже соборной памяти: Ульяна, супруга Калиты; Александра — Марья, супруга Семена Ив.; Евдокия, супруга Донского; Софья, супруга Василья Дм.; Марья, супруга Темного. То

же находим и в других великокняжеских родах, суздальских, тверских, рязанских и т.д.

Как Анна Всеволодовна являлась образцом для южных княгинь, так Марья, супруга суздальского Всеволода Юрьевича, стала идеалом постнической жизни для княгинь Северной Руси. Она постриглась в 1206 г., по случаю восьмилетней, вероятно неизлечимой болезни, еще при жизни мужа. Со многими слезами провожали ее в монастырь сам князь, сын и дочь, епископ, игумен — отец ее духовный и другие игумены, и все чернецы, и все бояре и боярыни, и черницы изо всех монастырей, и все горожане. Не можно было видеть общей скорби, замечает летописец, потому что до всех была добра “преизлиха”. С детства в страхе Божиим любила правду, воздавая честь епископам, игуменам, черницам, пресвитерам; “любяше черноризец и подаваше требование им”. Была нищелюбица, страннлюбвица, печальных, скорбных и больных всех утешала и подавала им “требование”. Своею добродетельною жизнью княгиня надолго оставила по себе святую память. Позднейший летописец, описывая благочестивые подвиги Евдокии Донской, говорит между прочим: “постави на Москве церковь камену зело чудну (Вознесенский монастырь) и украси ю ссуды златыми и серебряными... и сотворила паче всех княгинь великих, разве точью Марья княгини Всеволода, иже в Володимире...”

Летописцы ни о каких других женских подвигах и не рассказывают, как о пострижении, о построении монастырей и церквей, потому что в их глазах эти-то подвиги одни только и заслуживали и памяти, и подражания.

С особенною приверженностью устремлялось к иноческому идеалу честное вдовство, так что из вдов — княгинь и особенно бездетных, почти каждая оканчивала свою жизнь инокинею, а часто и схимницею. Это становилось как бы законом для устройства вдовьей жизни. «...»

В летописях читаем следующее, вполне типическое сказание о таком обычном подвиге честного вдовства: в 1365 г. “преставися князь (Нижегородский) Андрей Константинович в *чернцах* и в *схиме*”, которую принял в несомненный час кончины. “Княгиня же Василиса много плакавши по князи своем; пребысть вдовою 4 лета; пострижена бысть от Дионисья, архимандрита Печерского и наречено бысть имя ей Феодора. Бысть ей тогда от рождения лет 40, и раздавала все именье свое церквам и монастырям и нищим, а слуги своя и рабы и рабыни распустила на свободу, а сама нача жити в монастыре у св. Зачатья, иже сама создала при князи своем; живяше же в молчании, тружаяся рукодельем, постом, поклоны творя, молитвами и слезами, стоянием ношным и неспасением; многажды и всю ночь без сна пребываше; овогда чрез два, иногда же и пять дней не ядяше; в мовню не хожаше, в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше; пива и меду не пьяше, на пирех и на свадьбах не бываше, из монастыря не исхожаше, злобы ни на кого же не держаше, ко всем любовь имеяше. Таковое же доброе и чистое житье ее видевшя, многи боярыни, жены и вдовицы и девицы постригашася у ней, яко бысть их числом и до девяносто, и вси

общее житье живяху. Княгиня же Василиса, поживши в черницах восемь лет и поболевши неколико дней, преставися ко Господу“.

Мы увидим ниже, что тот же идеал жизни, буква в букву, воплощался в благочестивом вдовстве и в конце XVII ст.

Само собою разумеется, что он господствовал и в частном, не княжеском быту, особенно в знатном и боярском, который всегда пользовался материальной возможностью осуществлять постническую жизнь в полной мере «...».

Так высок и силен был идеал иночества и постничества в нравственной жизни нашего древнего общества. Весьма естественно, что он, как идеал лучшей жизни, вносил свои стремления, а с ними и свои порядки и в обыкновенную повседневную мирскую жизнь, устроивал эту жизнь по своим образцам и правилам. «...»

Что устройство домашней жизни, по крайней мере в достаточном, т.е. господарском быту, имело действительно своим высшим идеалом устройство монастырское, это в полной мере подтверждает Домострой XVI в., записавший лишь то, что искони существовало или искони должно было существовать как наилучший порядок и образец частной жизни.

По уставу Домостроя (глава XII), “по вся дни утре, встав, Богу молитися, и отпети заутреня и часы, а в неделю (воскресенье) и в праздник — молебн... и святым каждение. В вечере — отпети вечерня, повечерница, полуношница с молчанием и со вниманием и с кроткостоянием, и с молитвою, и с поклоны. Пети внятно и единогласно. (Павечерница, и полуношница, и часы в дому своем всегда, по все дни пети: то всякому христианину Божий долг.) После *правила* (т.е. после этой вечерней службы) отнюдь ни пити, ни ести, ни молвы творити, всегда — всему тому наук... А ложася спати всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положить. А в полунощи всегда, тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитися, елико вместимо, о своем согрешении...” В другой главе, XIII, Домострой прибавляет: “а дома всегда павечерница и полуношница и часы пети: а кто прибавит *правила* своего ради спасения, ино то на его воли: ибо боле мзда от Бога... Всегда четки в руках держати и молитва Иисусова во устах непрестанно имети, и в церкви и дома, и в торг ходя, и стоя, и сидя, и на всяком месте”.

«В домовном обиходе и везде, всякому человеку, государю или государыни, сыну, дщери, или службе мужеска полу и женска, стару и малу всякое дело начати, или ести, или пити, или ества варити, или печи; всякое рукоделие и всякое мастерство, устроив себя, прежде святым поклоняться трижды в землю, или понужде до пояса; кто умеет (молитву) “Достойно” проговорити да *благословяся* у *настоящего*, да молитву Иисусову проговоря, да перекрестяся, молвя: “Господи благослови, Отче!” тоже, как начати всякое дело, ино тому Божия милость поспешествует, ангелы невидимо помогают, а беси отбегнут... А делати с молитвою и с доброю беседою или с молчанием; а делаючи что-нибудь, или кошуны, или скверные и блудные речи, или песни бесовские и игры — от такова дела и от таковые беседы Божия милость отступит, ангелы отыдут скорбни и возрадуются нечестивии демоны... Егда трапезу предпоставляеши,

вначале священницы Отца и Сына и Святого Духа прославляют, потом Богородицу; и Пречистой хлеб вынимают и, по отношении трапезы, Пречистые хлеб воздвигают и отпевают: «Достойно», вкушают и чашу Пречистых пьют...». Это особый монастырский обряд возношения хлеба в честь Богородицы, который действительно совершался за обедом и в царском и боярском быту. Мы не станем приводить новые выписки, ибо все наказы и поучения Домостроя сводятся к одной цели, чтобы сделать домашнюю жизнь непрерывным молением, непрерывным подвигом молчания и отвержения от всяких мирских удовольствий и веселостей, непрерывным чисто аскетическим отрицанием всего того, чего сама жизнь отвергнуть не в силах.

Таким образом, если благочестивый дом древней Руси, т.е. самый лучший дом во многом по своей жизни уподоблялся монастырю, то появление в таком доме терема было... естественным условием благочестивой жизни, по преимуществу для среды малолетних, неразумных, какими наравне с детьми почитались и взрослые девицы, да и вообще женщины. Словом сказать, появление терема было воплощением благочестивых воззрений на женскую личность, как на соблазн мира, а потому он должен был явиться еще в то время, когда такие воззрения достаточно уже укрепились в обществе. Мы видели, что уже в XI в. стремление к терему обнаружилось в сестрах Мономаха. Они девами приняли иноческий чин и таким образом засвидетельствовали, что и пред тем их жизнь была отдана идеалам постничества и удаления от мира. «...»

Еще по уставу Ярослава Великого, взятому с византийского номоканона, женская личность, наравне со всеми *церковными людьми*, по особому смыслу своей житейской доли, выделенными от мира-общества, отдается в покровительство церковного суда, который, таким образом, является исключительным, привилегированным ее защитником, охранителем и оберегателем ее чести, ее личного достоинства. Церковный суд, как известно, отделил в свою область все дела домашней, семейной жизни, взял на свое попечение и в свой непосредственный надзор *дом* как особую нравственную среду со всеми ее движениями. Вот почему и женщина как человек по преимуществу домовный отделилась от суда общего, мирского. Не княжий, а святительский суд преследовал ее оскорбителя; стало быть, не общество, а церковь подавала ей руку защиты. Как было прежде, мы не знаем; но с того времени, как начал действовать такой номоканон, женская личность по самому смыслу закона уже отстранялась от мира-общества, являлась членом не светского, общественного, а домашнего только мира, который вдобавок усиленно и неутомимо строился по монастырскому идеалу. «...»

Женщина постепенно удалялась от общества и являлась в нем уже только в силу некоторых жизненных обстоятельств, требовавших неминуемо ее присутствия или же дававших ей самостоятельное вотчинное значение. Так, мы упоминали уже, что только *матеря* вдова пользовалась правом стоять в известных случаях наравне с мужчиною и занимать соответственное своему значению место в общегитии. По крайней мере, общество не смущалось при-

существом женщины, приобретающей мужские черты вследствие своего хотя и вдовьего, но тем не менее отеческого, или вернее сказать, вотчиннического значения. Так, мы встречаем новгородку, боярыню Марфу Борецкую, пирующую в обществе мужчин; новгородских бояр.

В Новгороде, но не исключительно в нем одном, а повсюду в Северной Руси, *матерые вдовы* и в боярском, и в посадском быту стоят в ряду вообще домовладык, а стало быть в ряду мужчин. Вот почему вел. князь Иван Московский, покоривши Новгород при помощи новгородцев же, своих сторонников, очень заботится о том, чтобы его сторонникам, боярам, детям боярским и *боярыням*, которые служат Москве, за то не мстили никакой хитростью. Затем он требует крестного целования, политической присяги, вместе со всеми горожанами и от *жен боярских вдов* и даже от людей боярских. Основанием такому значению новгородских *боярынь-вдов* послужило, конечно, вотчинное имущество, которым они владели и распоряжались после мужей и на котором оставались полными хозяйками вероятно до своей смерти. Мы видим также, что *матерые вдовы* — великие княгини, в Москве — Евдокия, Софья; в Твери — Евдокия, Настасья, в Рязани — Анна, в Суздале — Елена, и т.д. при малолетних или молодых сыновьях получают большое самостоятельное значение; они сидят на *вдовьем столе*, т.е. на отчинном владении своих мужей, след. по необходимости являются деятелями общества, принимают участие в мужском общезитии, сидят в думе — совете с боярами, принимают послов, имеют даже *своих* особых бояр, и вообще своею личностью заступают во многих случаях место княжеской мужниной личности. Это особенно обнаруживается в XIV и XV ст., когда вотчинное начало в княжеском быту совсем окрепло и всюду распространилось.

Нельзя, конечно, отвергать предположения, что самостоятельность матерой вдовы, своими общественными отношениями, могла бы со временем выработать для женской личности по крайней мере известную долю свободных действий и вообще открыть двери терма. Но мы знаем, что княжеская вотчинность повела к развитию самовластия, а потом самодержавия и едиnodержавия. В борьбе за самовластие сам мужчина принужден был держать себя с осторожкою. Что же оставалось для женщины?

Ее затворничество становится уже решительно необходимою как наилучшая мера безопасности от всякого лиха. Она малопомалу лишается даже и той малой доли свободных действий, какою обладала прежде.

В XV в. вел. княгиня еще принимает к себе иноземных послов. В 1476 г. вел. кн. Софья Палеолог принимает у себя венецианского посланника Контарини и любезно с ним разговаривает... в 1490 г. она принимает цесарского посла Юрия Делатора. Эти случаи можно было бы объяснить тем, что Софья сама была иноземка и потому не изменяла своим обычаям. Но мы знаем, что такой обычай существовал и у наших княгинь.

В 1483 г. вел. кн. Иван Васильевич женил своего сына Ивана на Елене Волошанке и по этому случаю послал к Тверскому

вел. князь Михаилу Борисовичу посла Петра Заболотского с *радостью*, т.е. со свадебными дарами: Михаилу мех вина, его матери, матерой вдове, Настасье Александровне мех вина; его жене, Софье мех вина и по два убруска жемчугом сажены. Хотя в летописи и не говорится, что посол подносил дары вел. княгиням лично, но это разумелось само собою. ...Тот же летописец рассказывает, что когда у новобрачных супругов родился сын Дмитрий, вел. кн. опять послал в Тверь с *поклоном* Владимира Елизарьева, но тверской князь не принял поклона и выслал его вон из избы и “к матери ему идти не велел, к вел. княгине Настасье”, след. посол должен был к ней идти, как велось в обычае. В 1502 г. вел. князь посылал к Аграфене княгине рязанской поклон и слова, которые посол по необходимости должен был передавать лично.

Такие посольства к княгиням, особенно к матерым вдовам, были обыкновенным и даже неизбежным делом в княжеских отношениях до XVI в. Вотчинная независимость ставила в независимое положение и женскую личность. Ибо одна только вотчина, вообще собственность и всякому лицу давала смысл самостоятельного члена в общественном союзе. Но как скоро это положение, все-таки случайное для женщины, сделалось уже невозможным при утверждении единодержавия и соединения всех отдельных княжеских вотчин в одно государство, то в княжеском быту женщина осталась снова в своем терему.

Развитие ее общественных прав прекратилось, а домашняя жизнь стала еще теснее по причинам, которые указаны нами выше. Терем сделался не только монастырем, но и крепостью, которая защищала уже не от одних грехов, но и от всяких лиходеес и врагов. В начале XVI в. затворничество женщин было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так напр., мы видим, что известный Домострой хотя и не дает прямых наставлений держать жен и дочерей взаперти, но его молчание показывает, что этот обычай был так силен в господарском кругу, что не требовал уже особых наставлений. Домострой и не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли входить в мужские беседы. Он застает жизнь терема уж в полном цвету. Он дает только советы жене, как вести себя в гостях, у других жен, как вести себя с гостями дома, причем строго наказывает, «...» “а мужеск пол тутю отнюдь ни какими делы не был бы, кроме того, кому приказано... а иному никому тутю дела нет”.

“Состояние женщин, — говорит Герберштейн (еще в начале XVI в.), — самое плачевное: женщина считается честною тогда только, когда живет дома взаперти и никуда не выходит; напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным... Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения”.

Такою свободою, как мы видели, пользовались одни только *матерые вдовы*. В отношении дружеских бесед Домострой между прочим замечает: а в гости ходити, и к себе звати: ссылаться с кем *велит муж*... По свидетельству Бухау, в половине XVI в. знатные

люди не показывали своих жен и дочерей не только посторонним людям, но даже братьям и другим близким родственникам и в церковь позволяли им выходить только во время говенья, чтобы приобщиться св. таин или в другое время в самые большие праздники.

Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище — хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери, чествовалась с каким-то особым, точно языческим поклонением.

Этот обычай, по свидетельству Котошихина, заключался в том, что когда на праздник или в другое время собирались гости и начинался обед или честной пир, хозяин дома приказывал жене выйти поздороваться с гостями. Она приходила в столовую комнату и становилась в большом месте, т.е. в переднем углу; а гости стояли у дверей. Хозяйка кланялась гостям *малым обычаем*, т.е. до пояса, а гости ей кланялись *большим обычаем*, т.е. в землю. Затем господин дома кланялся гостям большим же обычаем, в землю, с просьбою, чтоб гости изволили его жену целовать. Гости просили хозяина, чтоб наперед он целовал первый свою хозяйку; за ним все гости, один за одним, кланялись хозяйке в землю, подходили и целовали ее, а отошед, опять кланялись ей в землю. Хозяйка отвечала каждому поясным поклоном, т.е. кланялась малым обычаем. После того хозяйка подносила гостям по чарке вина двойного или тройного с зелья, а хозяин кланялся каждому (сколько тех гостей ни будет, всякому по поклону) до земли, прося вино выкупать. Но гости просили, чтоб пили хозяева. Тогда хозяин приказывал пить наперед жене, потом пил сам и затем обносил с хозяйкой гостей, из которых каждый кланялся хозяйке до земли, пил вино и отдавши чарку, снова кланялся до земли. После угощения, поклонившись гостям, хозяйка уходила на свою половину, в свою женскую беседу, к своим гостям, к женам гостей. В самый обед, когда подавали круглые пироги, к гостям выходили уже жены сыновей хозяина или замужние его дочери или жены родственников. И в этом случае обряд угощения вином происходил точно так же. По просьбе и при поклонах мужей гости выходили из-за стола к дверям, кланялись женам, целовали их, пили вино, опять поклонялись и садились по местам, а жены удалялись на женскую половину.

Дочери-девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались. Иностранцы свидетельства присовокупляют к этому, что жены являлись угощать вином гостей только в таком случае, когда хозяин желал гостям оказать особенный почет и когда дорогие гости настоятельно просили о том; что целовались не в уста, а в обе щеки; что жены к этому выходу богато наряжались и часто переменяли верхнее платье во время самой церемонии; что они приходили уже по окончании стола и при том в сопровождении двух или трех сенных девиц, т.е. вероятно также замужних женщин или вдов из служащих в доме боярских боярынь; что подавая гостю водку или вино, они наперед сами всегда пригубливали чарку.

Этот обряд, подтверждая самым делом все рассказы о затворничестве русских женщин, о раздельности древнерусского общества на особые половины, мужскую и женскую, вместе с тем показывает, что личность замужней женщины, хозяйки дома, приобретала для дружеского домашнего общества высокий смысл домодержницы и олицетворяла своим появлением и угощением самую высокую степень гостеприимства. В этом обряде выразилась также чисто русская форма уважения к женской личности вообще, ибо земные поклоны, как мы уже заметили, были первою формою наиболее высокого чествования личности.

Итак, затворничество женской личности, ее удаление от мужского общества явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями. Не у татар мы заимствовали наш терем, а он сложился мало-помалу сам собою, ходом самой жизни, как реальная форма тех представлений и учений о женской личности, с которыми мы познакомились еще в самом начале нашей истории и которые в течение веков управляли воспитанием, образованием, всем развитием русской женщины.

С одной стороны, представление о нескончаемом ее детстве, хотя и выросшее из своеземных родовых определений, но вкорененное главным образом учением пришлой восточной культуры; с другой стороны, вкорененное тою же культурою представление о низменном достоинстве женского существа вообще, представление древнеземеиного соблазна, который является как бы природным качеством женской личности — все это вместе невидимыми путями, самим духом этих представлений помогло создать для женской личности положение, так выразительно описанное Котошихиным. «...»

Разновидные типические черты, в каких обозначалась женская личность допетровской Руси, сплетаются в один идеальный образ, который господствует над всеми остальными и служит если не всегда основою, то всегда неизбежным покрывалом каждого женского характера. Это образ *постницы*, образ иноческого благочестия в миру, иноческой чистоты и строгости нрава, иноческого освящения всех помышлений и всех поступков, всякого движения душевного и телесного. В этом только образе познавалась нравственная красота женской личности.

Но, ...как всегда бывает в общественной культуре, идеал становился очень часто только драпировкою личности и вовсе не обозначал того, что он должен был обозначать в действительности. В сущности, это была лишь внешняя форма достойной жизни, форма тогдашней образованности, тип изящных нравов, по понятиям и представлениям века; это был нравственный костюм, без которого невозможно было показываться в обществе, пред людьми. Поэтому очень часто в таком костюме являлись личности, вовсе и не помышлявшие о нравственных обязательствах, какие на них налагал этот костюм, и жившие в нем, как себе любо. Но за то являлись нередко и такие личности, которые с неумолимою последовательностью доводили задачу этого идеала до его желанного конца. К та-

ким именно личностям принадлежит, напр., известная постница боярыня Морозова, урожденная Соковнина, биография которой послужит для нас самым наглядным и полным изображением теремной жизни вообще, а в особенности вдовьей жизни в боярском быту; изображением тех стремлений, в которых женская личность допетровской Руси полагала высшее достоинство и высшую красоту нравственной жизни.

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова была супругою Глеба Ивановича Морозова, одного из первых бояр при царе Алексее Мих. Он был родовой брат знаменитого царского дядьки, царского пестуна и кормильца Бориса Ивановича, которого молодой государь почитал вместо отца родного и который одно время, в первые годы Алексеева царствования, управлял государством с полною властью. В молодых летах оба брата были сверстниками царя Михаила, государева отца, были его спальниками, след. домашними, комнатными, самыми приближенными людьми. В этом чине они значатся уже с 1614 г., т.е. почти с первого года его царствования.

Борис был пожалован в бояре в 1634 г. вместе с назначением в дядьки к царевичу Алексею. Глеб получил боярство в 1637 г. с назначением в дядьки к другому царевичу, Ивану Михайловичу. Однако царевич вскоре помер, 9 янв. 1639 г., и Морозов при комнате государя, в своем боярском приближении, остался без особого дела. Надо было по необходимости взять какое-либо дело не комнатное уже, а общее. В 1641 г. посылали приход Крымского царя; Глеб Морозов был послан первым воеводою в Переславль Рязанский; но близкой войны не предвиделось и воевода потом мирно возвратился в Москву. В 1642 г. он был назначен воеводою в Новгород, где и оставался до вступления на царство царя Алексея (в 1645 г.), который, вероятно, по просьбе Глебова брата Бориса, царского воспитателя, поспешил возвратить его в Москву, ибо далекое воеводство все-таки удаляло бояр от приближения к государю. Впрочем в 1649—1651 гг. он снова воеводствует в Казани, где для Бориса был очень нужен свой человек, потому что на Низу у него было много вотчин, самых богатых, продукты которых, напр. вино и хлеб, Борис ставил подрядом в казну, именно в Казани. Последняя известная нам служба Глеба Морозова состояла в том, что он сопровождал государя в двух польских походах 1654 и 1655 гг., находясь, впрочем, неотлучно при его особе.

Вообще возвышение старшего брата поднимало, конечно, на приличное место и младшего, человека по-видимому ничем особенно не замечательного. На Федосье Прокопьевне Глеб женился уже вторым браком. Первая супруга его была Авдотья Алексеевна (из чьего рода неизвестно), на которой он женился еще в 1619 г. ...С нею он жил более 30 лет.

В январе 1648 г., на свадьбе царя Алексея с Милославскою, Авдотья Алексеевна была посаженою матерью у государя, а сам Морозов в то время вместе с царским тестем Ильею Данил. Милославским оберегал сенник или спальню новобрачных. Такие свадебные чины ясно указывают, каким доверием и почетом пользовалась че-

та Морозовых. Вместе с тем они же свидетельствуют, что Морозов, как и его жена, были тогда уже люди не совсем молодые. Неизвестно, скоро ли после того Морозов овдовел. В 1654 г., февр. 12, женою его была уже Федосья Прокопьевна. В этот день она находилась в числе *приезжих* боярынь, приглашенных царицею к родинному столу царевича Алексея Алексеевича и занимала в порядке званых пятое место, след., одно из передовых, разумеется соответственно месту своего мужа. Таким образом, замужество Морозовой относится ко времени между 1648 и 1654 гг.

Но боярыня Феодосья Прокопьевна не по мужу только была близка к царскому двору. По всему вероятно она и замуж выдана из дворца, от царицы, или по крайней мере при особенном ее покровительстве. Она была дочь окольного Прокопья Федоровича Соковнина, человека очень близкого и без сомнения родственника царицы Марьи Ильичны. Московский дворянин П.Ф. Соковнин является при дворце в свадьбу царя Алексея с Марьею Ильичною. В это время он вводится в состав свадебных чинов и занимает едва видное, предпоследнее место в числе *сверстных*, т.е. близких или родственных дворян, назначенных идти для береженья за санями царской невесты. Тогда же и сын его Федор, стольник, находится также предпоследним в числе стольников-поезжан. Другой сын, Алексей, вероятно еще малолетний, определяется вскоре после свадьбы в стольники к самой царице и занимает после Милославского, Голохвастовых, Фед. Мих. Ртищева и Еропкина тоже предпоследнее место*.

Через месяц после царской свадьбы мы находим отца Прок. Соковнина уже во дворецких у царицы. Это значило, что он сидел за поставцом царицына стола, т.е. отпускал для ее особы ествы — должность весьма важная и влиятельная в домашнем обиходе царей... В чине окольного он призывается ... к посольским делам и в 1652 г. находится третьим в ответе у литовских послов с титулом наместника Калужского. Затем во время государева похода на польского короля оставляется в Москве оберегать царицу и ее двор.

Сын его Федор идет в своих повышениях за ним следом. Точно так же по смерти отца он управляет Мастерскою палатою царицы, садится за царицын поставец, и в 1670 г. получает думное дворянство; но в том же году он теряет это звание, вероятно по случаю царской опалы на его сестру.

Кроме двух братьев Федосья Прокоп. имела еще сестру, младшую, Евдокию, которая была за князем Петром Семеновичем Урусовым, тоже весьма приближенным к царю человеком. Он был крайчим (с 1659 г.), т.е. подавал государю за столом питья и яствы.

Из всего этого видно, что семейство Соковниных принадлежало к обществу домашних людей царского двора. Оно сумело воспользоваться своим положением, распространив свои родственные связи и со знатным боярством, каковы были, напр., Морозовы.

*Что касается Алексея Прокопьевича Соковнина, то известно, что, бывши уже окольным, в 1697 г., вместе с Цыклером он поднимал заговор на убийство Петра и за то был казнен на Красной площади.

Федосья Прокоп. вышла замуж 17 лет. Мы видели, что Глеб Морозов был уже человеком пожилым, так что при вступлении во второй брак на Соковниной он имел по крайней мере лет 50. Неравенство лет не могло, конечно, остаться без влияния на жизнь молодой боярыни. Мы не знаем обстоятельств ее замужней жизни, но имея в виду общий склад тогдашнего домашнего быта бояр можем предположить, что дом такого степенного, богобоязненного и тихого боярина, каким действительно был Глеб Иванович, скорее чем другие должен был служить наиболее полным выражением идеалов Домостроя «...».

Но важнее всего было то, что духовником Федосьи Прокопьевны, как и ее сестры Евдокии, был знаменитый протопоп Аввакум. «...»

Духовная дочь Аввакума, Федосья Прокопьевна, видимо, была душа крепкая и верующая и рано обнаружила свою привязанность к добродетельной постнической жизни по тому идеалу, какой тогда господствовал в умах, искавших спасенья. Для нее не были чужды вопросы такой жизни и быть может за то самое ее очень любил знаменитый брат ее мужа, Борис Иванович Морозов. Сказание о ее жизни говорит, что Борис многие часы проводил с ней, беседуя духовно, что, когда она приходила к нему, сам встречал ее любезно и говорил: “Прииди, друг мой духовный, пойди, радость моя душевная“, а провожая после беседы прибавлял: “Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных“. Стало быть, боярыня еще в молодую свою пору была уже достаточно знакома с постническим уставом жизни, так что могла вести разумные беседы с одним из разумнейших людей царского синклита. Вообще все показывает, что она была настолько развита, хотя и односторонне, что вопросы жизни для нее не были вопросами только хозяйства или домашней порядки, а были вопросами духовных стремлений найти самую правду жизни, что она вовсе не была способна сделаться “под фарисейским только видом постницею“, каких было довольно в то время.

Необходимо заметить, что в это самое время в Русском обществе, в его мыслящей или сколько-нибудь знающей, начитанной среде, совершался великий и нравственный, и социальный поворот от старого Домостроя к новине петровской, от Востока к Западу. Имя этому повороту было: *Никон*; потому что Никон-патриарх смело рукою формально коснулся наиболее заветного начала жизни, именно ее невежественного застоя. И прежде его думали и говорили то же, как он потом стал делать; не он первый и не он один желал сдвинуться с места. Первым был в этом случае сам государь. Но на Никона все должно было обрушиться по той причине, что его почин касался области, в которой застой невежества был очевиднее и осязательнее, и при том всегда освящался авторитетом святых, а потому давал широкие средства отстаивать его против малейшего движения умной новины, давал, кому это было нужно, широкие средства авторитетом веры спутать и замешать понятия общества. И вот имя Никона явилось знамением времени, стало ежеминутно повторяться в домашних беседах, во всяких собраниях,

в тишине домашней клетки и на шумных стогнах града. В народе поднялось великое и многое *размышление* и соблазн, а в иных местах и расколы. Судили и рядили о том, где правда? Говорили: «...» “Да они же имя Сыну Божию переменили, печатают по-новому с приложением излишней буквы Иисус, и тем учинили великий раскол и смуту, и от иных государств вечный понос и укоризну. Будто мы и отцы наши от Владимирова крещения, толико лет будучи, имени Сыну Божию не знали... Ведь, если и в царском имени кто сделает перемену (описку), так того казнят — как же дерзнуть нарушить имя Сына Божия”.

“К сему же и звоны церковные переменили, звонят к церковному пению дрянью, аки на пожар гонят или всполох бьют; и тем велие поругание и православным соблазн и возмущение; и в уставах того, чтоб дрянным обычаем по пожарному звонити, нигде не указано”.

“Иноки ходят в церковь Божию и по торгам без мантий, безобразно и бесчинно, как иноземцы или кабацкие пропойцы; и тем своим бесчинием иночеству конечное творят поругание, какого и в мирских отнюдь не бывает; потому что, если и мирянин кто, от благоговейных и честных, так будет творить, что без верхнего одеяния, в фerezях и в полукафтанах в церковь Божию или посреди торжища дерзнет войти, — не все ли зрящие посмеются ему и пьяницу суща или ума изступивша почтут быти. Если срам есть и безчестие мирских так творить, кольми паче иноком... а они и прочее одеяние иноческое все переменили и возлюбили иных земель платья и обычаи их и нравы. Вместо рясок носят иноземные широкие кафтаны, а вместо скуфей иноческих носят черные колпаки... Тако же и вместо клобуков возлагают на главы свои странно некое их инообразное подобие, соблазна ради и душевные пагубы: нельзя очи иметь нимало непокровенными, паче же юным и безбрачным, до конца соблазнительно и стыдно. А прежде в Русской земле этого не бывало и странных этих иноземских обычаев вводить не смели”...

“Попущением Божиим умножися в нашей Русской земле икононого письма неподобного... Пишут Спасов образ Еммануила — лицо одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мыщцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстые и весь — яко немчин, брюхат и толст учинен; лишь сабли-то при бедре не писано... А все то Никон враг умыслил: *будто живые писати*. А устрояет все по фряжскому, сиричь по немецкому... Ох! Ох! Бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступок и обычаев? А Миколу-чудотворцу имя немецкое — Николай! В немцах немчин был Николай, а во святых нет нигде Николая”...

Далее: перстосложение, аллилуия и очень многое тому подобное — все это и подверглось великому народному размышлению и рассуждению, особенно между духовными отцами и их детьми. «...» В обществе произошло разделение, главною причиною которого было крайнее невежество этого самого общества, воспитанного в самой тесной опеке, в среде бесчисленных запрещений, отречений и анафем; у которого отнята была наука, закрепощена мысль, которое

поэтому не имело способов само поверять действия своих руководителей и учителей и по необходимости шло за ними как бы на привязи. Очень понятно, что в таком обществе всякое наглое, самоуверенное слово, а тем более всякий фанатизм, даже фанатизм юродивого должен был почитаться за возглашение самой истины.

Фанатизм всегда и является неизбежным плодом умственной тесноты и умственной ограниченности. И в самом деле, очень трудно было в это время русскому человеку узнать, на какой стороне правда.

В самом дворце умы колебались и многие втайне стояли, разумеется, за старое, за уставы Домостроя и помогали всеми дворцовыми путями и средствами своим единомышленникам. Там старое могло приобрести еще большую силу от того, что многие, особенно близкие к царице, находили в старых порядках точку опоры для борьбы с новыми людьми, которые нередко переступали старым догму.

Само собою разумеется, что старый устав жизни, ее буква, обряд нигде не должен был иметь такой силы, как именно на женской половине дворца, которая долго и после реформы сохраняла привязанность к старым порядкам быта.

В таком положении находились дела, когда обычным путем шли лета замужества молодой и знатной боярыни. Бог дал супругам сына Ивана по их молитве и явлению чудотворца Сергия, как говорит сказание о жизни Морозовой, что достаточно свидетельствует о благочестивой ее набожности. Но в 1662 г. Глеб Иванович умирает и она остается вдовой. Случай решительный в жизни Морозовой. С этих пор ее постылическое набожное настроение мыслей получает широкий простор для своих действий, для стремлений к заветным идеалам. Должно полагать, что в это время ей было не более 30 лет; ...тогда и сын остался после отца лет десяти.

Первые годы вдовства шли однако ж обыкновенным порядком. Она жила, как следует большой и богатой боярыне, выезжала во дворец и к родным и знакомым с подобающе боярскою обстановкою и держала свой дом в подобающем устройстве.

Об этом времени ее вдовства пусть расскажет нам сам Аввакум, ее духовный отец и учитель. “Знаю, друг мой милый, Феодосья Прокопьевна, — пишет он к ней в одном из своих писем, — жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, в Верху чина царева близ царицы: в дому твоём тебе служило человек с триста, крестьян у тебя было 8000, именья в твоём дому было на 200 или на 250 тысяч; друзей и сродников в Москве множество-много; ездила ты к ним в карете дорогой, украшенной мусиею и серебром; на армагаках многих, по 6 и 12 запрягали, с гремячими цепями; за тобою слуг, рабов и рабынь, шло человек по 100 и по 200, а иногда и 300, оберегая честь твою и здоровье. Пред ними красота твоего лица сияла, как древле во Израили вдовы Июдифы, победившей Навходносорова князя Олоферна. И знаменита была ты в Москве, как древняя Девора в Израили, или Есфирь, жена Артаксеркса“.

Но вдова по понятиям и убеждениям века уже носила в своем положении смысл монахини. Честное вдовство само собою уже приравнивалось к обету иноческому. Поэтому вся жизнь вдовы со всею ее обстановкою естественным и незаметным путем преобразовывалась в жизнь монастырскую. Так же точно, естественным и незаметным путем, устраивалась и жизнь честного девства, напр. жизнь царевен. Не первая и не последняя была Федосья Прокопьевна, устроившая свой дом по-монастырски. Таков был господствующий идеал для женской личности, свободной от супружества.

Боярыня строго исполняла правило церковное и келейное, не оставляла его и тогда, когда бывала в Верху, у царицы или сестер государя, ибо и там все правила, т.е. известные церковные службы, молитвы и моления тоже исполнялись строго. Утром после *правила* и книжного чтения, обыкновенно святого жития на тот день или поучительного слова, боярыня занималась домашними делами, рассуждая домочадцев и деревенские крестьянские нужды, заботясь об исправлении крестьянском, иных жезлом наказуя, а иных любовью и милостью привлекая на дело Господне. Это продолжалось до 9-го часу дня и больше, т.е. до полудня и больше, по нашему счету. Остальное время посвящалось добрым, богоугодным делам, в числе которых первое и самое важное место принадлежало делам милосердия. В тот век добродетельному и благочестивому сердцу были как воздух необходимы нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, старцы и старицы. Добродетельное и благочестивое сердце не имело в то время другого, более чтимого выхода на путь добрых дел. Вот почему в то время каждый зажиточный, а тем более богатый дом собирал у себя эту братию не только в известные, определенные церковными обычаями дни, но и давал ей в своем доме местожительство. «...»

Федосья Прокопьевна в доме своем держала пятерицу инокинь *изгнанных* и радовалась, зря в ночи на правиле себя с ними стоящую и на трапезе их с собою ядущих... А иных в доме своем гнойных держала — Феодота Стефановича и прочих: им своими руками служила, язвы гнойные измывала и в уста их пищу подавала... Дом ее был отворен юродивым, и нищим, и сиротам, которые «невозбранно в ее ложницах обитали и с нею ели с одного блюда».*

В числе юродивых, которые невозбранно приходили в дом к Морозовой, были два ревнителя древнего благочестия — Феодор и Киприан. Феодор ходил в одной рубашке, мерз на морозе босой, в день юродствовал, а ночь всю стоял на молитве со слезами. Авва-

* По свидетельству Курбского, знаменитый Адашев десять имел прокаженных в дому своем, тайно питающе и обмывающе их руками своими... Он же упоминает о знатной вдове Марии, которая "во святом вдовстве превосходяща, яко на преподобном теле ее носити ей вериги тяжкие"... Подобные подвиги и обеты исполнила и боярыня Морозова. Татищев свидетельствует, что "двор царицы Праскевы Федоровны от набожности был *госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов*: между многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий, которого за святого и пророка суеверцы почитали. "Он меня не любил, — прибавляет Татищев, — за то, что я не был суеверен и руки его не целовал" (История Росс. I, 46). Стало быть, целование руки принадлежало к обыкновенным знакам чествования таких юродивых...

кум рассказывает о нем: “Много добрых людей знаю, а не видал такого подвижника; зело у него во Христе вера горяча была... не на башнях проходил подвиг... Пожил у меня с полгода на Москве, а мне еще не моглося: в задней комнате двое нас с ним. И много час — другой полежит, да и встанет, тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а иное — стоя, часа с три плачет. А я-таки лежу, иное сплю, а иное не можется. Когда уже заплачется гораздо, тогда ко мне приступит: “долго ли тебе, протопоп, лежать того? Образуься, ведь ты поп: как сорома нет?”... И мне не можется: так меня подымает, говоря: “Встань, миленькой батюшко!” Ну-таки вытащит как-нибудь меня... сидя мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет: то-то друг мой сердечной был!” За староверство он отдан был под начало рязанскому архиепископу Илариону, терпел там муки и наконец бежал в Москву. Об этом побеге, облекая его, разумеется, в форму чуда, он рассказывал Аввакуму: был я на Рязани под началом у архиепископа на дворе и зело он, Иларион, мучил меня: редкой день, коль плетьми не бьет, и скована в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я уже изнемог. В нощи моляся, плачу, говорю: Господи! Аще не избавишь мя, осквернят меня и погибну: что тогда мне сотворишь!... И вдруг, батюшко, железа все грянули с меня и дверь и отперлась, и отворилась сама. Я, Богу поклонясь, да и пошел. К воротам пришел, и ворота отворены. Я по большой дороге к Москве напрямик... К тебе спроситься прибрел: “Туда ли мне опять мучиться пойти или, платье вздев, жить на Москве?”. Протопоп велел ему вздеть платье и ухоронил его на время у себя. После его сослали на Мезень и там будто его повесили.

Об отношениях этого юродивого к Морозовой узнаем нечто из письма к ней Аввакума: “Поминаешь ли Феодора? — пишет он к ней. — Не сердисься ли на него? Поминай Бога для, не сердитуй! Он не больно пред вами виноват был. Обо всем мне пред смертью покойник писал: “Стала де ты скупа быть, не стала милостыни творить, и им на дорогу ничего не дала“. И с Москвы от твоей изгони съехал, и кое-что сказывал. Да уже Бог вас простит; нечего старого поминать. Меня не слушала, как говорил, а после пеняешь мне. Да что на тебя дивить? *У бабы волосы долги, да ум короток!* Прости же меня, а тебя Бог простит во всем“.

Другой юродивый, Киприян, известен был даже самому государю, след., мог бывать даже и в царском дворце и тем более, что во дворце, в числе “верховых богомольцев“, находились также и юродивые. Киприян не раз и государя молил о восстановлении древнего благочестия; ходил по улицам и по торжищу, свободным языком обличая новины Никоновы. Под конец он был сослан в Пустозерской острог и там казнен за свое упорство.

Идея юродства не была, конечно, самобытным созданием русской жизни. Она явилась как неизбежное последствие тех культурных начал, какие были принесены к нам из Византии и которые создали и постоянно создавали... соответствующие этому явления жизни. «...» Юродивый... в идее своей всегда носил смысл пророка, обличителя греховной жизни, обличителя всякой ее неправды. Са-

мою выразительную силою его обличений и был его подвиг, всегда исполненный или крайнего цинизма жизни, или безграничного отвержения ее мирских требований, вообще подвиг уродства жизни, что как необычайное и чудесное одно только и могло возбуждать застоявшиеся умы века.

Собирая около себя такое убогое общество, поучаясь его подвигами и словесами, Морозова и свой досуг употребляла на рукодельные труды также в пользу нищих и убогих. Иногда руки ее "пряслицы касались", садилась она за прялку, готовила нити и теми нитями шила рубахи, и ввечеру с одною из стариц, домочадицею Анною Амосовною, одевшись сама в рубище, ходила по улицам и по стогнам града, по темницам и по богадельням, и оделяла рубахами нищих; раздавала им деньги, овому рубль, а иному 10, а инде 50 рублей и мешок сотной.

Монах Симонова монастыря Трифилий, крепкий старовер, происходивший также от благородного корени, указал ей благоговейную инокиню Меланью. Она призвала ее и слышав ее словеса, очень возлюбил; избрала ее себе матерью, с иноческим смирением отдалась ей под начало, сделалась ее послушницею и до самой смерти ни в чем не ослушалась ее повелений. С тою Меланьею они также по темницам тайно ходили пешими ногами, носили милостыню, обтекали чудотворные места, соборы, монастыри и церкви, нося жертвы, как достойно.

Все это было в то время делом обыкновенным, делом необходимым для благочестивого и богобоязненного жития, все это вполне согласовалось с общими обычаями, с общими потребностями нравственной добродетельной жизни и особенно с идеалами и стремлениями честного вдовства. Так именно добрая вдова жила в течение всего старого века нашей истории. Но мы заметили, что время, в какое жила Морозова, было особенное время: умы были в размышлении, наставлял конец старому веку, наставляло свету переставление; почва колебалась, нужно было искать спасения, искать, где правда жизни. Оставаясь в среде Домостроя, дыша его духом, Федосья Прок. конечно не могла очень сочувствовать разным новинам или в сущности разным обличениям и исправлениям застаревших и укоренившихся ошибок. Авторитет предания был так велик в ее глазах, был так велик в глазах всех, кто хотел строгого и точного исполнения преданных уставов, что и одно прикосновение к его букве, даже к одной черте этой буквы, казалось своевольным высокоумием, опасным вольнодумством, против которого, как против антихристовой напасти, следовало бороться всеми силами. Так были и воспитаны и настроены тогдашние убежденные, размышляющие и рассуждающие умы. Но Морозова вдобавок имела руководителем известного юридивого-фанатика Аввакума и постоянную поддержку в обществе своих стариц, нищих и юридивых, особенно матери Меланьи, или Маланьи, без сомнения такого же Аввакума, только в женском образе, след., с чертами более мягкими; да видимо она не отвергалась в своих мыслях и на женской половине двorca. «...»

Надо припомнить еще, что Соковнины были в родстве с Ртищевыми; те и другие происходили из Лихвинских городских дворян, а в это время стали близкими собеседниками дворца. Мих. Алекс. Ртищев, отец знаменитого Фед. Мих. Ртищева, был постельничим у царя Алексея Мих. и приходился молодой вдове дядею. Его дочь, Анна Мих., по мужу Вельяминова, была у царицы Марии Ильичны кравчею, правою рукой во всех домашних хозяйственных делах. Ртищевы стояли за Никона, покровительствовали киевским ученым, т.е. вообще науке. Они ближе были к царю, который был исполнен стремлений исправить и украсить жизнь по новым образцам. Соковнины стояли за Аввакума, за старое благочестие, потому что были ближе к царице, в быту которой знали только одни старые уставы и потому крепко за них держались. Кравчая Вельяминова, хотя тоже была близка к царице, но следовала мыслям отца.

Михайло Алекс. Ртищев вместе с дочерью, двоюродною сестрою Морозовой, желая ее поколебать и на свой разум привести, много раз начинали выхвалять Никона и его реформы. Отверзала уста Прокопьевна и говаривала: “Поистине, дядюшка, вы прельщены врагом, а потому и похваляете *римские* ереси и их начальника“. Тогда продолжал седовласый старец: “О, чадо Феодосия! Что ты это делаешь, зачем отлучилась от нас? Посмотри, вот наши дети: об них нам надо заботиться и, смотря на них, радоваться и ликовать, жить общею любовью. Оставь распрю, не прекословь ты великому государю и всем властям духовным. Знаю, прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп (Аввакум). Не могу без ненависти и вспомнить о нем. Сама ты его знаешь!“ С улыбкою сожаления и тихим голосом отвечала Морозова: “Нет, дядюшка, не так; неправду вы говорите, горьким сладкое называете; отец Аввакум истинный ученик Христов, *потому что страждет он* за закон Владыки своего; а потому, кто хочет Богу угодить, должен послушать его учения“. Слова, имеющие глубокий исторический смысл. Вот, стало быть, где должно искать главной причины ослепления Морозовой, главной причины ослепления и помрачения многих, начиная от царского дворца и до убогих крестьянских клетей. И как это совпадает со всеми идеалами, какими был исполнен ум того века, какими было напитано воображение людей, сколько-нибудь коснувшихся тогдашнего книжного учения! Потому что он страдает, потому что его гонять — вот мысль, которая и во всякую другую эпоху всегда возбуждает доброе сердце к сочувствию, а в нашей старине эта мысль по многим историческим, культурным, умственным и нравственным причинам всегда и неизменно привлекала к себе общее сочувствие, которое не входило в тонкое разбирательство, за какое дело кто страдает; но, видя страдание, шло за ним, относилось с милосердием ко всякому страждущему. Оттого гонимые, особенно если еще замешивалась тут какая-либо государственная или церковная тайна, всегда приобретали у нас необъяснимый успех. Идеалы же Морозовой, доведенные ее фанатизмом до своих последних выводов, должны были даже требовать именно этого последнего акта ее аскетической жизни. Все было готово в

идее, оставалось только воплотить эту идею, это *слово* жизни, в самое *дело*.

Однажды Анна Михайловна Ртищева стала ей говорить: “Ох, сестрица, голубушка, съели тебя старицы белевки, проглотили твою душу! Как птенца, отлучили тебя от нас. Не только нас ты презираешь, но и о сыне своем не радишь; одно у тебя чадо, а ты и на того не глядишь. Да еще какое чадо-то! Кто не подивится красоте его... Подобало бы тебе и на сонного-то на него любоваться; да поставить бы над красотой его свечи от чистейшего воска, и не вем какую лампаду возжечь, да и зреть доброты лица его и веселиться, что такое чадо драгое даровал тебе Бог.” «...»

Морозова ответила: “Неправду говоришь. Не прельщена я, как ты говоришь, от белевских стариц. Но по благодати Спасителя моего чту Бога Отца целым умом; а Ивана я люблю и молю о нем Бога беспрестанно «...» не хочу, любя своего сына, себя губить, хотя он и один у меня: но Христа люблю более сына. Знайте, если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, то никак этого не сделаете... Если хотите, выведите моего сына Ивана на Пожар (площадь в Китае-городе, где казнили) и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры... но не помыслю отступить благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную. Я знаю одно: если до конца во Христовой вере пребуду и сподоблюсь вкусить за это смерти, то никто не может отнять у меня моего сына”.

Слышавши это, Ртищева ужаснулась, как грома, этих страшных слов и много дивилась такому *крепкому мужеству* и *непреложному разуму*, замечает повествователь жития Морозовой.

Без всякого сомнения еще больше укрепилось ее мужество и совсем помрачился разум, когда (в 1662 г.) в Москве снова явился из ссылки Аввакум. По его рассказу он был принят радушно. «...» “Пожаловал (царь), ко мне прислал 10 рублей денег, царица 10 рублей денег; Лука, духовник (царский) 10 рублей же...а *дружнице* наше Феодор Ртищев (двоюродный брат Морозовой) тот и 60 рублей казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных нечего и сказывать!... У света моей Федосьи Прокофьевны Морозовы *не выходя, жил во двор*, понеже дочь мне духовная; и сестра ее княгиня Евдокия Прокофьевна дочь же моя. Светы мои мученицы Христовы! А у Анны Петровны Милославской, покойницы, всегда же в дому был, и к Феодору Ртищеву браниться с отступниками (киевскими учеными) ходил, да так-то с полгода жил”.

Если в самом деле таковы были отношения многих знатных москвичей к Аввакуму, — хотя, видимо, он многое и прибавляет, то каким же образом Морозова могла отстать от своего духовного отца? Равнодушной она не была к вопросам веры, а прямое и непосредственное влияние на нее имел лишь один Аввакум со своими единомышленниками.

Естественно, что она все больше и больше укреплялась в истине своих размышлений и мнений и горячо их защищая по беседам, без сомнения научением и словами самого Аввакума или матери Меланьи, обратила наконец на свои подвиги внимание царя. Была к

ней присылка по повелению цареву, приходили испытывать ее Иоаким, чудовский архимандрит, и Петр, соборный ключарь. Узнав ее крепкое мужество и непреложный разум и готовность даже умереть за правду, государь повелел отписать у нее на свое имя половину вотчины. Но опала продолжалась, вероятно, недолго. Во дворце у нее была сильная рука. 1 октября 1666 г. государь возвратил ей отписанные вотчины “для прошения государыни царицы Марьи Ильичны и для всемирной радости рождения царевича Ивана Алексеевича”. Получив после такого искушения малую слабу, Морозова еще деятельнее предалась своим подвигам. «...»

Федосья Прокопьевна начала мыслью “на большее простираться”, т.е. более и более приближаться к цели своего идеала, желая ангельского образа... Вскоре она надела власяницу... “под одеянием ношаше на срачице, устроена от скота власов белых, кратко рукава” — и очень печалилась о том, когда этот ее подвиг случайно был замечен ее снохою, женою Бориса Морозова, Анною Ильичною Милославскою, родною сестрою царицы. Аввакум рассудил тогда ее печаль, что “не хотением сотворилось, Бог простит”.

Во дворце, конечно, все знали, что делается у Морозовой; хорошо знали образ ее мыслей и все речи ее и подвиги; но в первое время, когда еще тянулось дело Никона, она могла оставаться в покое, ибо, как видно, и для самого царя не совсем еще было ясно, в чем именно заключался настоящий смысл всей этой смуты умов. Морозова наконец приступила к матери Меланье, лобызая ее руки и поклоняясь на землю и умоляя, чтобы облекла ее в иноческий чин. Разумная мать отказывала по многим причинам: невозможно этого в дому утаить и если узнают у царя, многим людям многие будут скорби по случаю розысков и допросов, кто постриг; если и в дому можно утаиться, то присплет время сына браком сочетать, тогда необходимо будет много заботиться, хлопотать, уряжать свадебные чины, а инокам это делать не в лепоту; наконец должно будет уже стать до конца мужески и, откинув и малое это лицемерие и приличие, совсем уже не ходить в церковь. Морозова не оставляла своего намерения... Когда аввакумовцы увидели, как твердо и неизменно стоит в своем желании их верная послушница, то решились исполнить ее просьбу. Она была пострижена старовером, бывшим Тихвинским игуменом Досифеем, наречена Феодорою и отдана в послушание той же матери Меланье. Стало быть совершился только торжественный обряд того, что уже существовало на самом деле... Формальное пострижение только дальше подвинуло это дело. Прокопьевна, зря на себе иноческий чин, начала вдаваться большим подвигам, посту и молитве и молчанию; а от домовных дел от всех начала уклоняться, сказывая себя больною, и все судные дела в доме приказала ведать своим верным людям. По всему вероятно, это событие случилось в то время, как умерла царица Марья Ильична (1669 г., март), а с ее смертью потеряла свой вес и значение и партия Милославских с их родичами, вообще сочувствовавшая староверству. 1 сентября 1668 г. Морозова еще являлась во дворец на праздничный званый обед. Царица очень любила Морозову и очень была к ней милостива да, вероятно, не совсем чужда-

лась и ее мыслей, — тем чувствительнее была эта потеря для Морозовой. Весьма понятно, что после того дворец ей опостылел, ибо не осталось уже там корней для поддержки старого “благочестия”, а напротив с каждым днем входило туда новое “благочестие”. В январе 1671 г. царь вступил во второй брак с Натальею Кириловною Нарышкиных.

Морозовой, по старшинству ее дворского положения, следовало в свадебном чину стоять во главе других боярынь и титул царскую говорить. Она отказалась от этой чести, отговариваясь, что “ногами зело прискорбна, не могу ни ходити, ни стояти”. Царь понял причину ее отказа и прогневался, отозвавшись: “Знаю, она загордилась!” Морозова тоже очень хорошо знала, что царь это дело просто не покинет. Но она шла все дальше и дальше к своим задушевным идеалам и так далеко отошла от прежнего своего мира, что он стал ей казаться нечистым. Она не хотела идти во дворец затем, что в царском титуле приходилось ей наименовать государя благоверным и руку его целовать, да нельзя было избыть и благословений архиерейских... Она решила лучше страдать, чем с ними общаться. Царь до времени оставил ее в покое и только осенью в том же году послал к ней поговорить боярина Троекурова, которого один иноземец характеризует так: “При дворе он играет пустую роль и назначен более для увеселения царя, чем для совещаний в государственных делах”. Вероятно, это был человек недалекий, но набожный. В бояре он пожалован в 1673 г. Таким образом значение посла соответствовало самому предмету посольства. Спустя месяц к ней явился другой посол, более ей близкий, кн. Петр Урусов, царский крайчий и муж ее сестры Евдокии. Этот принес ей выговор, чтоб покорилась и приняла все новоизданные их законы; если же не послушает, то быти бедам великим. “Я не знаю, какое я сделала зло царю, — отвечала Морозова; — удивляюсь, почто царский гнев на мое убожество. Если хочет отставить меня от правой веры, — в том бы государь на меня не покручинился, да будет ему известно: до сей поры Сын Божий покрывал меня своею десницею; у меня и в мысли не было, чтоб оставя человеческую веру, принять Никоновы уставы. В вере христианской, в которой родилась и крестилась, в том хочу и умереть. Подобало бы царю оставить меня в покое, потому что от православной веры мне отречься невозможно”. Когда донесли об этом государю, он “множае гневом распаляшесь, мысля сокрушить ее”. — “Тяжело ей бороться со мною, сказал он предстоящим, — один кто из нас непременно одолеет”. “И бысть в Верху не едино сидение об ней, думаяще, как ее сокрушать”.

Особенно будто бы споспешествовали этой думе архиереи старцы жидовские и еромонахи римские, т.е. все те достойные ученые, призванные из Киева и Полоцка, которые в то время и были предметом ненависти для людей старого благочестия. Эти ученые ненавидели будто бы Морозову особенно за то, что ревнительница везде, и в дому своем, при гостях, и сама где бывала, на беседах, опровергала и обличала их “прелесть”, а им в уши вся си приходиша.

Гроза царского гнева приближалась. «...»

Морозова... знала о ходе своего дела во дворце. Ее сестра княгиня Евдокия Урусова не оставляла ее в это тяжелое время и только на малый час отлучалась в свой дом, затем, без сомнения, чтобы проведать у мужа, что там говорят об них в Верху. Через мужа она и получила надобные сведения. Когда было узвано, что время приближается, Федосья Прокопьевна рассталась со своими старицами: "Матушки мои, время мое пришло!" — сказала она им. — Идите все вы, может быть Господь вас где сохранит, а мне благословите на Боже дело и помолитесь обо мне, чтоб укрепил меня Господь страдати без сомнения о имени Господни". Тот же князь Урусов, который приходил к Морозовой с царским выговором, предупредил жену, что на бедную ее сестру скорби великие идут, государь неукротимым гневом содержит и решает на том, чтоб скоро ее из дому изгнать. Не высказывая, вероятно, из боязни, своего мнения о царской воле, он однако ж прибавил: "Послушай, что я скажу тебе и внимай моим словам. Христос в Евангелии глаголет: предадут бо вас на сонмы и на соборицах их бьют вас; пред владыки же и цари ведены будете, меня ради, во свидетельство им. Глаголю же вам, другом своим, не убойтесь от убивающих тело и потом не могущих больше что сотворити. Слышишь, княгиня, сам Христос глаголет! А ты внимай и памятьуй!" Княгиня радовалась таким словам мужа* и на утро, когда он поехал во дворец, отпросилась у него опять к сестре. "Иди, да не оставайся там долго, — ответил муж, — я думаю, что сегодня же присылка к ней будет". Княгиня однако ж осталась у сестры до ночи. Они вместе ожидали "гостей".

Во второй час ночи (т.е. по закате солнца) отворились большие ворота на дворе Морозовой. Ужаснулась Федосья Прокопьевна, понявши, что идут ее мучители. От страха ослабели ее ноги, и она приклонилась на лавку. Княгиня подкрепила ее: "Матушка, сестрица, дерзай! С нами Христос! Не бойся, встань, положим начало". Совершили они семь поклонов приходных, одна у другой благословились свидетельствовать "истину". Морозова в постельной своей комнате легла на свой пуховик, близ иконы Богородицы Федоровской. Княгиня ушла в чулан, род алькова, устроенный в той же спальне для наставницы Меланьи, и там легла на постель. Сестры видимо хотели показать, что они собрались уже опочивать. В постельную с великою будто бы гордостью, дерзко вошел чудовский архимандрит Иоаким в сопровождении думного дьяка Лариона Иванова и увидев возлежащую Морозову объявил ей, что послан от

* С какою целью говорил так князь Урусов, т.е. возбуждал фанатизм жены, неизвестно. Но все можно думать. Можно думать, что он сам тайно придерживался древнего благочестия и не обнаруживал своих мыслей с целью сохранить за собою весьма влиятельное при дворе место крайчего, которое он и сохранил до самой смерти царя Алексея, а при Федоре был пожалован даже в бояре. Но, в таком случае, за что же он подводил свою бедную жену под явную опалу? Собеседник царской Думы, он всегда мог спасти жену, выгородить даже в опасных обстоятельствах, не говоря уже о том, что она и не вышла бы из его воли, из его благоразумных советов. Они имели уже детей. Мы увидим, что он нисколько и не заботился выручить жену из беды. Все это заставляет полагать, что или слова Урусова сочинены писателем жития, или Урусов действовал так с тайным намерением избавиться приличным образом от нелюбимой жены, что в боярском быту иногда бывало. «...»

царя спросить ее; чтоб встала и стоя или сидя, если не может, да-ла бы ответ противу царских повеленных слов. Морозова не встала. “Какое крестишься и как молитву творишь?” — спросил ее архимандрит. Морозова, сложа по-своему персты, перекрестилась и произнесла молитву: “Такое я крещусь, так же и молюсь”. Второе: “Старица Мелания, а ты ей в доме своем имя нарекла: Александра, где она теперь, сказывай скорее?” Морозова отвечала: “По милости Божией и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом нашем доме ворота были отворены для странных рабов Христовых. Когда было время, были и Сидоры, и Карпы, и Меланьи, и Александры. Теперь же никого нет из них”. Думный дьяк ступил в чулан, но в чулане не было света; разглядев там человека, лежащего на постели, он спросил: “Кто ты?” “Я князь Петра жена, Урусова”, — отвечала сестра Морозовой. Дьяк, вовсе не ожидая найти здесь такую знатную особу, испугался своей дерзости и тотчас выскочил из чулана. Удивленный архимандрит воскликнул: “Княгиня Евдокия Прокопьевна, князь Петра Урусова! Спроси ее, как крестится?” Дьяк отказывался, объясняя, что они посланы только к боярыне Федосье Прокопьевне. “Слушай меня, возразил архимандрит, я тебе повелеваю, спроси ее”. Дьяк повиновался и дал вопрос. Лежа на постели, облокотившись на левую руку, княгиня сложила персты: великий палец со двумя малыми, указательный же с велико-средним, протянувши их и показывая дьяку произнесла молитву: “Так я верую”, — сказала. Неожиданная встреча княгини Урусовой и ее явление своего староверства заставили архимандрита тотчас же донести об этом царю. Оставив у сестер дьяка, он поспешил во дворец. Царь сидел посреди бояр в Грановитой палате. Приблизился к государю архимандрит и пошептал ему на ухо, что не токмо боярыня стоит мужески, но и сестра ее княгиня Евдокия, обретенная у нее в доме, также ревнует своей сестре и твоему повелению сопротивляются крепко. Государь заметил, что княгиня “смирен обычай имеет и не гнушается нашей службы, а вот люта эта сумасбродка!” Архимандрит ответил, что и княгиня не только уподобляется во всем сестре своей старейшей, но и злее ее ругается над нами. “Если так, то возьми и ту”, — сказал государь. Князь Петр тут же стоял и слышав царские слова будто бы опечалился, но помочь делу не мог. Архимандрит возвратился в дом Морозовой и приступил к испытанию ее рабынь.

Сопровождавший архимандрита черный дьякон Иоасаф указал особенно на двух, Ксению Иванову и Анну Соболеву. Когда обе укрепились (в перстосложении), их поставили на правую сторону обо-бо; прочие все убоялись и не пошли на сторону укрепившихся, остались ошуюю. Тогда архимандрит обратился к боярыне со следующей речью: “Понеже не умела ты жить в покорении, но в прекословии своем утвердилась, а потому царское повеление постигнет тебя и из дому твоего ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу, встань и иди отсюда”. Морозова не трогалась, видимо она выдерживала роль, что больна ногами, ни стоять, ни ходить не может. Ее посадили в кресла и понесли из комнат. Сын Иван Глебович провожал свою мать до среднего крыльца и поклонился ей

вслед. Она не видела его. Наложили на обеих сестер железа конские и посадили их в людские хоромы, в подклети, приказав людям беречь их под стражею.

Через два дня снова явился к ним думный дьякон Ларион Иванов, снял с ног железа и велел идти куда поведут. Морозова не захотела идти (пешком); дьяк велел нести ее. Слуги принесли сукна (носилы), посадили и понесли в Чудов монастырь. Княгиня Евдокия была ведена за нею пешком. Войдя в одну из палат вселенских (соборных) и по обычаю образу Божию поклонившись, Морозова сидевшим там властям “сотворила мало и худо поклонение”. В палате председал Павел, митрополит Крутицкий, знакомый уже нам Иоаким, архим. Чудовский, думный дьяк и иные. Она не захотела говорить пред ними стоя; села на место и не вставала, несмотря на их неоднократное требование. Митрополит начал ее увещевать тихо и кротко, вспоминая честь ее и породу. “Все это натворили тебе, — сказал он, — старцы и старицы, тебя прельстившие, с которыми ты водилась и слушала их учения, и довели тебя до этого поношения, что приведена твоя честность на судище”. И красоту сына ее вспоминал, чтоб пожалела его и своим прекословием не причиняла бы разорение его дому. Против всех слов она давала ответы: что истинному пути и благочестию навывкла не от старцев и стариц, а от истинных рабов Божьих. “О сыне же перестаньте мне много говорить. Обещалась Христу, моему Свету, и не хочу обещание изменить до последнего вздоха; ибо Христу живу, а не сыну”. Видя непреклонное ее мужество и бесполезность кротких увещаний, власти решились ее пострадать. “Коротко тебя спрашиваем, — сказали они ей, — по тем служебникам, по которым государь царь причащается и благоверная царица и царевичи и царевны, ты причащаешься ли?” “Нет, не причащаюсь, потому что знаю, что царь по развращенным никонова издания служебникам причащается”. — “Как же ты об нас обо всех думаешь, стало быть мы все еретики?” — “Ясно, что вы все подобны Никону, врагу Божью, который своими ересьми как блевотиною наблевал, а вы теперь то сквернение его подлизываете”.

В ответ ей сказали, что после того она не Прокопьева дочь, а бесова дочь. Морозова защищалась, говоря, что проклинет беса, что по благодати Господа, она... все-таки дочь Христа. Прение продолжалось от 2 часа ночи и до десятого (считая от солнечного заката). Княгиня Урусова точно так же “во всем мужество показала”. Их тем же порядком возвратили домой под стражу в тот же людской подклет. Морозову опять несли на носилках. “Если нас разлучат и заточат, — сказала она княгине, предугадывая ход дела, — молю тебя, поминай меня, убогую, в своих молитвах”.

Утром на другой день пришел думный дьякон, принес цепи со стулами и снявши с ног железа, стал возлагать на шею им эти цепи. Морозова перекрестилась, поцеловала огорлие цепи и сказала: “Слава тебе, Господи, яко сподобил мя еси павловы узы возложить на себя”. Дьяк повелел посадить ее на дровни и везти конюху. Ее повезли через Кремль.

Когда ее везли Кремлем, мимо Чудова монастыря, под царские переходы, она, полагая, что на переходах смотрит царь на ее поезд, часто крестилась двухперстным знамением, высоко поднимая руку и звеня цепью, показывая царю, что не только не стыдится своего поругания, но и услаждается любовью Христовою и радуется своим узам.

Ее посадили на подворье Печерского монастыря (на Арбате) под крепкий караул стрельцов.

Княгиню Евдокию подобным же образом обложив железными “юзами“, отвели в Алексеевский монастырь и отдали под крепкое начало с повелением водить ее в церковь. Но она, противясь этому повелению, такое мужество показала, что дивился весь царствующий град ее храбрости и тому, как доблестно сопротивлялась она воле мучительской. Доблестные подвиги ее заключались в том, что она всеми силами сопротивлялась, когда нужно было идти в церковь. Приказано было волочить ее на рогожных носилках. Она и тут притворялась расслабленною, не могущею ни рукою, ни ногою двинуть и сама на носилки не ложилась. Старицы Алексеевского монастыря, выводимые из терпения ее притворством, даже дерзостно заушали ее, говоря; “Горе нам! Что нам делать с тобою; сами мы видим, что ты здорова и весело беседуешь со своими, а как мы придем звать тебя на молитву, ты внезапно как мертвая станешь; и должны мы трудиться, переворачивать тебя как мертвое тело“. — “О старицы бедные, — давала им ответ княгиня, — зачем напрасно трудитесь; разве я вас заставляю; вы сами безумствуете, всеу шатаетесь. Я и сама плачу о вас, погибающих. Как я пойду в ваш собор, когда там у вас поют не хваля Бога, но хуля, и законы его попирая?“ «...»

Морозова чувствовала, что ей для укрепления необходима была почва; а крепкою почвою для ее подвига были те же старицы, к которым она так привыкла и которые, оставаясь в Москве, могли во многом ей помочь. Нашли же они средство побеседовать с нею.

Одна из них, Марья, дворянского рода Даниловых, еще во время первых действий царского гнева умыслила было бежать, но была поймана в Подонской стране (на Дону), привезена обратно в Москву, подверглась тому же испытанию и также крепко поревновала, похваляя пред всеми древнее благочестие и отвергаясь принять новины. Ее посадили, окопавши, пред Стрелецким приказом.

Быть может этот самый случай заставил Морозову советовать своим духовным сестрам оставаться лучше в Москве, где гораздо легче было им скрываться от властей.

Между тем к заключенной часто ездил для увещания Иларион, митрополит Рязанский. Но бесполезны были всякие увещания. Видя себя “железы тяжкими обложена и неудобством стула томиму“ она радовалась и об одном только скорбела, о чем и писала к наставнице своей Меланье. “Увы мне, мати моя! — говорила она в письме. — Не исполню я дела иноческого! Как я могу теперь поклоны земные класть! Ох люто мне грешнице! День смертный приближается, а я, унылая, в лености пребываю! И ты, радость моя, вместо поклонов земных благослови мне павловы узы Христа ради

поносить; да еще если изволишь, благослови мне масла коровья и молока и сыра и яиц воздержаться, да не праздно мое иночество будет и день смертный да не похитит меня неготову. Одно только постное масло повели мне ести“. Мать Меланья в ответ подавала ей благословение на страдание и говорила: “Стани доблестно, Господь да благословит тебя юзы, Его ради, носити; и пойди, как свеча, от нас к Богу на жертву. О брашнах же, — все кушай, что прилучится“. Понятно, почему не могли действовать на страдальицу никакие увещания. Она была отделена от своих, была в заточении, но на самом деле она не разлучалась со своею средою, она могла даже переписываться с Меланьею. Ниже увидим, что не одни старицы поддерживали и разжигали своею помощью ее фанатизм. Хорошо понимали это и власти и все-таки вовремя не могли найти прямую виновницу ее несчастья, эту Меланью. Так еще была сильна в обществе приверженность к древнему благочестию, которая одна только и могла так заботливо оберегать наиболее заметных его представителей и проповедников.

Само собою разумеется, что много помогали Морозовой и ее братья. К ним-то и обратился царь, желая хорошо разузнать все подробности дела и отыскать мать Меланью. Феодор Прокопьевич, лишившись со смертью царицы Марии Ильичны важной должности ее дворецкого, оставался еще думным дворянином и был в поезжан на свадьбе царя с Нарышкиною в 1671 г. “Ты все тайны своей сестры знаешь, скажи мне, где Меланья?“ — спросил его государь. Но пособник своей сестре не дал надобного ответа. Оба брата были удалены из Москвы, Федор в степь, в Чугуев; Алексей на Рыбное, якобы на воеводство, а в самом деле в заточение, повествует сказатель Феодосьина жития. Федор на своей волости столько обогатился, что и своих рублей тысячу прожил.

Сына Морозовой, отрока Ивана Глебовича, государь берег, ибо в это время он оставался единственным представителем знатного и очень любимого царем рода Морозовых. Но отрок, разлученный с матерью, от многой печали заболел. Царь прислал к нему лекарей; а они так его улечиша, сказывает составитель жития, что в малых днях и гробу предаша. Сказать о смерти сына был послан к несчастной матери священник, “поп никонианский“, который, желая подействовать на заключенную страхом, отнес это событие к Божию наказанию за ее отвращение от истинного пути «...». Услыхав о смерти сына, пала на землю пред образом, «плача и рыдая, умиленным гласом вешала: “Увы мне, чадо мое! Погубили тебя отступники!“ И долго голосила надгробные песни, так что слышавшие сами рыдали от жалости». «...»

Со смертью молодого Морозова действительно дом их запустел до конца. Имение, вотчины, стада коней были розданы боярам; а вещи золотые, серебряные, жемчужные и от дорогих камней были распроданы. Так говорит сказатель жития. Он же повествует, что при этом в одной палате множество золота нашли, “заздано в стене“, — клад, спрятанный, вероятно, еще предками Морозовых, что было в обычае в старое, тревожное и опасное время. Крестьянин

закапывал свои сокровища в землю, боярин замуровывал их в каменных стенах своего дома.

Однако ж не все из имени подвергалось опальному расточению. Один верный раб Морозовой, Иван, по ее повелению припрятал некие дорогие вещи у верного человека, но был предан своею женою, был пытан и мучен, огнем жжен шесть раз; но все перетерпел и наконец был сожжен в Боровске с другими ревнителями благочестия.

После того царь как бы сжалился над заключенною и повелел отдать ей двух рабынь, чтобы послужили ей в заключении, Анну Аммосову, а другую Стефаниду, прозываемую Гнева, которые с великою радостью пошли служить боярыне, потому что были ее единомышленницы. Княгиня, сестра Морозовой, не получила подобного облегчения в своей участи; но за то Бог послал ей честнейшую от рабынь, боярскую дочь Акулину, которая сама наложила на себя этот подвиг, пожелав служить ей, приходя и отходя, а впоследствии постриглась и наречена Анисьей. «...»

Несчастные ревнительницы древнего благочестия из такой знатной и высокой среды конечно обращали на себя общее внимание. Особенно важно и дорого было их ревнование для их единомышленников, которые находили в их подвиге сильную точку опоры, сильный и яркий пример при распространении своих заблуждений в народе и потому естественно должны были всеми средствами помогать их подвигу, бодрствовать над ними со всех сторон. Видимо, что посредством стариц и служанок несчастные жертвы находились в постоянных сношениях с этим темным миром и получали оттуда непрестанные “укрепления” стоять и страдать за правду, за *старое предание отеческое* до конца. Этими-то путями Морозова успела в своем заточении причаститься от странствующего попа — инока Иова Льговского. «...»

Очень милостив был к ней карауливший ее стрелецкий голова. Она умолила его пустить к ней старца, сказавши так: “Был в доме моем, в одном из наших сел, некий священник; была милость наша к нему. Теперь, я слышала, он здесь; жаль мне его, старика, позволь повидаться с ним, если будет твоя милость к нашему убожеству“. И вот пришел старец белецким образом, т.е. переодевшись, подать ей бесценный бисер. Иов так был умилен ее страданием, что после не мог без слез вспоминать об этом.

Теми же путями Морозовой представился случай повидаться и с сестрой. «...»

Но гораздо важнее было то, что страдалиц не оставлял своими поучениями и ободрениями их духовный отец — Аввакум. Время от времени из своего далекого заточения он присылал им послания и всегда возвышал их подвиг в превыспренних изречениях. Так, проведая о рассказанных уже нами событиях, он шлет к ним письмо, в котором спрашивает Федосью, жива ли она: “Еще ли ты дышишь или сожгли, или удавили тебя?“ — и за тем восторгается их подвигом, называет их супругами нерасторженными, ластовицами сладкоглаголивыми, маслинами, светильниками пред Богом на земле стояще! «...»

“Мучьтесь за Христа хорошенько, не оглядываясь назад; спаси Бог... не служите о безделицах века сего. И того полно: побоярила, надобе попасть в небесное боярство...” «...»

Таковыми-то поучениями и аввакумовскими льстивыми восхвалениями постоянно ободрялись и укреплялись эти бедные женщины. С авторитетом духовного отца и его сподвижников, конечно, ничто не могло соперничать в их убеждении.

Общество тогдашней Москвы также не могло оставить этой любопытной истории без внимания. Многие соболезновали несчастной судьбе сестер. Тот же Михаил Алексеевич Ртищев, уговаривавший прежде Морозову, приехал однажды к княгине Урусовой и стоя у окна с умилением сказал: “Удивляет меня ваше страдание; лишь одно смущает меня: не ведаю, что за истину ли терпите”. Этими словами вполне обрисовывается колебание тогдашних умов, которым на самом деле трудно было выяснить себе настоящий смысл дела. Особенно же город был взволнован именно деяниями княгини Урусовой... На наш теперешний взгляд все эти сцены, конечно, по меньшей мере достойны сожаления. Но в век всеобщего суеверия и всяческого суесвятства дело это казалось весьма серьезным. Это была одна из форм юродства, пред которым тогдашние умы останавливались с уважением и даже с благоговейным почтением, невзирая на вопиющие несообразности подобных подвигов вообще с нравственным достоинством человека. У того века было всемогущее слово: “Христа ради”, которое хотя и понятное самым материальным смыслом, всегда освещало и покрывало эти младенчаствующие представления о святости нравственных подвигов человека. Терпеть, страдать, быть гониму, уничтожить себя Христа ради, в каких бы формах такие деяния ни обнаруживались, но если они почему-либо освящались великою святынею этого слова, — они всегда привлекали к себе и ум, и сердце народа, воспитанного в духовной своей сфере аскетическими идеалами, вообще идеалами мученичества.

Множество вельможных жен и простых людей стекалось в Алексеевский монастырь смотреть, “как влачаю княгиню на носиле”. Особенно вельможные удивлялись ей и соболезновали о ней как о своей сроднице. Видя все это, склоняясь жалостью о страдании такой вельможной женщины, а вместе с тем смущаясь, что “сие влачение” служит еще более к прославлению ее терпения, умная игуменья монастыря обратилась к патриарху Питириму и рассказала, что у них в монастыре делается и какова княгиня и за какую вину сидит. С именем княгини неразлучно припомнилось и имя Морозовой. “Я вспоминаю об этом царю”, — ответил патриарх. “Великий государь! — говорил он потом царю, — советую тебе боярью ту Морозову, вдовицу — кабы ты изволил опять дом ее отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал; так бы дело-то приличнее было; потому что женское их дело: много они смыслят”. — “Я бы давно это сделал, ответил государь; но не знаешь ты лютости этой жены. Нельзя тебе и рассказать, сколько она мне наругалась и теперь ругается. Кто мне столько зла и великого неудобства показал? Если не веришь моим

словам — сам испытай; призови и вопросы, тогда узнаешь ее крепость. Как начнешь ее испытывать, тогда вкусишь ее *прянности*. А потом я исполню все, что повелит твое владычество, не ослушаюсь твоего слова“.

Видимо патриарх, а вместе и царь желали покончить это дело, смущавшее всю Москву. Опять во 2 час ночи взяли Морозову и с юзами и посадивши на дровни повезли в Чудов монастырь под охраной стрелецкого сотника. В соборной палате был патриарх, митрополит Павел и иные власти и “от градских начальник не мало“. Предстала Морозова, нося на вье оковы железны. “Дивлюсь я, как ты возлюбила эту цепь и не хочешь с нею разлучиться“, — сказал ей патриарх. Обрадованным лицом и веселящимся сердцем ответила она: “Воистину возлюбила, и не только просто люблю, но еще и не довольно насладилась вожденного зрения сих оков“... «...» Патриарх стал увещевать ее, говоря, чтобы оставила свое безумие и нелепое начинание, пожалела бы себя... и присоединилась бы к церкви, исповедавшись и причастясь св. тайн. — “Некому исповедаться и не от кого причаститься“, — отвечала Морозова. “Попов много на Москве“, — сказал патриарх. “Много попов, но истинного нет“, — возразила Морозова. “Я сам на старости потружусь о тебе, сам тебя исповедаю и причащу“, — продолжал патриарх. Морозова отреклась и от этой высокой чести. «...»

Во время этой беседы Морозова не хотела стоять пред властями; ее поддерживали сотник стрелецкий и стрельцы; она висела у них на руках и в таком положении говорила с патриархом.

Все обнаруживало болезненное расстройство ее ума, — так по крайней мере это понял патриарх и решился в исцеление помазать ее священным маслом, “да придет в разум, се бо, яко же видим, ум погубила“. Патриарх облачился и готовился совершить помазание. Но Морозова «...» отринувши помазание... вопила к патриарху: “ Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом!“ — и позыцая цепями, продолжала: “Для чего эти оковы? Я грешница, целый год их ношу именно потому, что не повинуюсь, не хочу присоединиться ни к чему к вашему. А ты весь мой недостойный труд одним часом хочешь погубить! Отступи, удались; ни требую вашей святыни никогда!“

Биограф рассказывает, и конечно баснословит, что после того ее назвали исчадием ехидниным, вражьей дочерью, страдницею, что не для чего ей больше жить, на утро страдницу в сруб... Что потом будто бы повергли ее на землю, так что, казалось, голова ее расколется; что поволокли ее по палате... что по лестнице все ступеньки она главою своею сочла. На тех же дровнях ее привезли обратно на подворье в 9 часу ночи.

В ту же ночь и тем же порядком происходило увещание княгини Урусовой и Марьи Даниловой, причем, по рассказу биографа... княгиня, отрицая помазания маслом, еще дивнейши сотвори. Увидя патриарха, идущего к ней с масляною спицею, она мгновенно сняла со своей головы покрывало, опростоволосилась и воскликнула: “О бесстуднии и безумнии! Что вы делаете? Не видите разве, како-

ва я есть?“ — т.е. в каком срамном виде; и тем устыдила властей и миновала помазания.

На другой день, во 2 час ночи, они все три, вероятно порознь, были перевезены на Ямской двор. Посадили их в избе темной и тесной, так что сначала, сидя по углам, в темноте между множеством народа, они и не знали, что находятся вместе, в одной избе. Они догадывались, что привезли их на пытку; но думали также, что может быть хотя бы послать их куда-нибудь в заточенье. «...»

Их начали пытать. У пытки присутствовали кн. Иван Воротынский, кн. Яков Одоевский, Василий Вольтынский. В первых была приведена к огню Марья Данилова: обнажили ее до пояса, руки назад завязали и подняли на стряску и, сняв с дыбы, бросили на землю. Потом повели княгиню. Увидавши, что треух ее покрыт цветною тканью, крикнули ей: “зачем так делаешь; ты в опале царской, а носишь цветное?“ “Я пред царем не согрешила“, — отвечала княгиня. Покров с треуха содрали и бросили ей один испод (подкладку). Точно так же и ее обнажили до пояса, подняли на стряску с завязанными назад руками, и снявши с древа вергоша на землю тут же, подле Даниловой. Напоследок привели к огню и Морозову. Начал говорить ей кн. Воротынский многие словеса: “Что это ты делаешь, от славы в беславие пришла? Подумай, кто ты и от какого рода! Все это приключилось тебе от того, что принимала в дом Киприана и Феодора юродивых и прочих таковых; их учения держалась, потому и царя прогневала“.

Отвечала Морозова: “Не велико наше благородие телесное и слава человеческая суетна на земле; и все, о чем ты говорил, — все это тленно и мимоходяще. Послушай, что я скажу тебе: помысли о Христе, кто Он и чей Сын и что сотвори; если не знаешь, я расскажу тебе: Он Господь наш, Сын Божий, оставивший небеса для нашего спасения и живший во плоти на земле всегда в убожестве; после распят был от жидов; так и мы все от вас мучимы. Тому ты не удивляешься! То наше мученье есть уже ничто“.

Тогда власти повелели ее связать: “рукавами срачицы ее увиша по конец сосец и руки на опако завязав“, повесили на стряску. Она не умолкла и укоряла “лукавое их отступление“. За то держали ее на стряске долго и висла с полчаса и ремнем руки до жил протерли. После сняли ее и положили рядом с сестрами. На снегу спинами с выломанными назад руками лежали они часа три. И иные казни им творили: “плаху мерзлую на перси клали и устрашая к огню приносили, хотя жечь“. Данилову кроме того положили при ногах Морозовой и Урусовой, били в пять плетей немилостиво, в две перемены, первое по хребту, второе — по чреву. Думный дьяк промолвил при этом боярыням: “Если и вы не покаетесь, и вам то же будет“. Морозова, видя бесчеловечие и многие раны на Марии, и кровь текущую прослезилась и сказала дьяку: “Это ли христианство, чтобы так человека мучить!“ Наконец в десятом часу ночи развели их по своим местам.

Наутро “сотвори, царь сидение думати о них“, а на Болоте сруб поставили, потому что в Думе предлагали Морозову предать сожжению, да бояре не потянули; а Долгорукий малыми словами, да

многое у них пресек. Между тем боярыня готовилась уже к смерти, три дня не ела хлеба и воды не пила. А мати Меланья на Болоте у сруба была и пришед в тот же день к боярыне целовала язвы рук ее и говорила: “Уже и дом тебе готов, вельми добре и чинно устроен и соломою целыми снопами уставлен; уже отходишь ты к желаемому Христу, а нас сиротами оставляешь!” Морозова благослови-лась у ней. Мать с рыданиями ушла от нее и направилась к Урусовой. Там, у окна стоя, смотря на княгиню и обливаясь слезами, она причитала: “Гостьи вы у нас любезные! Нынче или завтра вы пойдете ко Владыце; но обаче идите сим путем, не сомневаясь. Когда предстанете престолу Вседержителя, не забудьте и о нас в скорбях наших“. Но мы видели, что сожжение, если оно и в действительности предполагалось, не должно было совершиться, потому что бояре не потянули.

Через три дня после пытки царь присылал будто бы к Морозовой стрелецкого голову с такими словами: “Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мучница! Прошу тебя я сам, послушай совета моего: хочю я тебя в прежнюю твою честь возвести; дай мне такое приличие ради людей, чтоб видели, что не даром тебя взял — не крестися тремя персты, но только руку показав, поднеси на три те перста. Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мученица! Послушай, я пришлю за тобою каптану свою царскую (возок) и с аргамаками своими, и придут многие бояре и понесут тебя на головах своих. Послушай, мати праведная! Я сам, царь, кланяюся главою моею, сделай это“.

Конечно такое посольство есть чистая выдумка, но оно-то и показывает, что со стороны государя и властей употреблены были на самом деле все мягкие и кроткие меры, чтобы убедить Морозову и вывести ее из заблуждения. Однако ж ничто не действовало и она постоянно отвергала все предложения покинуть свое безумие. Насчет каптаны и аргамаков она ответила: “Поистине эта честь мне не велика. Было все это и мимо прошло, еживала в каптанах и в каретах, на аргамаках и бахматах... Вот что для меня велико и поистине дивно: если сподоблюсь огнем сожжения в приготовленном вами срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала“...

Ее перевезли в Новодевич монастырь, подальше от города, чтобы отлучить ее от своих, и велели держать под крепким началом и влачить к церковным службам «...».

В Новодевичьем монастыре повторились те же сцены, что и в Алексеевском. И сюда приезжало любопытствовать под видом мольбы такое множество вельможных жен, что монастырь бывал заставлен рыдванами и каретами. А кто был надобен и любезен Морозовой из своих — и здесь нашел к ней напрямую свободную дорогу.

Вскоре однако ж, чтобы и здесь прекратить вельможные приезды, царь повелел перевести ее снова в Москву, в слободу Хамовники, к старосте на двор; а тот ей обрадовался радостью великою, потому что, вероятно, был такой же ревнитель древнего благочестия.

И наставница Меланья, и служительница Елена сюда ходили еще свободнее и ликовали сообщая, со многими слезами.

Нет никакого сомнения, что единомышленники Морозовой не переставали действовать за нее и во дворце. Для них очень важно было, если она, такая сановитая и известная особа, запечатлеет мученической публичной смертью каково, наприм., сожжение в срубе, свою преданность “старому православию”, древнему благочестию; не менее важно было и то, если она останется хотя бы и опальной, но все-таки знатною боярынею, которая так твердо стоит за это благочестие. Тогда в ее лице и ее связями они всегда находили бы себе необходимую поддержку. Возвратить Морозовой ее старое положение при дворце и в обществе с сохранением всего смысла ее новой роли было, как можно полагать, немалою заботою всех ревнителей упомянутого благочестия. Их ходатайства проникли наконец в терем царевен. Старшая сестра царя Алексея, царевна Ирина Михайловна, начала по праву старшей сестры *дятьчить* царю о Морозовой. “Зачем, братец, не в лепоту творишь, — говорила она, — и вдову эту бедную помыкаешь с места на место? Нехорошо, братец. Достоинно было попомнить службу Борисову и брата его Глеба (бояр Морозовых)”. Он же, зарыча гневом великим, ответил: “Добро, сестрица, добро. Коли ты дятьчишь об ней, тотчас готово у меня ей место”. Хорошо понимая, вероятно, в чем дело, он повелел перевести страданицу в Боровск в жестокое заточенье. Ее посадили там в острог, в земляную тюрьму. Но и здесь она встретила одну из своих, инокиню Иустину, за то же страдавшую. Вскоре потом в эту же тюрьму перевели и княжину Урусову и Марью Данилову, и бысть им всем совершенная радость, которая могла поддерживаться еще и тем, что и в этом жестоком заключении они все-таки постоянно сообщались со своими. Муж Даниловой, Акинф, помогал им тем, что стрелецких сотников, которые отправлялись из Москвы их караулить, он зазывал прежде в свой дом и ухлебливал (и угощением и дарами), чтобы не свирепы были; кроме того он посылавал в Боровск своего племянника Родиона, который в темнице бывал множицею. И другие многие там бывали, как наприм. Елена. И наставница Меланья не однажды посетила заключенных. Сюда явилось к ним и новое послание Аввакума, написанное даже по образу посланий апостольских. Изобразив прежде бывшее красное, но тленное житие боярыни, он останавливается с новыми восхвалениями на настоящем ее подвиге, превозносит их терпение на пытке. «...»

Между тем Родион со стрелецкими сотниками не переставал помогать узникам, доставляя случаи видеться со своими. Часто они тосковали по наставнице. Морозова, чувствуя скорый конец своему подвигу, писала к ней: “Умилосердися, посети в останошное (время)!” Просила ее взять с собою и большого брата, который составил и сказание о ее жизни. «...»

Так прошла зима. Но в Москве узнали послабление стрелецкого караула... На Фоминой неделе был внезапно прислан подьячий Павел. С великою свирепостью придя в темницу, он отобрал все у заключенных, всякие потребности: и брашно-снедно, самое скудное, лиш-

ние одежды, малые книжницы, самые иконы, писаны на малых досках — все отнял. Был большой розыск между стрельцами о том, кто носил в тюрьму потребное, кто допускал приходящих. Иные повинились, что и сами носили, и приходящих пускали. И были сотникам беды великие. О Петрове дне был прислан разыскивать дьяк Кузмищев, который Иустину сжег в срубе; а для боярынь устроил новую темницу, выкопавши ее в земле еще глубже первой; Марью же Данилову перевел в тюрьму, где злодеи сидят.

С этого времени прерваны были их сношения с единомышленниками, и заключение их в действительности стало лютым и жестоким.

Они сидели в глубокой темнице, во тьме несветимой; страдали от задухи земные; от спершегося земного пару делалась им тошнота; сорочек ни переменять, ни мыть было нельзя; в верхней худой одежде, которую нельзя было скинуть от холода, развелось множество насекомых, не давших им ни днем покоя, ни ночью сна. Не оставлено было им даже и четок или лествиц, взамен которых они навязали 50 узлов из тряпиц и по тем узлам, обе на переменах, совершали свои изустные молитвы. Давали им только пищу, “премудрости учительницу, сиречь зело малу и скудну”: когда сухариков пять-шесть дадут, тогда воды не дают пить; а когда пить дадут, тогда есть не спрашивай... Иногда яблоко одно или два подадут, иногда огурчиков малую часть; — но это делали уже из жалости стрельцы, да и то тихонько друг от друга.

Среди таких лишений княгиня через два с половиною месяца скончалась. От великого голода она совсем ослабела, не могла ни цепи носить, ни стула цепного двинуть; стоя, не в силах была молиться и молилась лежа или сидя. Пред смертью она просила сестру отпустить ее по закону христианскому. “Отпой мне отходную: что ты знаешь, ты говори, а что я припомню, то я сама проговорю”. И обе они служили отходную одна над другой; мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон; узница над узницею изроняла слезы, одна в цепи, возлежа и стоняше, другая в цепи предстоя и рыдаше.

В Москве думали, что со смертью сестры Морозова, быть может, оставит свое безумие и возвратится на путь истины. С этою мыслью послали к ней инока-старца, увещевать ее. «...»

Старец будто бы умилился и прослезился, назвал их дело блаженным и просил, чтобы она “потщилась началу конец повершить”. На место умершей сестры к ней перевели Марью Данилову. После того стала изнемогать и Федосья Прокопьевна. Пред концом призвала она одного из стрельцов и начала ему говорить: “Есть у тебя отец и мать? Живы они или умерли? Если живы, помолимся об них; если умерли, помянем их. Умилосердись, раб Христов! Очень изнемогла я от голода и хочу есть. Помилуй меня, дай мне калачика”. “Боюсь, госпожа”, — ответил воин. “Ну, хлебца”. “Не смею”. “Ну, мало сухариков”. “Не смею”. “Ну, принеси мне яблоко или огурчиков”. “Не смею”, — был ответ.

И сказала она: “Добро, чадо! Благословен Бог наш, изволивый тако! Если невозможно тебе это, то, прошу тебя, сотвори послед-

нюю любовь; убогое это тело мое покройте рогожкой и положите меня подле сестры, неразлучно“.

Напоследок, чувствуя уже приближение своей смерти, она упростила воина вымыть ей грязную сорочку, сказавши: “Вот, хочет Господь взять меня от этой жизни! Не подобает мне, чтобы это тело в нечистой одежде легло в недрах своей матери земли“. Скрыв под полою, воин снес сорочку на реку и там, моя водою это малое платно, лице же свое слезами омывал, помышляя о прежнем величестве боярыни и о теперешней ее нужде, как Христа ради терпит, а к нечестию приступить не хочет и для того умирает. А всем было известно, что если бы хотя мало с ними сообщилась, то больше прежнего была бы прославлена!

С первого на второе число ноября Морозова тихо скончалась в своей темнице. В ту самую ночь мать Меланья, находившаяся где-то в пустыне, видела Федосью Прокопьевну во сне, облеченную в схиму и в кукуль, зело чуден, и сама она была светла и радостна и в веселости в кукуле, обзирая всюду и руками водя по одеждам, удивляясь красоте своих риз. Непрестанно она лобызала образ Спасов, стоявший близ ее, и целовала кресты на схиме.

Покойницу по ее завещанию схоронили подле сестры, обвинив тело в рогожу. Через месяц скончалась и Марья Данилова. До сих еще пор памятно народу их дело.

П.М. Строев, посетивший Боровск в 1820 г., видел на городище у острога камень, к которому боровские жители имеют особенное почтение, даже кланяются ему до земли, рассказывая, что под ним погребены две княжны, сожженные татарами. «...»

Таков был подвиг боярыни, таков был желанный путь жизни не для одной Морозовой и не для одного этого века. Мы видели подле самой Морозовой целую группу женщин, идущих по тому же пути. Правда, что вследствие разных смутных обстоятельств, вызванных смутными же задачами самого века, все они сбились с прямой дороги, пошли криво, совершенно заблудились, но за то их личные идеалы, которым они несли себя на жертву, были удовлетворены вполне, их мужество доведено было до конца. В этом они нисколько не отстали от своих прабабок первого, еще языческого века, богатырские идеалы которых устремляли женскую личность в битву с врагами, где точно так же она мужественно погибала, вызывая удивление самих врагов. Таким образом, в течение веков мужество, богатырское самоотвержение не угасло в русской женщине; только византийская культура понятии направила эту нравственную силу на иной путь. Вообще должно заметить, что подвиг и судьба боярыни Морозовой не были созданием этой личности; они были, как самый раскол, созданием всего хода внутренней сокровенной истории народа, плодом умственной и нравственной его культуры, выражением крайнего стеснения и помрачения ума авторитетом пустой святости. Это был весьма последовательный и положительный, в высшей степени образный исход тех начал жизни, которые веками утверждались и укреплялись учениями Домостроев.

Совсем иным характером отличается подвиг Софьи-царевны. Но не должно думать, что ее подвиг пролагал какой-либо новый путь жизни, открывал новую силу развития. Напротив, он воплощал в себе те же византийские начала жизни, служил тем же византийским идеалам, только в другой сфере.

Время Софьи на самом деле было византийским временем в нашей истории. К концу XVII ст. Московский двор ...представил зрелище двора Византийского, а Москва уподобилась Константинополю в века его общественных и политических смут. Тогда и в Москве в богатых хоромах, и в бедных избах, на улицах и площадях, по всем стогнам града раздавались горячие толки и споры, суждения и рассуждения о том, как веровать, как спасти себя; толковали и спорили о правой вере, о старом благочестии и о новом нечестии; о том, как складывать персты, сколько раз говорить алилуйю, сколько просфор употреблять в служении, сколько концов должно иметь изображение креста, как писать имя "Иисус", каковы должны быть архиерейские клобуки и посохи, как должно звонить на колокольнях и т.д. Доходили и до превыспренных вопросов: начали даже св. Троицу четверить, отделяя особый престол, четвертый, для Спасителя. И точно так же, как в Византии, повсюду слышались ярые анафемы друг другу...

«...» Современник этой эпохи Симеон Полоцкий говорит между прочим: "Не тако ли у нас ныне деется: ныне разглагольствуют и отроки, беседуют в лесах дивии челоvence, препираются на торжищах скотопродатели, да не скажу в корчемницах пьяные. Напоследок и буия женишца (женщины) словопрение деют безумное, мужем своим и церкви пререкающе..."

В царском дворце копошились подземные, тайные козни, крамолы, интриги; поднимались мгновенно и мгновенно падали и погибали люди; неистовствовали стрельцы в самых внутренних комнатах дворца, совершая убийства у самого его крыльца; неистовствовали ревнители старого благочестия в самой Грановитой палате, ведя с патриархом торжественный публичный спор о вере в присутствии царицы и царевен... Словом сказать, в это время византийская идея торжествовала в Москве. «...»

К довершению изумительного подобию с Византией и в Москве в образе царя является постница-девица, и тут же с нею является целый ряд дел и событий с полнейшим отпечатком своих византийских первообразов.

Византийская культура понятий и здесь вырастила свой плод, царевну Софью, которая по идеалу византийских женщин смело рукою взялась делать царское дело.

У царя Алексея Михайловича осталось большое семейство: три сестры, потом два сына и шесть дочерей от первой супруги, сын и две дочери от второй, которая осталась вдовою. В сущности, вся эта семья распалась на два рода, по происхождению цариц. Старшее племя принадлежало роду Милославских, младшее — роду Нарышкиных. Старшее племя было сильнее и по своему составу, и по возрасту лиц, и по числу, и по характеру приближенных людей... Младшее племя было слабее, потому что по молодости положения

не успело еще пустить во дворце и государстве таких широких и глубоких корней, связей, на каких давно уже держался род Милославских. На стороне Милославских кроме того было право старшинства; наследниками престола являлись двое сыновей Милославской, старших по возрасту, Федор и Иван. Но и тот, и другой были слабы здоровьем, а Иван был слаб умом. Таким образом, право родового старшинства должно было уступить праву государственных интересов, и наследие престола по необходимости клонилось на сторону Нарышкиных, на сторону здорового и умного ребенка, царевича Петра, у которого к тому же была жива и мать — царица Наталья, по смыслу своего положения все-таки старшая во всей царской оставшейся семье, старшая своим царственным вдовством, не только в своем, но и в другом, чужом роде.

К несчастью это именно обстоятельство и послужило семенем нескончаемой вражды и ненависти между двумя родами. Для Милославских царица Наталья Кириловна была уже тем ненавистна, что она была им мачеха, а мачеха в родовом быту по естественной причине всегда становилась как бы поперек дороги для детей и родичей первой жены, всегда вносила остуду в любовь отца к старой семье по той причине, что являлась представителем и естественным покровителем своей новой семьи. Здесь к источнику одной нераздельной семейной любви сходились два друг другу чуждых рода, которые вечно боролись за свое право стоять ближе к этому источнику. Около царского престола таким образом собралось в это время достаточно обоюдной вражды и ненависти. Встал род на род и начались усобицы. По законному порядку царское наследство получил старший из сыновей Федор Милославских. Подземные, никем не видимые силы дворских интриг тотчас и обнаружили свое действие. Нарышкины подверглись гонению, от них отнят был самый сильный человек из приближенных, боярин Матвеев. Царицу с малолетним царевичем намеревались даже совсем выселить из Кремля, т.е. из государева дворца.

Само собой разумеется, что Федор упразднил бы значение и влияние и того, и другого рода, если бы царствовал долго, ибо в таком случае род его царицы, новый род, постепенно вытеснил бы прежних старых дворских родичей. Но он, как мы сказали, был слаб здоровьем и умер преждевременно, оставив 15-летнюю вдову, царицу Марфу Апраксиных.

Наследство по порядку старшинства должно было перейти к царевичу Ивану Милославских, слабому и здоровьём, и умом. Тогда уже не род Нарышкиных, в это время бессильный, а здравый разум боярства и дворянства определил быть на царстве царевичу Петру, а не Ивану, тем более, что и сам болезненный Иван с охотою отказался царствовать. «...»

Старшее племя гораздо сильнее чувствовало оскорбление, когда перевес падал на сторону младшего племени. На то оно и было старшим, чтобы владычествовать во дворе отца; а между тем владычество силою обстоятельств готово было ускользнуть из его рук. Требовалось употребить последние усилия, чтобы спасти царствующее положение своего рода.

Но какая же рука могла взяться за это дело? Мужской руки не было, царевич Иван был неспособен; а женской и главное девичьей руке, ибо налицо оставались только девичьи руки, было... не только не прилично, но и ни с чем не сообразно браться за такое мужественное, великое государственное дело. И однако же именно такой подвиг совершился. Девичья рука без девичьей застенчивости и без малейшего девичьего стыда взялась за дело и крепко его держала несколько лет.

При неспособном и постоянно больном брате умные сестры по необходимости должны были заступать его место, поддерживать его значение и влияние на дела. Если брат по природной неспособности вовсе не мог держать себя царем, то ведь он был не один: за ним стоял целый легион царедворцев, ласковцев, милостивцев его рода, которые теряли и приобретали с ним вместе, неразлучно и неразрывно. «...»

Терем сестер-царевен сам собою постепенно стал приобретать политическое значение в государстве, чего никогда не бывало и никогда не могло быть в обыкновенное время, о чем невозможно было и подумать, о чем никогда не могли думать и сами царевны. Но такова сила исторических обстоятельств. Они делают иной раз чудеса. Государственная смута выдвигает вперед, на первое место именно то, что так заботливо и попечительно, с такими авторитетными поучениями целые века пряталось назади, подальше от людских глаз. Государственная смута выдвигает вперед, на первое место, запытаный в глубине двора девичий терем, дает ему небывалый политический смысл, успевает водворить этот смысл в девичьем уме, в том именно уме, который никогда и ни в каком случае и не признавался за ум, которому внимать было стыдом и посрамлением для всякого мужчины «...». И терем сам чувствует, что такое положение ему по плечу, что достает у него силы удержать за собою положение. Словом сказать, девичий терем как бы в отместку за свое удаление от живой жизни перемудряет мудрость целых веков, выступает на сцену истории и мутит царством; производит в государевом дворе революцию, становится заводчиком неслыханного кроворазлития и в 1682 г., во время стрелецкой казни бояр, и в 1698 г., во время царской и боярской казни стрельцов.

В тереме дочерей царя Алексея было шесть девиц, уже взрослых, стало быть способных придавать своему терему разумное и почтительное значение. В год смерти их брата, царя Федора, когда терем явно выступил вперед, старшей царевне Евдокии было уже 32 года, младшей Феодосии 19 лет. Средний возраст принадлежал, по порядку старшинства, третьей царевне Софье; ей было около 25 лет. Второй по старшинству, Марфе, было 29 лет, четвертой, Екатерине 23 года, пятой, Марье, 22 года. Все такие лета, которые полны юношеской жизни, юношеской жажды. Естественно было встретить в эти лета и юношескую отвагу, готовность вырваться из клетки на свободу, если не полную готовность, то неудержимую мечту о том, что жизнь на воле была бы лучше монастырской жизни в тереме. Ведь жили же люди свободно, такие же православные, такие же девы, напр. в древнем Цареграде; такие же девы управля-

ли там государством. Сестры-царевны это знали. Они не могли этого не знать, потому что весь круг их познаний, их начитанности заключался именно только в знакомстве с византийской историей и литературой. «...» Немудрено, что подражая формам быта, подражали и византийским поступкам, тем более, что вся культура знания или образованности шла оттуда же, вся выработка мысли и даже воображения была построена по византийским началам. К этому приводила вся наша старая книжность, чтение и учение.

Византийская литература и история воспитывала умы, оправдывая или обличая поступки и подвиги своими примерами, направляя самую жизнь к своим идеалам. «...» Можно с большою основательностью думать, что... еще при жизни Федора по терему стала ходить византийская мысль о возможности при слабом и неспособном брате править государством способной сестре. Мысль очень смелая для русской жизни, но она твердо опиралась на авторитет той же истории, которая укрепила в этой русской жизни и самый идеал терема. При том знакомая история указывала превосходный образ для подражания, как нельзя лучше подошедший ко всем обстоятельствам дела, сохранявший в своих чертах все то, чего требовали и ум, и нрав, и все благочестие века. Таков именно был образ византийской царевны Пульхерии.

Пульхерия была дочь императора Аркадия и Евдокии, гонительницы Иоанна Златоуста. По смерти отца она осталась с малолетним братом Феодосием и тремя сестрами. В первое время государством управлял пестун царя-отрока, персиянин Антиох, который однако ж по неизвестным причинам вскоре был удален и правительницей явилась Пульхерия, девятнадцатилетняя девица, принявшая вместе с тем и титул Августы. Она управляла империей изящно, как свидетельствуют летописцы, и воспитывала брата в благочестии и во всяких добродетелях. Великая набожность и благочестие были наилучшими украшениями ее царственного сана.

Подражая идеалам иночества, она дала обет сохранить до конца дней свою девственность, чему последовали и ее сестры.

Царский дворец таким образом стал уподобляться монастырю. Царевна строила церкви, богадельни, больницы, монастыри, определяя им из царской казны пристойное и довольное содержание. Брат Феодосий, достигший уже возраста, был мало способен к царским делам и постоянно нуждался в опеке, а потому правление государством оставалось в руках Пульхерии почти во все время его долгого царствования. Она его женила на одной афинянке Евдокии. Наилучшая характеристика его царских дел заключается в следующем анекдоте. Он имел обычай подписывать свои указы, не читавши, от чего, конечно, людям много бед бывало. Сестра много раз вразумляла его, но напрасно. Чтобы нагляднее показать ему, к чему ведет эта царская лень и небрежность, она однажды подала ему для подписи указ, в котором царь отдавал сестре в рабство свою жену-царицу. Указ по обыкновению был подписан. Пульхерия взяла к себе Евдокию как рабу, "сребром купленную". Царь оскорбился и зело вознегодовал на такое насилие сестры. Но ему был

подан им подписанный указ. С тех пор Феодосий оставил свое безумие, говорит летописец.

Впоследствии интриги евнухов, а вместе с ними и самой царицы Евдокии, успели поссорить брата с правительницей, и она была изгнана из царских чертогов; но это продолжалось недолго. Она снова возвратилась во дворец и управляла царством до самой кончины брата. После Феодосия царство уже по праву долгого правительства принадлежало ей. Но в то время и в Византии еще не было обычая, чтобы женщина, а тем более девица, прямо заступала место и лице императора. Опасаясь нарушением этого обычая возбудить толки и неудовольствие в народе и желая...сохранить за собою царственное положение, Пульхерия избрала в императоры, т.е. избрала себе в мужа одного из бояр, начальника императорской гвардии, Маркиана, человека простого, но весьма достойного и благочестивого. Она предложила ему императорский сан и свою руку под клятвою "соблюсти девственную чистоту неосквернену". В то время ей было уже 54 года. Таким образом до конца дней она осталась девою непорочною.

Обстоятельства этой византийской истории во многом сходствовали, как упомянуто, с обстоятельствами, в которых находилась в описываемое время история московская, и идеал царевны Пульхерии должен был особенно привлекать умы московских царевен, точно так же посвящавших дни свои благочестивым подвигам и иноческому безбрачию. Было очень много родственного в положениях лиц, отдаленных друг от друга с лишком на двенадцать веков. «...»

Пример благочестивой Пульхерии был силен именно по особенной нравственной чистоте, по особенному благочестию, как представлялся ее образ летописцами. Этим самым наиболее и оправдывалось подражание ему.

Когда стало всем известно, что молодой царь долго не проживет, мысль воплотить на деле историю Пульхерии должна была получить решительное направление. Терем должен был показать всем, что он ...не только член фамилии, но и ревнитель государственного дела. Первый шаг однако ж был очень труден. Требовалась сильная и смелая девичья рука, которая могла бы отпереть эти замкнутые веками теремные замки, отворить эти заржавевшие теремные двери. Терем был силен своею ненавистью к мачехе и ко всему ее роду; он воспитался в дворской подземной борьбе, стало быть его герои за исключение разве одной только старшей сестры Евдокии, обладали достаточною энергиею и вовсе не походили на смиренных и кротких монастырок, что они и доказали впоследствии. Но смелые для потаенных подвигов, они робели всенародных очей, им страшно было выйти на площадь, страшно было откинуть свою постническую фату и смелыми глазами взглянуть прямо в лицо миру, мирским делам. Между тем в этом заключался весь смысл первого подвига.

Страшно было потому, что убеждение старого века почитало такой подвиг великим позором, великим соблазном и поношением не только для царского дома, но и для ...всего народа. Требовалось

большого и очень хитрого ума, чтобы не уронить самое дело и провести его до конца, нисколько не оскорбляя общественной совести. Терем выставил именно такой ум. Герой явился в лице средней царевны Софьи.

Терем начал обнаруживать свои стремления самым незаметным образом. Он выразил непомерное горе о болезни брата-царя и беспрестанно посылал спрашивать о состоянии его здоровья, присовокупляя к этому свои скорби о том, что не может видеть больного, помогать ему, служить у его постели; что в такое время разлука с любимым братом очень огорчает и печалит сестер и особенно Софью, сильнее других заявлявшую о своей привязанности к брату. В такое именно время и не было ни малейших оснований отказывать желанию сестры. Это было бы бесчеловечно. Таким образом двери терема растворяются, и Софья является у постели больного, ходит за ним, не отлучается от него ни на шаг, сама подает ему все лекарства. Такой шаг из терема, по крайней мере с виду, не только никого не мог смущать, но и возвышал добродетели царевны. Необыкновенного и необычного в этом случае было только то, что царевна по необходимости являлась пред ближними боярами и всеми ближними людьми, которые окружали больного.

Предсмертная болезнь Федора продолжалась недолго. 16 апреля 1682 г., в день светлого Воскресения, он еще совершал торжественный выход к заутрени в Успенский собор, а 27 числа к вечеру его уже не стало. Погребение по обычаю того времени совершилось на другой же день. По такому же обычаю, принятому в царском дворце, царский гроб всегда провозжали только вдовствующая царица и государь-наследник. «...»

На погребении царя Федора должен был присутствовать избранный в самый час его кончины десятилетний царь Петр Алексеевич... по случаю его малолетства его сопровождала вдовствующая царица-мать, Наталья Кириловна. Пятнадцатилетнюю вдову умершего царя, царицу Марфу Матвеевну Апраксиных, несли в санях стольники до Красного крыльца, а потом дворяне. Но рядом с избранным царем, также церемониально, по-царски, вышел на провожание и терем в лице царевны Софьи. Подвиг был очень смелый и дерзкий, даже наглый, ниспровергавший старые обычаи и позоривший благочестивый *чин* жизни царского дворца. Но для терема он был неизбежным, настоятельно необходимым последствием всего того, что постоянно и давно там готовилось. Царица Наталья Кириловна конечно не смогла вынести такой новины, прямо, в виду всего боярства и всего народа, издевавшейся над достоинством ее особы как и над достоинством малолетнего царя. Лицо дочери-царевны в этом случае заслонило своим царским выходом лицо матери-вдовы. Кроме того, этот подвиг Софьи обнаруживал в полной мере, как твердо и неуклонно она решалась вести борьбу с мачехою, идти к своей властолюбивой цели. Когда гроб поставили на уготованном месте среди храма, говорит современная записка, царь с матерью, поцеловав мощи, изволил идти к себе и у обедни и на отпеваньи не быть. До конца службы и церемонии оставались только царица Марфа и царевна Софья. Терем пришел в смятение от та-

кого поступка царицы Натальи и в лице старшего поколения, от теток Анны и Татьяны выслал ей поучение... Нарушая сам дедовские обычаи и старое приличие, терем зорко сторожил за их исполнением на противной стороне. Рассказывают, и это очень верно, что Софья, провожая брата, изъявляла свое горе страшным воплем и, идя с похорон, также вопила и причитала пред народом, что "извели покойного брата злые люди, остались мы теперь круглыми сиротами, нет у нас ни батюшки, ни матушки, и ни какого заступника; брата нашего Ивана на царство не выбрали. Умилосердитесь над нами, сиротами! Если в чем провинились мы пред вами, отпустите нас живых в чужие земли, к королям христианским"... Все это было в порядке тогдашних обычаев и вопить на похоронах с причитаньями было прямым долгом всех горевавших о покойнике. Это было надгробное слово покойнику, где обыкновенно выставлялись ярко все его добродетели и все горе оставшихся по нем родных. После похорон двери терема затворились, и он замолк. Но он умел иным образом разговаривать с народом и особенно со стрельцами, сила которых была так ему надобна. По городу пошли слухи, одни возмутительнее других. Между прочим тайком рассказывали, что будто бы брат царицы Натальи Иван Кирилович Нарышкин, только что возвращенный во дворец из опалы, надевал на себя царскую порфиру, диадему и корону, садился на трон, говорил, что ни к кому царский венец так не пристанет, как к нему, что в этом положении застала его царица Марфа и царевна Софья...

Подобными сплетнями терем очень долго мучил царство и вызвал наконец страшную, бесчеловечную грозу Петра, порешившего с ними в 1698 г. Мысль терема быстро росла, распространялась, наполняла умы стрельецких сходок, охватила почти все слободское население Москвы. С небольшим через две недели слово стало делом. 15 мая стрельцы во всем своем ополчении с копьями, бердышами, ружьями, пушками стали у царского дворца пред Красным крыльцом и потребовали на расправу ненавистных им, а главное ненавистных и опасных терему бояр и других сановников, особенно родства Нарышкиных. Вышел на крыльцо малолетний царь Петр с матерью царицею, вышел царевич, из-за которого и дело начиналось, будто он задушен Нарышкиными; вышел святейший патриарх. Но не здесь находилась точка тяготения стрельцов; не эти лица могли понятно говорить с ними; не к ним стрельцы и пришли хвалиться своею службою. Там, внутри царских хоромов, находилась другая, невидимая власть, призывавшая их на собственную защиту и действовавшая на них как бы электрическим током. Перед тою властью они пришли заявить свою службу и заявили ее чудовищным кроворазлитием. Имя той власти было — *царевна*. Как еще недавно велико было слово *царь*, так теперь в той же мере стало великим слово *царевна*. Оно теперь повелевало царством, спасало и губило людей «...».

Понятно, что в две или три недели поднять таким образом стрельцов было невозможно, и нет сомнения, что терем при помощи хороших пособников, каким наприм., был Ив. Мих. Милославский, сочинял эту плачевную трагедию в течение всего царства-

ния старшего брата. Воплотив мысль терема в дело, стрельцы на другой день пришли тоже с оружием уже не к Красному крыльцу, а к Постельному, находившемуся на внутреннем царском дворе, т.е. пришли поближе к терему являть ему свою службу. “И ы̀хходили к ним говорить государыни царевны, чтоб они, помня крестное целование, так к ним в дом их государев не приходили с невежеством“. Хорошо было невежество! Иван Нарышкин, которого требовали теперь стрельцы, не был сыскан в это время, и царевны упросили оставить дело до утра. На третий день, 17 мая, стрельцы по уговору явились снова на Постельное крыльцо беседовать с теремом: и к ним выходили говорить государыни царевны. Выдуманный царь Нарышкин был выдан, пытан, изрублен на части и череп его взоткнут на копье.

На четвертый день, 18 мая, стрельцы явились без оружия, потому что оружием все уже было сделано, и били челом великому государю, т.е. десятилетнему Петру, для формальности и (на самом деле) государыням царевнам, чтоб Кирилу Нарышкина, царского деда, постричь; 19 мая стрельцы выпросили заслуженные деньги 240 т. и награду по 10 руб. на человека, да пожитки побитых бояр; 20-го били челом, чтоб сослать в ссылки Лихачевых, Языковых и др., а главное, род всех Нарышкиных.

Так постепенно, шаг за шагом, терем очищал себе место и пролагал дорогу к царственной власти, истребляя или удаляя враждебных и потому опасных для него людей. Стрельцы служили действительно очень усердно и стоили награды.

23 мая они пришли на Красное крыльцо и через боярина князя Хованского объявили царевнам, чтоб в Московском государстве были два царя — царевич Иван, как брат старший, да будет первый; царь Петр, брат младший, да будет меньший, второй. А кто не захочет так учинить, то будет опять мятеж не малый. Царевны указали созвать Думу и сойтись в Грановитой палате помыслить об этом великом деле. Собралась немедленно Дума, говорили много, призвали патриарха с чиновным духовенством и выборных от дворян и слобод, и опять “о том бысть многое глаголение“. «...»

24 мая царевна Софья выборных стрельцов призвала и службу их похвалила, впредь де за их службу милость будет. Однако ж новонареченный царь Иван вовсе не думал царствовать первым, главным. «...» Требовалось укрепить его мысли, убедить его в необходимости царствовать совместно с братом, что лучше всего было совершить посредством тех же стрельцов с указанием на волю самого Провиденья. «...»

Как скоро утвердилось первенство старшего брата, то вместе с тем утвердилось и первенство царевен, единоутробных сестер его, над их мачехою Натальею Кириловною.

26 мая первенство Ивана утвердилось официальным путем, сборне. После того очень естественно было за малолетством братьев правление вручить царевне Софье как наиболее способной представительнице первенства старшего царя. Так решено было общим голосом Двора и по челобитью всего народного множества.

Царевна по русскому обычаю и приличию много отказывалась, а потом согласилась и “ради государственного правления” указала боярам, окольным и думным людям видеть всегда свои государственные пресветлые очи и о всяких государственных делах докладывать себе и за теми делами изволила она, государыня, сидеть с боярами в палате. И (29 мая) для совершенного в правлении утверждения и во всяких делах постоянной крепости, в указах с именами братьев-царей повелела писать и свое имя. Когда все устроилось и утвердилось, Двор принес поздравление царевне, конечно, вместе и царю Ивану.

Терем восторжествовал... Девица вместо монастыря попала на трон, вместо схимы облеклась в порфиру. Царь-девица становится государственным официальным лицом, как царь является на публичных церемониальных выходах. «...» 11 июня 1682 г. царям следовало торжественно проводить образ Знамени Богородицы, посылаемый в полки в Казани. Цари вышли, и рядом с ними вышла и царевна Софья. Без всякого сомнения малолетних царей понудили выйти именно для того, чтобы возможно было выйти и царевне, показать себя царским чином всенародному множеству. 16 июня, вероятно, по случая наступавшей коронации, оба царя, *царевны*, царица Наталья Кириловна ходили все пешком на богомолье в Новодевичий монастырь, что также было не совсем обыкновенно. Никогда не бывало, чтобы царевны, т.е. терем, шествовал *торжественно* пешком по московским улицам. А в этом случае терем-то и был главным лицом выхода; ибо цари как малолетние служили здесь, как и во многих других случаях, только как бы царственной хоругвию в торжественном выходе. Царица же сопровождала сына, от которого в подобных обстоятельствах она никогда не отлучалась.

Но еще необычайнее поступил терем, когда он вышел в Грановитую палату спорить с раскольниками о вере. Это было вскоре после упомянутого пешего богомолia, именно 5 июля. Событие в полной мере византийское, как мы упомянули.

В Грановитой палате терем сел председателем собора, он сел на трон. «...»

Можно однако ж догадываться, что необычайные поступки терема производили не совсем хорошее впечатление в народе. На том же самом соборе, когда оскорбленная царевна Софья, сказавши в угрозу: “пойдем из царства все вон”, встала с царского престола и с иконою в руках отошла с сажень прочь, а Палата выразила готовность умереть, головы свои положить за царствующий дом, то иные стрельцы тут же возгласили: “Пора государыня давно вам в монастырь! Полно царством-те мутить! Нам бы здоровы были цари-государи, а без вас пусто не будет“. И бысть ей зазорно вельми и с великим стыдением седе на царское место, — говорит Савва. После таких отзывов зазорное поведение терема, конечно, должно было вскоре присмиреть. На это указывает по крайней мере то обстоятельство, что по “умирении мира“, по окончании стрелецких смут почти целые три года терем уже не выходил на улицу, нигде не являлся пред глазами всенародного множества. Его руководитель

царевна Софья снова начала свои публичные выходы, кажется не раньше 1685 г. В этом году января 15—21 она ездила с царем Иваном к освящению главной церкви в Воскресенском монастыре (Новый Иерусалим), на Истре, а 5 июля явилась с царями в Успенский собор к молебну, праздновать годовщину победы над раскольниками. Затем ее выходы год от года учащаются и в последний 1689 г. становятся обыкновенными*.

С 1685 г. она постепенно все больше и больше входит в обрядную роль царя, т.е. принимает публичные знаки подобающих царю почестей, даже явно требует таких почестей; старается при всяком торжественном случае занять первенствующее царское место; всегда выходит на церковные праздничные службы или вместе с братом, царем Иваном, или же с обоими царями, если выходит и другой брат, Петр; иногда шествует в одной карете с царем Иваном. Но нередко она и одна, как царь, совершает церемониальный открытый выход в собор к церковной службе, соблюдая в точности все обрядные действия: принимает от патриарха благословение, знаменуется (молится) у местных икон и становится на царицыном месте, но с открытыми запонами или занавесами, что и придает этому женскому месту значение уже места царского. Даже и в то время, когда в собор идут царь Иван с царицею и царевны она, чтобы выделиться от семьи, идет особо и входит в церковь особыми и при том главными дверьми, западными, тогда как те входят обыкновенно южными, а царевны даже северными. На панихидах патриарх творит и ей поклон, наравне с царем. На праздничных служениях патриарх и архиереи кадят ее. Однажды она даже и гневалась за то, что ее обошли с кадилом.

Царевна являлась торжественно, по-царски, и в крестных ходах, особенно в монастыри Новодевичий и в Донской; присутствовала по-царски на освящении новых церквей; совершала торжественные отпуски войска в походы и встречи из походов, сопровождая при этом полковые иконы. В дни царских именин она вместе с царем Иваном жаловала боярство и служилое дворянство, дьяков и гостей водкою, в передней палате.

Само собою разумеется, что во дворце терем царевен пользовался еще большею свободою. Здесь в это время он был полновластным хозяином всего дома, свободно отворял все двери, даже свободно отпирал сундуки с царскою казною и брал казны; сколько было надобно. «...»

В 1685 г. царевны выстроили себе трехэтажные каменные палаты и великолепно их украсили живописью «...». В этих палатах в числе разных живописных изображений находились также и *персоны* благоверных царевен, которые сначала изобразили было себя в *порфирах*, но потом, вероятно, одумались... и велели написать вместо порфир *шубки* с кружевы обнизными и с каменья.

Очень понятно, что когда терем стал владыкой царского дома, около него должна была собраться толпа искателей его милости и

* В этом году царевна посылала уже ко вселенским патриархам просить, чтобы могла она носить царскую корону, т.е. короноваться, возложить на себя царский сан.

устроителей своего благополучия. Царевен, как подобало, окружила лесть тогдашней учености и книжности в лице придворного учителя Симеона Полоцкого и достойного его ученика Сильвестра Медведева с их друзьямию. «...»

Должно заметить, что терем еще при жизни брата царя Федора вошел уже в непосредственные сношения с учеными и книжными людьми, а именно с Симеоном Полоцким, который и без того был очень близок царскому семейству. «...»

Ученик Полоцкого Медведев «...» между прочим в 1685 г. ... написал *вручение* премудрой царевне привилегии на академию, длинное послание о высоком значении науки, о необходимости водворить ее на Руси; о том, что сама мудрость — Софья-царевна только и была способна совершить это великое делою. «...»

В 1687 г. Шакловитый передал Виниусу... нарисованный *лист*, на котором царевна была изображена во всем царском чину: с царским венцом на голове, со скипетром и державою в руках, в порфире. Портрет помещен в овальной раме, вокруг которой размещены символические изображения “Даров Духа Святого”. Полный царский титул для царя-царевны и подписи к Дарам были написаны на латинском языке. Из строк титула и составила самая рамка, где титул начинался словами: *Sophia Alexiovna dei Gratia Avgustissima...* Внизу под рамкой портрета на латинском же языке написаны похвальные вирши. Шакловитый приказал Виниусу по повелению от царевны отослать лист за границу, дабы он был награвирован для того, “чтоб ей, великой государыне, слава и за морем была, в иных государствах”. «...» Такой же лист с изображением портрета... с писанием на русском языке Шакловитый печатал в Москве на своем загородном дворе под Девичьим монастырем для славы царя-царевны в Московском государстве...

Должно думать, что и другие сестры-царевны принимали живое участие в сношениях и беседах с тогдашними учеными пиитами.

Мы уже заметили, что церковная начитанность была насущною потребностью того времени и особенно для терема, ставшего во главе тогдашних общественных движений, получившего в свои руки царскую власть и тем самым сосредоточившего около себя все то, что по своему образованию стояло тогда впереди. Общество книжных людей, сблизившееся с теремом, должно было по необходимости внести в него свое влияние, поднять уровень его начитанности и образованности. Нельзя при том отрицать, что в настоящем случае через тех же ученых, невидимым ни для кого путем действовало отчасти католическое иезуитское направление, которое в этом тереме вероятно и надеялось свить себе прочное и покойное гнездо. Для него особенно и было необходимо, чтобы терем в действительности шел впереди общества по своему образованию, получавшему под влиянием католичества особый склад, каким на самом деле и отличалось образование царевен, одобрявших такие книги, каков напр. был катихизис Полоцкого: “Венец Веры“, заподозренный, как мы упомянули, в неправославии. Католическое направление мнений принималось царевнами, конечно, вполне бессознательно, но охотно, по той причине, что давало бóльший и все-таки благоче-

тивный простор для их действий, по крайней мере оно освобождало их от излишне суровых и строгих запрещений старого Домостроя.

Однако ж домашняя свобода терема не простиралась дальше тех шагов, которые указывал тот же Домострой и которые вполне одобряли особенно католические идеи. Друзьями терема являются попы... дьяконы... певчие, так же разные старцы и старицы, богомолницы, нищие и т.п. Это было самое приличное и обыкновенное общество всякого терема в допетровском быту. В царском тереме оно приобрело даже и политическое значение, ибо посредством этого общества терем владел народными умами, направлял эти умы к своим целям, очень долго мучил всем царством. Терем в известные дни, на память родителей, давал по обычаю особые пиры этому обществу, известные в официальных записках того времени под именем *кормки нищих*. Посредством этой кормки и разных других обрядных действий комнатной жизни заводились надобные терему связи с *миром*, со светом... Здесь-то и гнездились все интриги, государственные и домашние, в которых терем показал себя великим искусником. Через нищих и стариц он вел переписку со стрельцами, распускал по городу сплетни, мучил государством, что вполне было доказано стрелецким розыском 1698 г. Вообще терем умел дело делать и концы хоронить «...».

Известно, что после стрелецкого розыска царевны Софья и Марфа были пострижены в монахини, одна в московском Новодевичьем монастыре, где и прежде содержалась, другая в Успенском девичьем, в Александровской слободе. Пред кельями Софьи по повелению царя было повешено 195 человек стрельцов. У самых окон висели трое с челобитными в руках. Князю Ромодановскому царь дал собственноручное наставление, кого пропускать к Софье: “Сестрам, кроме Светлой недели и праздника Богородицы, который в июле живет (храмовый праздник монастыря), не ездить в монастырь в иные дни, кроме болезни (Софьиной). Со здоровьем (спрашивать о здоровье) посылать Степана Нарбекова или сына его, или Матюшкиных; а иных, и баб и девок, не посылать; а о приезде брать письмо у князя Федора Юрьевича (Ромодановского). А в праздники быв, не оставаться; а если останется, до другого праздника не выезжать и не пускать. А *певчих в монастырь не пускать*: поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют: спаси от бед, а в паперти деньги на убийство дают”.

В феврале 1700 г., приводя в новый порядок расходы дворца, Петр коснулся и кормки нищих. «...» На подлинной ведомости об этой статье дворцового расхода Петр собственноручно написал: “си деньги раздать нищим по улицам, а в Верх их (нищих) не брать...” «...»

Этим указом окончательно и навсегда нищие отдалялись от дворцовых комнат; старому домострою таким образом наносился самый чувствительный удар, ибо старый домострой всю добродетель свою полагал именно в таких формах благочестия.

Терем царствовал, конечно, по той только причине, что налицо не было царя: один был неспособный, другой мал возрастом. Как

только вырос и укрепился малолетний царь, тогда и окончилась воля царь-девицы. Первая решительная встреча двух соперников, как и следовало ожидать, произошла на церковном торжестве, ибо на этих торжествах царский сан и государева особа обозначались для всенародных очей несравненно виднее; а след. и несравненно виднее обнаруживалось зазорное совместничество двух царственных особ. Софья очень хорошо понимала значение этих царских выходов и не пропускала случая показаться народу в царственном величии. Выходы ее становились год от году чаще. Обыкновенно она выходила вместе с братом Иваном и по всему вероятно даже и вынуждала его, постоянно больного, сопутствовать ей в этих торжественных шествиях. В иное время, особенно в последний год, она и одна являлась на этих выходах. Царь Петр появлялся на церковные торжества изредка, в самых важных случаях. Он не тем был занят, да, вероятно, по возможности избегал и зазорного для себя совместничества с ненавистницею-сестрою... Но скрытая...борьба обнаруживалась даже и в этих богомольных действиях двух соперников: царевна время от времени приказывала петь в соборе канон: "Многими содржим напастыми", словами которого желала выразить свое положение и отношение к петровской партии. Петр в последние года, 1688 и 1689, один являлся в собор к "умовению ног", тоже, по всему вероятно, давая чувствовать своим присутствием при этом церковном действе, как он понимает свои к ней отношения. «...»

8 июля, в понедельник, следовало праздновать явлению Казанской иконы Пресв. Богородицы с крестным ходом в Казанский собор в память избавления Москвы от ляхов в 1612 г. «...». Царь Петр приехал к празднику из села Коломенского. Надо заметить, что в этом ходу царевна еще ни разу не участвовала в прежнее время. Когда оба царя пошли с Верху, из дворца, за образами, то и царевна в то же время церемониально пошла из терема с *откровенною* главою (в чем и заключался для нее зазор), неся образ "*о Тебе радуется*", который, вероятно, по особому обещанию, был поновлен к этому дню и украшен новым окладом. Нельзя было не выразить царевне своего обрадования, потому что в это время с торжеством победителя приближался к Москве из Крымского похода кн. В.В. Голицин. «...»

Между тем развязка потаенной борьбы с братом близилась к концу. Софья вела уже решительные переговоры со стрельцами. «...»

Открыв... все ее замыслы, Петр написал письмо к старшему брату Ивану: "Сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим начала владеть своею волею «...». А теперь, государь братец, настoit время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим «...». Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, *тому зазорному лицу* государством владеть мимо нас!"

Этими словами Петра о зазорном лице древний русский век высказывал свой приговор женской личности вообще и подвигу царевны в особенности. Помимо всех преступных замыслов этот подвиг

был сам по себе зазорен и несовместим ни с каким положительным идеалом века. Срамно было мужским особам в общественном деле стоять рядом с личностью девицы, а еще более находиться в ее обладании, в ее воле. Не преступным только являлось ее лицо, но и зазорным, на что особенно и указывает оскорбленный Петр. “Пора, государыня, давно вам в монастырь!” — мыслил древний век, в лице ее же пособников стрельцов, определяя тем истинное назначение для девичьей личности, если она лишалась почему-либо возможности пристроить свою судьбу к личности мужской, как было именно в царском быту.

«...» Образ жизни, хотя бы самый скромный, но только самостоятельный, был уже отрицанием постнического идеала и являлся непростительным нигилизмом. В существенном смысле зазорным нигилизмом являлось не худое поведение, а всякий признак назависимого самостоятельного отношения к обществу, что осуждалось еще больше и сильнее, чем худое поведение. Худое поведение судил Бог, всегда милосердно отпускающий грехи. Самостоятельное поведение судило общество, никогда не прощающее явного отступничества от его идеалов. Поэтому житейские грехи можно было всегда прикрыть постнической мантией, лишь бы не видело их общество. Но грех личной независимости и самостоятельности прикрыть было невозможно; никакой мантии для этого не существовало. В этом случае была неизбежна и совершенно необходима прямая, открытая и притом богатырская, т.е. петровская, борьба с тем же обществом; борьба, не допускавшая никаких сделок, никаких колебаний, уступок, никаких мирных переговоров. Быть может у Софьи-царевны достало бы ума и смелости выйти на этот путь, но у ней недоставало главного: живой веры, что этот путь столько же свят, живой веры в ту истину, что общество спасается не постническим идеалом, а идеалом полной, всесторонней свободы. Она же не искала настоящей свободы, а искала лишь приличной формы, приличной по мнению века одежды для своего девического своеволия: потому она вовсе не была способна с решимостью отступить от заветного постнического идеала и стремилась устроить не общественную, но лишь свою личную свободу по его же византийским образцам. Она способна была явить русскому миру только фарисейский вид того же постничества. А это были старые мехи, которые уже не годились для нового вина, т.е. для новых начал развития, каких неуклонно требовало русское общество, вся русская жизнь во всем составе и которые способен был насадить и водворить только Петр, стремившийся на прямой путь свободы гражданской и человеческой.

Весьма понятно, чем должны были казаться Петру все эти богомольные постнические подвиги царевны и ее сестер, весь этот старый домострой жизни, прикрывавший своими досточтимыми формами самые растленные начала... Очень понятно, почему постнический идеал стал для него с этого времени особенно ненавистен, почему он относился к нему с самым полнейшим отрицанием и почему в последующее время употреблял всякие средства, чтобы окончательно его уронить и осмеять в общественном мнении... пре-

следуя ревностных поборников сказанного идеала, всяких его выразителей и изобразителей «...».

Недобрую славу оставил по себе терем Софьи и в народе. Правду или неправду староверы втихомолку говаривали: “Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее... и бояре ходили к ним, и робят те царевны носили и душили, и иных на дому кормили...” (История России Соловьева, XVII, 227).

ГЛАВА

3

ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛОЖЕНИИ ЦАРИЦЫ

Мы видели, что русский допетровский век не признавал женскую личность самостоятельным членом общества. В обществе у ней не было своего самостоятельного места. Самостоятельное место она имела только в семье. Но и здесь смысл ее самостоятельности колебался между отцом семьи, ее мужем, и ее же детьми, так что пред лицом отца семьи, своего мужа, она была столько же зависимою, малолетнею в своих правах, как и все его дети. Затем, вне семьи, женская личность совсем уже теряла свои самостоятельные права и приравнивалась к общественным сиротам, т.е. к людям, которые никакими самостоятельными правами в обществе не пользовались. Руку помощи ей подавала уже церковь, принимавшая под свою защиту всех сирых и убогих. Церковь же, по необходимости, указывала женской личности лишь один путь нравственно-самостоятельной жизни — монастырь. Это был в действительности единственный путь не только для спасения, но и для самостоятельного, сколько-нибудь независимого положения в общественной жизни. Оттого иноческий идеал становился для женской личности исключительным и самым высшим идеалом существования, ибо в нем одном только она и находит удовлетворение своим нравственным самостоятельным стремлениям. Между семьею и монастырем нет ей в обществе места; помимо семьи и помимо монастыря нет ей в обществе дела, нет подвига, которые могли бы придавать ее жизни, хотя бы в такой же мере, самостоятельный, независимый смысл. Как скоро она останавливалась между этими двумя сферами предназначенной ей деятельности, стремясь найти для себя какую-либо иную точку опоры в общественной жизни, она тотчас приобретала смысл лица здорового. Общество в таких случаях всегда приходило в великое смущение: всякое общественно-самостоятельное положение женской личности оно почитало невыразимым срамом не столько даже для личности женщины, сколько именно для самого себя. Однажды (в 1418 г.) случилось в Новгороде, — о котором составлено понятие, что там женщина пользовалась большею свободой, чем где-либо в старой Руси: народ поднялся на боярина Данила Ивано-

вича Божи́на и... стал бить его чуть не до смерти. "Было же и это дивно, — прибавляет тамошний летописец, — или на укорение богатым, обидящим убогие, или казнь дьявола: жена некая, отвергнув женскую немощь, взявши мужскую крепость, выскочив посреди сонмища, даст ему (боярину) раны, укоряючи его, как неистова глаголющи: яко обидима есми им". «...» Мы приводим этот мелкий случай как черту общего склада понятий о женской личности, по которому всякий ее общественно-свободный шаг почитался делом в высшей степени зазорным. Какое поношение для мужчины могло равняться с побоями от женщины? Это была на самом деле казнь дьявола, выставленная летописцем как событие поразительное. «...»

Положение женской личности со значением царицы... в силу особенных, исключительных условий жизни... становилось для нее еще стеснительнее. Если в общем быту народа личность женщины является жертвою семейного начала, то женщина-царица является жертвою уже не одного семейного начала, но сверх того и жертвою государственных идей, которые, хотя и возносят ее лицо на высоту недосыгаемую, но в то же время ограничивают смысл ее доли исключительно значением родительницы, значением почвы, в которой не должен иссякнуть корень государственного рода. Государственные идеи вследствие такого значения царицынской личности ограждают ее такими заботами о сохранении почвы рода, что в них эта личность совсем уже исчезает для общества, как равно и для собственной своей самостоятельности. Чтобы указать причины, которые способствовали поставить в такое положение весь быт цариц, необходимо припомнить историю московского самодержавия, внутреннюю, домашнюю историю московского государя и его двора.

Мы уже говорили, что в древнерусском обществе... идеал достойной личности был в то же время идеалом личности самовластной... Естественно также, что в понятии о самовластии лежало неразделимо и понятие о единовластии, ибо самовластие, по существу своей идеи, не могло терпеть подле себя соперника, или совместника своей жизни; оно совсем исключало, совсем отвергало всякую сколько-нибудь равную себе силу. В этом именно смысле именуется самовластцем земли и Ярослав Великий, когда он остался под конец ее единовластителем; в том же смысле говорится и об Андрее Боголюбском, что он хотел быть самовластцем, т.е. ни от кого и ни от чего не зависимым господином своего княжества.

Весьма естественно, что когда князья по идеалу Ярослава и Андрея сделались самостоятельными в своих княжеских вотчинах, они иначе и не могли понять свою самостоятельность, как только в форме самовластия, которое вдобавок еще сильнее укреплялось сознанием, что лицо князя есть лицо господина земли вообще, что князь не напрасно носит меч, а на казнь злым и в защиту добрым. Известно, что на этот путь княжеского самовластия наша история явно стала выходить еще со второй половины XII века. Известно также, что шаги ее в этом направлении были ускорены татарским разгромом. С этого времени совсем угасает идея родовой власти, т.е. идея о живом единстве, о живой связи княжеского рода, а ста-

ло быть о взаимной круговой зависимости князей друг от друга... они все более и более становятся чужими друг другу; с тем вместе гаснет и сознание о живом единстве Русской земли «...». Главную руководящую силою жизни в княжеском быту становится господство, т.е. отдельная вотчинная собственность. Она служит основой независимости, а стало быть и основой самовластия. Русская земля делится между множеством самовластцев. В этом заключается форма политического ее быта и существо ее исторической жизни и деятельности. «...»

Русская земля была отдана на растерзание княжескому произволу, который как зверь ждал всюду добычи, подстерегал ее, хватал ее при первой возможности, надеясь лишь на одну силу, хитрость и всякое коварство, свойственное его хищной природе. “Рекоста бо брат брату: *се* мое, а *то* мое же; и начаша про малое, ее великое молвити, а сами на себя крамолу ковати... Тогда сеялись и вырастали усобицы, погибала жизнь; в княжих крамолах веки человекам сокращались. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто граяли враны, деляче себе трупы”... Само собою разумеется, что из такого положения дел ничего другого не могло выйти, как именно то, что в действительности и вышло. Кто-нибудь один, сильнейший и хитрейший, должен был одолеть всех. На таком пути поставлена была вся жизнь Земли. Другого выхода, другого разрешения задачи не виделось нигде и ни в чем. К тому же Земля слишком сильно чувствовала свое племенное и нравственное единство и вовсе не думала создавать из себя федерацию княжеских, а в сущности помещичьих вотчин. Рознь жизни была не по ее уму. В этом уме жило святое слово *Русь*, которое всегда и зывало к единству. Этот ум Земли должен был наконец подняться и воссоздать в новой форме то, что было начато давно уже, еще в первые века ее истории.

Собирателем разнесенной розно Земли или иначе сильнейшим и хитрейшим из самовластцев явился князь Московский. Являлись и другие: путь был открыт не для него одного. Но Московский осилил всех и осилил особенно по той причине, что личное вотчинное свое дело тотчас же осветил светлым лучом общей земской политической цели. Он высоко поднял знамя единства *всей Руси* и крепко держал его до конца своего подвига. Принимая на свои руки это дорогое наследство первых веков русской истории, Московский князь конечно должен был ответить за все, должен был расплатиться за все кровавые долги, нажитые в течение столетий темными кровавыми делами княжеского рода. Он один должен был принять на себя все грехи своего рода. Он должен был явиться типом того жизненного начала, той жизненной идеи, которая до того времени управляла всеми действиями и деяниями князей, т.е. полным, законченным типом княжеской самостоятельности... княжеского самовластия. Другого плода не могла принести почва княжеского господства над Землею. Рано ли, поздно ли, не тот, так другой, но один кто-нибудь неизменно явился бы именно таким плодом княжеских смут, котор и крамол, терзавших землю целые века «...».

Московское собрание Земли, выразившее в себе задачу всей прошлой истории, основную ее идею, было проведено соответственно характеру времени путем захвата, насилия, коварства, предательства; путем всех пороков, какие обыкновенно порождает борьба необузданного своеволия и самовластия «...». В московском дворце, таким образом, собралось столько элементов нравственного растления, что этот дворец надолго сделался поприщем для самых темных и нередко бесчеловечных дел и событий. То, что ходило прежде по всей Земле, собралось теперь в одно место. Мелкие и крупные самовластцы Земли собрались в один двор московского господаря. Междоусобие, ходившее по всей Земле, сосредоточилось теперь в одном городе и по необходимости приняло другой вид, взялось за другое оружие.

Собрание Земли к концу XV века привлекло в Москву много князей и княжеских бояр — дружинников, которые из независимых, самовластных вотчинников сделали, волею или неволею, слугами московского вотчинника, его холопами. Все они однако ж понимали московского князя как насильника, как одного из таких же вотчинников, который как сильнейший ради своего несытства, угнетением и притеснением отнимал и вотчины, а с ними и свободу у других, слабейших, в том только и виновных, что не в силах они были с ним бороться и некуда им было уйти от его могущественной и жестокой руки. Все они московское *государственное* дело понимали личным делом московского князя и почитали этого князя личным себе врагом, простым грабителем «...». В Москве, таким образом, вгнездилось столько олигархических начал, столько олигархических стремлений, что борьба с ними должна была продолжиться на целое столетие. Она же должна была вырастить свой страшный плод, этого неслыханного по кроворазлитию бойца в лице Ивана Грозного, который сам же в немногих словах, но вполне верно и точно определил истинный смысл своей личности и своей истории. Он писал Курбскому: “Похищением, или ратью, или кровью сел я на государство? Я народился на царстве Божьим изволением; я взрос на государстве... за себя я стал! Вы почали против меня больше стояти, да изменяти; и я потому жесточайше почал против вас стояти; я хотел вас покорить в свою волю...” Курбские и братия, конечно, не могли понять этих речей. Они готовили для Русской жизни польскую форму государственной власти. А русский земский смысл никак не мог понять польской формы, т.е. боярского владычества над землею и стало быть владычества боярской челяди (шляхты). “Здесь не Польша, есть и больше“, — говаривал русский земский смысл, давая тем знать, что у него есть точка опоры, есть третье лицо, способное, рано ли, поздно ли, защитить его, стать на его сторону, т.е. в сущности, стать на сторону законного суда и справедливости. Вот из-за чего и шла долгая, большею частью подземная борьба в московском дворце, которая была московским только продолжением старой истории киевской, суздальской, рязанской, тверской и т.д.

Бой на открытом поле был проигран. Бороться силою сильного, равную силою, было уже невозможно, немисливо. В Москве по не-

обходимости представилось другое поле, на котором возможно было искать победы силою слабого. На этом поле нередко совершались удивительные дела. Сила слабого нередко становилась не в пример страшнее открытой силы. Какая ж была эта сила? Это была сила вообще угнетенных, поработанных людей, потерявших возможность вести открытую борьбу; сила тайных заговоров и козней, сила предательства, доноса, клеветы, сила всякого коварства, всякого потаенного *лиха*, и особенно сила лихого зелья, т.е. порчи и отравы, которая, по суеверным представлениям века, являлась обыкновенно в образе волшебства и чародейства. Эта последняя сила сделалась страшилищем, пред которым трепетало все общество Москвы до последнего человека, сколько-нибудь значимого для ...искателей чужой гибели. От этой силы было мудрено укрыться даже в собственных хоробах, даже в самых сокровенных клетях этих хором. Она была ежеминутно направляема против всякого, забиравшего в свои руки какую-либо власть, а тем больше власть государственную, дворовую. И само собою разумеется, с особенною энергией вначале она была направляема против главного и непосредственного представителя самовластной идеи, против главного выразителя самовластных начал жизни и главного виновника самовластных дел, уничтожавшего всякую возможность прямого, открытого боя, всякое малейшее с ним совместничество. Тайная, скрытая, подземная вражда и ненависть к победившему самовластью, которое к тому же не переставало оскорблять, унижать и всячески изводить противную себе среду — эта-то вражда и поднимала всевозможные ковы на государя. Она зорко следила за каждым шагом самовластителя, за каждым мелочным происшествием его домашней жизни, за каждым событием в его семействе. Собирался ли государь жениться, она портила его невесту и отнимала у него любимую женщину; она портила его супругу, его детей. Разводился ли государь с женою по случаю неплодия и женился на другой, она распространяла слух, что оставленная неплодная царица разрешалась от бремени наследником. Умирал ли у государя сын, она распространяла слух, что он жив и удален от царства лишь кознями близких к государю людей. В еству и питье, в платье и во всякую обиходную вещь она клала или всегда была готова положить лихое зелье и коренье, и на смерть, и на потворство, или прилюбление, что равно было опасно. Конечно, по большей части такие обстоятельства являлись одними только сплетнями, которыми обыкновенно боролись между собою мелкие самовластцы из боярства, низвергая ими друг друга с высоты государских милостей; но бывали и настоящие дела. Нельзя было верить никому. Необходимо было беречься от людей всякими мерами. Известно, что при вел. кн. Иване Васильевиче во время его домашней смуты с сыном Василием о наследии престола даже его супруга, гречанка Софья, прибегала к ворожбе, и к ней приходили “бабы с зелием“, отчего и с нею, со своею женою, государь должен был жить в бережении.

Что действительно жизнь и здоровье московского государя часто находились в опасности от козней потаенных врагов, на это указывает весь склад дворовых его порядков, получивших свое начало

большую частью именно в то время, как сделался он самодержцем всея Руси. Эти-то дворовые порядки лучше всего и объясняют нам, что московский государь несмотря на свою великую власть и грозное свое могущество, грозное могущество даже одного своего слова, несмотря на эту непомерную силу сильного, чувствовал, что он не имел силы, чувствовал, что он находится в постоянной, самой крепкой, тесной и тяжелой осаде от силы слабого. Окончив с полным торжеством войны большими походами, войны открытые, явные для всей Земли, он принужден теперь внутри своего двора вести иные войны, без всяких шумных и громких походов, войны тихие, медленные, никому не слышные и незримые, но еще более ожесточенные.

Чтобы понять всю силу этого нравственного растрепания, которое охватило все собравшееся в Москве общество самовластцев и олигархов, необходимо войти в нравственный склад тогдашних убеждений; надо понять закон, который вообще в древнее время руководил всякою борьбою врагов. По тогдашним понятиям, защищать себя от врага значило самому первому нападать на него; так как и победить врага значило совсем истребить его. К тому же жизнь человеческая ценилась в то время очень дешево, несравненно дешевле всяких, даже эгоистических целей и стремлений; несравненно дешевле всякой, даже эгоистической необходимости. Как скоро цели и необходимости возвышались сколько-нибудь до общих интересов, то понятие о враге низводилось до понятия о простой ненадобной и вредной вещи, которую истреблять почиталось делом естественным и обычным. «...» Когда при царе Алексее Михайловиче сын Ордына-Нащокина бежал тайно за границу, то самый гуманный из древних наших царей посылал к несчастному отцу подьячего с таким наказом: “Афонасью говорить, чтоб он об отъезде сына своего не печалился и в той печали его утешать всячески и великого государя милостью обнадеживать... о сыне своем промышлял бы всячески, чтоб его, поймав, привести к нему; за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей; а если его таким образом промышлять нельзя, и если надобно, то сына его *известить бы там*, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не прежде, как выслушавши отцовские речи, и говорить, примерившись к ним. Сказать Афонасью: вспомни, что больше этой беды вперед уже не будет; больше этой беды на свете не бывает”. «...»

Самая страшная и наиболее опасная сила невидимых врагов, от которой государю действительно пришлось сесть в осаду, затвориться в своих хоромах, как в крепости, была, как мы упомянули, порча лихим зельем, отравы, а с нею нераздельно всякое волшебство и чародейство.

В тот суеверный век в самом деле трудно было отличить отраву от невинного ведовства и колдовства, зелье-корень вредное от безвредного, ибо и то, и другое являлось под одним покровом таинственных суеверных действий, в обстановке разных волшебных наговоров и заговоров, направленных на человека с различными целями, даже с целью привлечь к себе его любовь и милость; трудно

было разобрать, где являлось пустое только суеверие и где оно несло в действительности страшные средства отравы. Между тем ясные всем дела, явная гибель некоторых лиц, именно от лихого зелья и порчи, указывали на одну только эту страшную силу чародейства. Вот почему пустая волшба и настоящая отрава становились одинаково опасными, возбуждали одинаковый страх везде, где обнаруживались и малейшие признаки лишь одного пустого суеверия.

Чтобы оградить и защитить себя от этого *лиха*, государю было необходимо жить каждый час с великими предосторожностями, необходимо было из своего дворца устроить в действительности самую недоступную и неприступную крепость. С этой целью и появились те дворцовые порядки, обычаи и обряды, которые способствовали такому отдалению государевой особы от его подданных. В руках суеверов-друзей и суеверов-врагов питье, еда, платье, всякая последняя мелочь домашнего обихода становились орудием их потаенных козней. Необходимо было уберечь себя от этих козней и не только отдать весь домашний обиход в руки самых испытанных, верных и преданных людей, но необходимо также было ежечасно испытывать эту верность и преданность. Необходимо было, чтобы, напр., питье, как и ества, прежде чем дойдут в руки государя, постоянно испытывались всеми подающими в глазах принимающего. Ключник должен был испытывать, ставя на стол пред дворецким; дворецкий должен был испытывать, отдавая ее стольнику несть перед государя; кравчий, принимая блюдо от стольника, должен был покушать в глазах государя прежде, чем ставить к нему на стол. "А чашник, как поднесет пить государю, сам отольет в ковш и выпьет, потом поднесет к государю". То же самое происходило и со всеми лекарствами, в случае государевой болезни. Опальный боярин Матвеев писал к царю Федору Алексеевичу, выставляя свои дворцовые заслуги: "Какого лекарства после ваших государских приемов оставалось, и те лекарства при вас, великом государе, выпивал я, холоп твой... приняв у тебя, великого государя, рюмку, и что в ней останется, на ладонь вылью и выпью... Ваш государский чин обдержит, когда вы составы докторские изволите принимать, и при вас, вел. государях, только чин исправляют, накушивают малейшую долю; а что я, холоп твой, выпивал, и то угождая тебе, вел. государю, и чаял, паче, что усугублю милость твою государскую к себе". «...»

Если в первое время борьбы самовластных стремлений потребовались клятвенные крестоцеловальные записи в том, чтобы не отъехать, не убежать от государя, не изменить ему, то еще необходимое было требовать таких же клятвенных записей от лиц, служивших *во дворе* государя, служивших прямо и непосредственно его лицу. Вот почему мы думаем, что такие записи должны были появиться в то самое время, как только московский государь стал постепенно усаживаться в своем дворце как в крепости от злых потаенных козней. «...»

Впервые мы встречаем подробные обозначения лихих дел только в известной *подкрестной* записи Годунова. В ней лихие дела обоз-

начены следующим образом: “Так мне над государем своим, ц. и в. к. Борисом Федоровичем в. Р., и над царицею и в. к. Марьею, и над их детьми, над царевичем Федором и над царевною Оксиньею, в естве и питье, ни в платье, ни в ином ни в чем лиха никакого не учинити и не *испортити*, и зелья лихого и коренья не давати, и не велети мне никому зелья лихого и коренья давати; а кто мне учнет... давати, или мне учнет кто говорити, чтоб мне над государем... и над царицею, и над их детьми, какое лихо кто похочет учинити или кто похочет *портити*, и мне того человека никак не слушати и зелья лихого и коренья у того человека не имати; да и людей своих с *ведовством*, да и со всяким лихим зельем и с кореньем не посылати, и *ведунов* и *ведуней* не добывати... на государьское... на всякое лихо; также государя... и его царицу... и их детей, на *следу* всяким ведовским мечтанием не испортити, ни ведовством по *ветру* никакого лиха не насылати и следу не выимати, ни которыми делы, ни которою хитростью; а как государь... и его царица... и их дети куды поедут или куды пойдут, и мне следу волшебством не выимати и всяким злым умышлением и волшебством не умышляти и не делати ни которыми делы... а кто такое ведовское дело похочет мыслити или делати, и яз то сведаю, и мне про того человека сказати государю... а у кого уведаю или со стороны услышу... кто про такое злое *дело* учнет думати и умышляти... или кто похочет государя... царицу... и их детей кореньем и лихим зельем и волшебством испортити, и мне того поймати и привести к государю... а не возмогу того поймати, и мне про того сказати государю... или его бояром, или ближним людем, которому то *слово* донести до государя...” (История России, т. VIII, С. 12, 17, 19).

Соловьев перечисление в этой записи особенных видов зла приписывает мелкодушию и подозрительности Годунова, присовокупляя, что “если б Годунов, по своему нравственному характеру был в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной подозрительности, такую видим в присяжной записи и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами...” И далее: “Годунов... явился на престол боярином и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть собою...” «...» Нам кажется, что обвинение Годунова со стороны его записи в мелкодушии, в мелочной подозрительности не имеет надлежащего основания. В этом с такою же справедливостью мы должны обвинить поголовно всех царствовавших самодержавцев до Петра, который первый стал выше всякого мелкодушия и всякой мелочной подозрительности, господствовавшей в московском дворце, приводившей в ужас все сердца и все умы в течение двух столетий, в течение именно того времени, в которое самовластная идея жила еще, так сказать, в личном образе государя; не переходя еще во всенародный образ государства, как выразил эту идею Петр. Как скоро личное перешло в общее, то сделались совершенно ненужными, излишними и все

действительно мелочные заботы о сохранении лица. Но до этого времени самовластная идея в самовластной же олигархической среде иначе и не могла существовать, как охраняя себя самую зоркою и мелочною подозрительностью. «...»

«...» Есть свод записей, прежде существовавших, составленных по крайней мере еще при Грозном, хотя их начало можно отнести и к более раннему времени. Необходимо однако ж припомнить, что сам Годунов «...» имел неисчислимо больше врагов, чем каждый из его предшественников и преемников. Он имел сильных соперников в боярстве, в родственниках царя Федора, след. врагов личных. Было необходимо обуздать вражду “нравственными принудительными мерами”, т.е. крестным целованием. Из записи Годунова мы видим, что зло порчи и отравы было сильно в то время, а потому были необходимы и сильные нравственные меры против этого всенародного зла; единственною же нравственною мерою в этом случае была только присяга. Если б запись Годунова служила в самом деле выражением одной только личной мелочной подозрительности и личного мелкодушия, она не сохранила бы и следа в домашних порядках царского двора. Мы однако ж видим, что высказанные в ней требования и даже самые виды лихих дел сохраняют свой жизненный смысл и у преемников Годунова, из которых даже и самого царя Алексея Мих. можно обвинить в тех же годуновских винах, т.е. мелочной подозрительности и, стало быть, в мелкодушии. «...»

Предки наши, люди вообще умные и практические, очень хорошо понимали, что значительная доля ведовских действий безвредна. Они это знали по опыту; но «...» различить вредное лихо от безвредного, вздорного они не имели никакой возможности и по необходимости принуждены были... преследовать всякий малейший признак лихого действия. Вообще ведовство, волшба в то время вовсе не были мечтою, как обыкновенно мы теперь их понимаем. «...» Суеверная, мифическая сторона волхвования и чародейства была только оболочкою, под которою скрывалось большею частью настоящее лихо. От этого волхвование и возбуждало такой панический страх везде, где только оно вскрывалось. И мелкая, и великая душа равно приходили в ужас, равно трепетали от его потаенных действий и становились до крайности подозрительными, ибо дело касалось здоровья, самой жизни, и вовсе не представлялось мечтою, когда люди зазнамо изводились, умирали от зелья и коренья.

Вот почему лихое зелье и коренье и всякие лихие дела волшбы получают место даже в клятвенных целовальных записях на верность государю, а волхвы и бабы-ворожеи почитаются общественным злом наравне со скоморохами, татями и разбойниками. «...»

Известны крестоцеловальные записи царей Михаила (1626 г.) и Алексея (1653 г.), в которых, в общем изложении присяги сказано только: “государское здоровье во всем оберегати и никакого лиха не мыслити”, но зато в особых *приписях*, по которым отдельно присягал каждый чин, указаны и особые подробности, какими обозначалась должность этого чина.

Кравчий присягал: “ничем государя в естве и в питье не испортити, и зелья и коренья лихова ни в чем государю не дати, и со

стороны никому дати не велети, и лиха никакого над государем которыми дела и некоторою хитростью не делати; а буде я услышу от кого или сведаю какое дурно или какое злое умышление или порчу на государя и мне про то сказати государю...“ *Стольник*: “его, государя, ни чем в естве и в питье не испортити и зелья и коренья лихово ни в чем не дати“... *Казначей*: “над государем, царицею и их детьми никакова лиха не учинити, и зелья и коренья лихова в платье и в иных ни в каких в их государских чинех не положить“... *Постельничий*: “в их государском платье, и в постелях, и в изголовьях, и в подушках, и в одеялах, и в иных во всяких государских чинах никакова дурна не учинити, и зелья и коренья лихова ни в чем не положить“... *Ясельничий, стремянный конюх, конюшенный дьяк*: “зелья и коренья лихова в их государские седла, в узды, в войлоки, в рукавки, в плети... в возки, в сани, ни под место, ни в полсть в санную... и во всякий их государский в конюшенный и в конский наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца, коренья не взять и не положить — самому не положить и никому конюшенного чину и со стороны никому ж положить не велети, и некоторого зла и волшебства над государем... не учинити...“ «...»

Дворовые люди царицына чина, истопничий, дети боярские и пр. при царях Михаиле и Алексее давали следующую присягу: “лиха ни которого не хотети и не мыслити, и в естве, в питье, в овощах, в пряных зельях и в платье, в полотенцах, в постелях, в сорочках, в портах, лиха никакого не наговаривати и не испортити отнюдь ни в чем, некоторыми делы“... «...»

В таких же почти выражениях давали присягу кормилицы царских детей, а вероятно и все другие придворные женщины, причем всегда вставлялись и особые речи, соответствующие той или другой должности. «...»

Все эти клятвы служат для нас только слабым отражением того несказанного зла, которое гнездилось в московском дворце. Их короткие слова не в состоянии ввести в этот мир ежеминутного страха и трепета, в этот мир до крайности чутких и до крайности мелких подозрений, которые лежали тяжелым гнетом над всем населением дворца, вынуждали его обитателей зорко подсматривать друг за другом; развивали ябедничество, наушничество, донос; растлевали общество всеми пороками мелкого коварства и предательства. Пустое дело, пустое слово тотчас являлось государственным преступлением, возбуждало страшные розыски, немилосердые пытки и всегда оканчивалось если не полною гибелью, то полным разорением виновных, ссылкой и подобными житейскими несчастиями. Государева особа охранялась не народною любовью, а ужасом доноса, розыска, пытки, ужасом знаменитого слова и дела, которого настоящий смысл народился именно в дворцовых покоях и оттуда уже распространился на всю землю. Все это были неизбежные последствия той ожесточенной борьбы самовластных и олигархических стремлений, которая вращалась в московском дворце со времени соединения всей земли в одно самодержавие.

Когда вопрос о неограниченном самовластии или, что одно и то же, о неограниченной самостоятельности московского государя был решен окончательно; когда его личность совсем и уже навсегда выдвинулась из среды родовых и дружинных определений и облеклась небывалою до того времени самовластною и самодержавною волею, равно для всех *грозною*, не выключая и его родных братьев, дядей и других ближних родственников и свойственников; когда, таким образом, даже и самые права родства были упразднены во имя прав личности, т.е.... во имя только самовластной или самостоятельной идеи государства, представителем которой явилась одна только личность... великого государя, сознававшего теперь всю Русскую землю не совокупностью различных господарств, а единым, своим собственным господарством, своею неотъемлемою вотчиною; — когда все это совершилось, то все независимые прежде самовластцы, князья-родичи и думцы-дружинники по необходимости должны были выразуметь, что положение их в государевой вотчине есть положение домочадцев, слуг, а попросту положение холопов. Они перед государем и называют себя уже холопами. Даже пожилой дядя государев, Андрей Иванович Старицкий перед малолетним своим племянником, государем Иваном (Грозным) именуется холопом. Так переставились старые обычаи. В этом-то слове *холоп* заключался теперь весь смысл отношений боярских к особе государя и друг к другу. Старое начало более или менее независимых дружинных или родовых отношений стало постепенно перерабатываться в новое начало отношений холопских... Самовластные, олигархические стремления боярства нашли себе, по необходимости, другой путь. Отъезжать, поднимать междоусобную войну с государем... теперь было уже невозможно. Теперь... они должны были сосредоточиться... около той цели, чтобы войти в особую близость к государю, в особую его милость и его же милостью забрать его власть в свои руки. Особая милость господина всегда давала холопу и особое самостоятельное, т.е. самовластное значение. В стремлениях к такой цели необыкновенно важным делом для холопов-олигархов становилась государева женитьба, посредством которой можно было вступить с государем в родство и в свойство, след. приобрести его милость самым легким способом, без всяких особенных заслуг или талантов. Милость же государя в таких обстоятельствах ставила человека на первой место и в управлении государством.

Необходимо понимать, что наше государство произошло... прямо и непосредственно из "вотчины", почему и самое управление государством было построено на личном, чисто вотчинническом, прямом помещичьем начале. Оно не было делом общим... оно было делом собственника..., делом его дворовых людей, из которых всегда и составлялось так называемое правительство. Государством управляли не государственные, т.е. народные земские силы, а... силы государева двора, которые скрытно всегда первенствовали и в боярской думе. Разумеется, при вотчинном значении управления другого положения вещей и быть не могло. И государством, как и самим государем, в таком случае, всегда управлял какой-либо один род, одна партия особенно близких к государю, его домашних людей. А

такими людьми по весьма понятным причинам очень часто являлись его родственники по жене-царице. Вот почему государева женьтиба приобретала для всего двора, для всего правящего общества Москвы... самый жизненный смысл. «...»

В эпоху дружинных отношений вел. князь женился на князях своего же рода, на дочерях удельных князей, иногда на иноземках, также княжеского рода; а также и на дочерях знатных дружинников-бояр, и даже на дочерях новгородских посадников. Тогда браки руководились именно дружинными отношениями родов, отношениями равенства.

Но когда московский вел. князь стал...самодержавным государем всея Руси и все удельные князья вместе с дружинниками-боярами сделались его холопами, то представилось великое затруднение относительно его женьтибы и даже браков его сыновей и дочерей. Старое юридическое понятие, что "по рабе холоп" не позволяло уже брака с подданными, со своими слугами, холопами. Сверх того это противоречило всем помыслам московского государя, стремившегося выделить свою особу именно из среды, которая все еще полна была притязаниями своей равноправности с ним, т.е. из княжеской и боярской среды.

В первое время господарские стремления вел. князя были удовлетворены вполне: он женился вторым браком уже на греческой царевне (Софье). Этот брак придал особенно высокий, прямо царственный смысл особе государя и своим примером требовал и на будущее время соответственных ему по значению брачных связей, по крайней мере для государевых сыновей, наследников престола. Иван Васильевич успел женить (в 1482 г.) своего старшего сына на дочери молдавского воеводы и господаря, православного по вере, а дочь Елену в 1495 г. выдал за литовского короля и вел. князя Александра. Затем московский государь много хлопотал о том, чтобы поженить и других своих сыновей на иноземках из владетельных родов. С этой целью он вел переговоры с дочерью Еленою, которая, живя в Литве, имела способы узнать, где за границею есть невесты для ее братьев. «...» Великою помехою служило... различие веры, а главное то, что Европа еще очень мало была знакома с Московским государством, которое представлялось ей дикою пустынею, населенною чуть не кочевыми варварами...

Оставалось покориться необходимости и выбирать себе невесту из подданных. «...»

Не желая посредством брака с каким-либо из знатных родов возвышать его значение, искусственно создавать в нем... совместника своему самодержавному роду, государь принужден был вывести этот вопрос из сферы прежних дружинных княжеских, т.е. частных отношений, в сферу отношений общих, чисто государственных; он принужден был опереться на массу и установить выбор невесты общий, так сказать всенародный, без всякого лицепрития в пользу каких-либо преданий или личных отношений и связей, а руководясь только непосредственными прямыми достоинствами невесты как женщины доброй, "ростом, красотою и разумом исполненной", к какому бы малому роду она ни принадлежала.

Великий князь Иван Васильевич выбрал невесту для своего наследника, сына Василия, из тысячи пятисот девиц, вызванных на смотрины от помещиков или служилых людей всей Земли. «...»

Теперь уже только этот общий земский род мог соответствовать роду великого государя, соответствовать новому царственному значению... государя всея Руси.

Но если такой смысл могла иметь женитьба самого государя или его наследника и вообще государевых сыновей, то в отношении замужества дочерей дело получало совершенно обратный смысл. Государь, вступая в брак с невестою, избранною всенародно из всей служилой среды, не мог тем унижить своего царственного достоинства, напротив он возвышал свою личность, придавая ей общенародное значение, ибо кто же, кроме государя, имел право всенародно избирать себе невесту. Но, выдавая дочь за кого-либо из подданных, хотя бы и самых вельможных и знатных, он возвышал тем личность этого подданного до несоответственного ей государского достоинства и вместе с тем унижал собственный царственный род до значения своего слуги. Все это сильно противоречило здравому государственному смыслу... для государевых дочерей брачное состояние потом совсем закрылось: они были принесены в жертву государственной необходимости. «...»

Мы упомянули, что вел. кн. Василию Ивановичу невеста была избрана из 1500 девиц... “С общего совета... были собраны в одно место дочери бояр числом 1500, для того, чтобы князь выбрал из них супругу по желанию”. «...» Князь избрал в невесты Солломиду Сабурову, дочь незначительного дворянина Юрья Конста. Сабурова. «...» Установление всенародного избрания государевой невесты... явилось делом государственной необходимости и должно было... утвердиться какими-либо государственными примерами... За примерами ходить далеко не было нужды. Библейская история восточных царств, достаточно всем знакомая, а потом и Византийская история представляли таких примеров немало. «...»

Так иногда совершались выборы невест у царей византийских, так по необходимости и у московских государей, следовавших во многом своим первообразам по устройству государственных и царских домашних порядков...

Павел Иовий обозначает это избрание уже как бы общим установлением, давним обычаем. “Московские государи, говорит он, желая вступить в брак, повелевают избрать из всего царства девиц, отличающихся красотой и добродетелью, и представить их ко двору. Здесь поручают их освидетельствовать надежным сановникам и верным боярыням, так что самые сокровенные части тела не остаются без подробного рассмотрения. Наконец, после долгого и мучительного ожидания родителей, та, которая понравится царю, объявляется достойною брачного с ним соединения. Прочие же соперницы ее по красоте, стыдливости и скромности, нередко в тот же самый день по милости царя обручаются с боярами и военными сановниками. Таким образом московские государи, презирая знаменитые царские роды, подобно оттоманским султанам, возводят на

брачное ложе девиц большею частью низкого и незнатного происхождения, но отличающихся телесною красою“.

Франциска-да-Колло рассказывает следующее: “в. к. Василий, вздумав жениться (это было еще при его отце), обнародовал во всем государстве, чтобы для него выбрали самых прекраснейших девиц, знатных и незнатных, без всякого различия. Привезли их в Москву более пятисот, из них выбрали 300, из трехсот 200, после 100, наконец, только десять, осмотренных повивальными бабками; из сих десяти Василий избрал себе невесту и женился на ней (на Соломонии); однако ж не имел удовольствия быть отцом и потому не весьма уважал супругу... Противоречие сказаний Герберштейна и Франциска-да-Колло о 1500 и 500 девицах весьма согласимо с истиной, ибо цифра 1500 могла обозначать все число девиц-невест, которые были написаны в выбор соответственно тем качествам, какие требовались для государевой невесты.

С порядком предварительного выбора по разным местностям нас знакомят отчасти самые грамоты, которые в это время рассылались ко всем помещикам или служилым людям. Из них мы узнаем, что в областные и другие города посылали доверенных людей из окольничих или из дворян с дьяками, которые заодно с местною властью, с наместником или воеводою, должны были пересмотреть всех девиц назначенного округа. Между тем по всему округу, во все поместья пересылалась государева грамота с наказом везти дочерей в город для смотра. Помещики собирались с невестами и затем избранных везли уже в Москву. Для многих, вероятно, по бедности, этот местный съезд был делом не совсем легким, и потому иные не слишком торопились исполнить царский наказ. По случаю первой женитьбы царя Ивана Васильевича зимою 1546—1547 г. были разосланы... грамоты. «...» Через месяц после написания ... последней грамоты от 4 января 1547 г. царь уже повенчался с Анастасиею Романовой, избранной, стало быть, также из множества девиц.

Должно полагать, что лицам, которые пересматривали невест на месте, давался какой-либо наказ, словесный, а всего вернее писанный, с подробным обозначением тех добрых качеств, какие требовались для невесты государевой вообще и по желанию жениха в особенности. Без сомнения немаловажное место занимала здесь и мера возраста или роста, с которой ездили осматривать невест в Византии. Затем, после смотра все избранные первые красавицы области вносились в особую роспись с назначением приехать в известный срок в Москву, где им готовился новый смотр, еще более разборчивый, уже во дворце, при помощи самых близких людей государя. Наконец, избранные из избранных являлись на смотрины к самому жениху, который и указывал себе невесту, также после многого “испытания”. Впрочем, надо думать, что жених участвовал в разборе всех невест, которые были привозимы в Москву, ибо сюда, как мы заметили, съезжались уже избранные, первые красавицы областей. О царе Иване Васильевиче повествуют, что для избрания третьей супруги к нему “из всех городов свезли невест в Александрову слободу и знатных, и незнатных числом более двух

тысяч. Каждую представляли ему особенно. ...Сперва он выбрал 24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца новгородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича, Евдокию Богданову Сабурову“. «...»

Немчин Гейденсталус сам слышал из уст одной боярской дочери, которая была и сама в числе девиц на смотре царском во время избрания Собакиной, что это избрание происходило таким образом: царь повелел всем своим князьям и боярам дочерей своих, которые к замужеству достойны, привезти всех в Москву. На пребывание им был устроен дом преизрядный, украшенный, со многими покоями; во всякой палате было 12 постелей, для каждой девицы особо. Все девицы в том доме и пребывали, ожидая царского смотра. В назначенное время царь приходил в тот дом в особливую ему изготовленную палату с одним зело престарелым боярином и садился на украшенном стуле. Те боярские и княжеские дочери, убравшись в лучшие свои девические уборы и дорогие платья, приходили пред царя по порядку, одна после другой, и поклонялись до ног его. Царь всякой девице жаловал платок, расшитый золотом и серебром, униженный жемчугом, бросая девице на груди ей, и которая ему понравилась, ту и взял себе в жены, а всех остальных отпустил, пожаловав вотчинами и деньгами. «...»

Коллинс, современник царя Алексея, говорит, что когда дело решалось, то сам царь подавал избранной платок и кольцо; эти-то брачные знаки в действительности, быть может, и означали акт избрания.

Свадебные разряды свидетельствуют, что подобные же общие выборы невест при царе Иване Васильевиче происходили и при женитьбе его братьев. «...»

Введение невесты в царские терема сопровождалось обрядом ее царственного освящения. Здесь с молитвою наречения на нее возлагали царский девичий венец, нарекали ее *царевною*, нарекали ей и новое царское имя. Вслед за тем дворовые люди “царицына чина“ целовали крест новой государыне. По исполнении обряда наречения новой царицы рассылались по церковному ведомству в Москве и во все епископства грамоты с наказом, чтобы о здравии новонареченной царицы Бога молили, т.е. поминали ее имя на ектениях вместе с именем государя.

С этой минуты личность государевой невесты приобретала полное царственное значение и совсем выделялось из среды подданных и из среды своего родства, так что даже и отец ее не смел уже называть ее своею дочерью, а родственники не смели именовать ее себе родною. «...» ...На самом же деле родство царицы хотя и теряло право для государственного приличия именовать ее своею родною, хотя и не осмеливалось иначе называть ее, как великою государынею царицею, но все-таки по своему влиянию оставалось ее родством и всегда быстро...возвышалось до значения всемогущих временщиков. По большей части ее-то родство и управляло госу-

дарством во всех внутренних, так сказать, домашних государственных делах. «...»

Таково было беззастенчивое вотчинное управление государством, по которому в силу общих и неколебимых, освященных веками убеждений родство и в царском, как и в частном правительственном быту всегда приобретало первое право пользоваться властью своего родича, а стало быть и всеми выгодами его высокого общественного положения. Это было на самом деле непререкаемое право всех родичей, ибо по идеям родового быта они всегда и приобретали, и теряли, возвышались и падали заодно со своим родом. Отдельная от рода личность не была мыслима в то время; она сливалась с родом в органическое целое, а потому не могла даже и понять какой-либо раздельности интересов и выгод в кругу родовой связи. «...»

Государевы невесты очень нередко избирались из бедных и простых дворянских родов, а потому и возвышение их родства выпадало на долю самым незначительным людям. Коллинс рассказывает, что отец царицы Марьи Ильичны Милославских, Илья Данилович, происходил из незнатного и бедного дворянского рода и прежде служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. О царице Евдокии Лукьяновне Стрешневых, супруге Михаила, ее же постельницы говаривали: “не дорога де она государыня; знали они ее, коли она хаживала в жолтиках (простых чеботах); ныне де ее государыню Бог возвеличил!” О царице Наталье Кириловне Шакловитый, предлагавший ее *принять*, т.е. погубить, говорил царевне Софье: “известно тебе, государыня, каков ее род и какова в Смоленске была: в лаптях ходила!”

Весьма понятно после того, с какую завистью и ненавистью встречали во дворце родство новой царицы, с каким опасением смотрели на новых людей, ее родичей, все лица, находившиеся в близости и в милости у государя, сидевшие прочно в своих пригретых гнездах по разным частям дворцового и вообще приказного управления. Выбор государевой невесты подымал в дворовой среде столько страстей, столько тайных козней и всяческих интриг, что это государево дело редко проходило без каких-либо более или менее важных и тревожных событий в его домашней жизни.

Избранная невеста, вступая во дворец царевною, среди радостей и полного счастья, неизобразимого для простой девицы и особенно для ее родных, вовсе не предчувствовала, что именно с этой минуты участь ее держится на одном волоске, что именно с этой минуты ее личность становится игральщиком самых коварных, низких и своекорыстных замыслов. «...»

Недоступный, замкнутый царский терем с его просторною и прохладною жизнью в смысле всякого изобилия и великолепия, всяческого раболепства и ласкательства, являлся на деле самым открытым местом для действий потаенных врагов и самым тесным и опасным местом для жизни. Простое легкое нездоровье было достаточно для того, чтобы враги воспользовались этим обстоятельством и облекли его в дело величайшей важности и величайшей опасно-

сти даже для здоровья самого государя, всегда обвиняя при этом и родство невесты, будто оно нарочно скрывает какую-либо неизлечимую болезнь в ней, разумеется для того, чтобы не лишиться ожидаемого высокого благополучия вступить в близость к государю. Враги употребляли большие старания чем-либо в действительности испортить здоровье царевны-невесты и таким образом лишить ее царской любви, выселить из дворца, и тогда новый выбор государевой супруги направить согласно своим потаенным целям.

С подробностями таких печальных событий в государевой жизни лучше всего познакомит нас история царских невест:

Скорбь разлуки с избранною невестою именно вследствие дворских интриг должен был испытать из царей первый Иван Васильевич Грозный. Со многим и долгим испытанием (1572 г.) он избрал в супруги девицу Марфу Васильевну Собакину. Она была испорчена еще в невестах и скончалась с небольшим через две недели после свадьбы, совершенной царем вопреки обычному предубеждению и страху за собственное здоровье. Об этом засвидетельствовал сам царь, когда просил соборного разрешения вступить потом в четвертый брак на Анне Алексеевне Колтовских «...». «Понеже девства не разрешил третьего брака», царь и вел. кн. ... много оскорбился и хоте облещися во иноческое». Подозрение в порче пало на родство прежних цариц, Анастасии Романовых и Марьи Черкасских. Был розыск и были казни «...».

Более подробностей о подобных событиях царской жизни сохранил нам XVII век. Так, следственное дело о болезни первой невесты царя Михаила Федоровича, Марьи Хлоповых, довольно близко знакомит нас с характером дворских отношений в этих обстоятельствах и вообще с подробностями домашней жизни избранных государевых невест. По вступлении на царство шестнадцатилетний Михаил Федорович, юноша кроткий и тихий, ...как отзывается о нем летописец, до возвращения из плена своего отца, Филарета Никитича, находился в полной опеке матери, великой инокини Марфы Ивановны. «...» Без сомнения, по совету родственников и по назначению Марфы Ивановны ближайшие и самые важные дворовые должности при Михаиле отданы были в 1613 г. двум его двоюродным братьям — Борису и Михаилу Салтыковым, которые жили с ним еще пред избранием на царство в Ипатском монастыре. Первый назначен дворецким, второй — крайчим. Близость к молодому, неопытному и покорному государю очень скоро возвысила их до значения самовластных и самоуправных временщиков. Хозяйничая своевольно и безответственно во дворце, они давали чувствовать свою власть и в общих делах государства, так что многие с нетерпением ожидали приезда из плена царского отца Филарета Никитича, который один только своею отцовскою властью мог остановить это боярское своеволие, всегда поднимавшееся во время малолетства или неспособности государей. «...»

После венчания царским венцом, 11 июля 1613 г., следовало подумать и о венчании брачным венцом, как водилось исстари. Неизвестно однако ж, тогда ли начались об этом государевы заботы. Только в 1616 г., когда царю был уже 20-й год, мать благословила

его на это доброе дело, которое было желательно и для всей Земли, испытавшей столько бед и потому вполне желавшей, чтобы новый царский род неколебимо утвердился на престоле.

Для *обиранья* невесты к его государской радости, по установившемуся обычаю, были, вероятно, собраны во дворец все тогдашние красавицы, дочери дворян и вообще служилого помещичьего сословия. Царь выбрал в невесты Марию Ивановну Хлоповых, дочь московского дворянина. Как только было решено, государь велел позвать к себе ее родных: отца, мать и всех, кто был налицо, все родство. Это-то родство и было всегда ненавистно старым временщикам. Здесь являлись соперники, незнатные, небогатые, но сильные впоследствии, влиятельные по свойству с царицей, с которыми впоследствии трудно было ладить, от которых нельзя было ждать добра, ибо и они тоже всегда почитали себя прямыми и самыми ближайшими кандидатами в такие же временщики. По этим причинам старые любимцы государя должны были употреблять все усилия, чтобы направить выбор царской невесты соответственно своим личным целям. Для них, напр., очень важно было, чтобы близкие родные и все родство будущей царицы не были слишком значительны по своим личным достоинствам или заслугам.

Родных Хлоповой позвали в Верх, к Рождеству на сени, т.е. на царицыну половину дворца. Здесь вышли к ним Борис да Михайло Салтыковы, первые люди во дворце, велели им тут подождать до государева указа. Затем позвали их к государю в хоромы, в переднюю. Там сказал им государь сам, что он “произволил взять себе для сочетанья законного брака Иванову дочь Марию, а их родственницу, и они б ему служили и были при нем близко”. — Родные будущей царицы ударили челом государю, благодаря за неизреченное жалованье. С этой минуты они были при государе *близко*: они становились своими людьми государю, могли свободно ходить во дворец к нареченной невесте.

Государеву невесту поместили у государя в верхних хоромах, в теремах; нарекли ее *царицею*, а имя ей дали *Настасья*, очень вероятно — в память царской бабки Анастасьи Романовны, первой супруги Грозного. “И молитва наречению ей была, и чины у ней уставили по государскому чину, т.е. честь и береженье к ней держали, как к самой царице; и дворовые люди крест ей целовали, и на Москве, и во всех епископиях Бога за нее молили, т.е. поминали на ектеньях”.

В Верху, в хоромах, при нареченной царице жила Мария Милюкова, одна из придворных сенных боярынь; также мать царицы и ее бабка, Федора Желябужская. Родственники сначала приходили челом ударити временем, потом ходили к ней по вся дни и ездили с государем на богомолье к Троице, когда он отправился туда вместе с матерью и невестою молить Бога о благополучном сочетании браком. Это было 16 мая 1616 г. Все происходило по заведенному искони обычному порядку; все шло благополучно, без всякой помехи; невеста чувствовала себя во всем здоровою, кушала царские сладкие яства, без сомнения веселилась новою жизнью и ожидаемым счастьем, которое должно было возвысить и весь ее род. Так

прошло около месяца. 9 июня “государыня царевна и великая княгиня Настасья Ивановна всеа Руси государыне и великой старице иноке Марфе Ивановне на новоселье челом ударила: два сорока соболей, один 30 р., другой 25 р.“. Вероятно, свекровь в это время построила себе в Вознесенском монастыре новые хоромы.

Из родных царевны заметно выдвинулся ее дядя Гаврила Васильевич Хлопов, по-видимому человек очень неглупый, бывалый, стойкий и прямой. Очень понятно, что он-то особенно и не мог понравиться Салтыковым. «...» Салтыковы невзлюбили Хлоповых, а это почти решало участь царской невесты. Бороться с такими сильными и влиятельными людьми было невозможно людям, еще только приближавшимся к доверию государя. Недели две спустя после того, как дядя невесты поговорил гораздо в разговоре с оружничим, Мих. Салтыковым, нареченная царица начала понемогати, появилась болезнь, “рвало и ломало нутр и опухль была... а была ей блевота не вдруг, сперва было дни с три и с четыре, да перестало, а после того спустя с неделю опять почала блевать“ «...». Государь сейчас же велел дохтурам болезни ее смотрети. Но лечение по необходимости должно было идти чрез посредство крайчего Михаила Салтыкова, которому как крайчему и лицу самому доверенному государь, естественно, доверял и лечение своей невесты.

В первое время Салтыков призвал доктора Валентина Бильса «...». Бильс прописал лекарство, которое по порядку тогда же было записано в книгах, в Аптекарской палате, и передано в руки отцу невесты, Ивану Хлопову. В другой раз лекарство было прописано спустя неделю. Лекарство по тогдашним понятиям вообще было делом весьма подозрительным и опасным, а при настоящих обстоятельствах оно могло казаться на самом деле отравкою. Отец невесты зорко наблюдал за Салтыковыми. Подозрительность его не оставляла без внимания и малейшего случая сколько-нибудь сомнительного в поведении бояр. “Меж себя они *шентали*... и пришед Михайло Салтыков, велел ему взяти из аптеки скляницу с водкою и отнести к дочери его Марфе, а сказали, что она от того будет больше кушать“. Он взял у Бильса скляницу и отдал в хоромы Марье Милюковой, невестиной боярыне. Но в хоромаш, вероятно по общему совету, держали себя крепко от подобных водок и не употребляли их. Вместо сомнительной водки там больной давали *пити воду святую с мощей*, а имали крест (с мощами) у Волынских, который вероятно славился исцелениями. Давали также камень *безуи*. И оттого ей дал Бог изцеленье, изцелела и полегчело вскоре; и после того болезнь не поминывалася.

Это было врачеванье настоящее, которое предписывалось старым благочестием и оправдывалось общим убеждением народа в его непререкаемой помощи. Докторское врачеванье по тому же убеждению все еще имело вид врачеванья бесовского, имело вид волхвования, зелейничества, которое было грехом. Домострой писал: “аще Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, ибо врачеваться Божию милостью, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием. Да благодарение и прощенье, и милосердие, и нелицемерная любовь ко всякому, аще кого

чем приобидел, отдати сугубо и на пред не обидети. Да отцов духовных и всяк чин священнический и мнишеский подвизати на мольбе Богу; и молебны пети и вода святити с честных крестов и со святых мощей и с чудотворных образов и маслом свящатися; да по чудотворным по святым местом обещеватися и приходяще молитися, со всякою чистою совестью; тем цельба всяким различным недугом от Бога получитьи...» «...»

Конечно, если всякая болезнь носила в себе смысл Божьего гнева, Божьего наказания за премногие грехи, то и ее врачевание должно было призывать одну лишь Божью помощь, должно было обращаться к одной лишь святине и к делам покаяния. Человеческая помощь здесь ничего не значила, а тем менее — помощь докторская, которую и вообще весьма трудно было отделить от обыкновенного знахарства, отреченного и проклятого всеми соборами. Вот почему во всех важных случаях, не только в домашнем ежедневном быту, но и в быту всенародном всегда с молитвою прибегали к чудотворной силе святой воды, освященной с животворящего креста с мощами. «...»

Весьма понятно, что в настоящем случае для государевой невесты святая вода с животворящего креста была наиболее желанным врачеванием. Докторское искусство являлось здесь по местным, дворцовым обстоятельствам, в самом подозрительном виде. Чтобы предохранить больную от отравы, ей давали еще камень *безуи*, который, по тогдашним понятиям, служил самым верным средством не только от всякой отравы, но и от всяких болезней. «...»

Но в то время, как в верхних хорах больную исцеляли св. водою с чудотворного креста, Салтыков рассказывал государю, что «дохтуры болезни ее смотрели и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее невозможно и живота (жизни) ей долгого не чаять; что такую болезнью была больна на Угличе женка и жила всего с год и умерла; и дохтур сказывает, что Марьи излечить нельзя».

Трудно было молодому царю узнать правду в этом деле. Трудно было не поверить двоюродным своим братьям, которые были такими близкими и преданными ему людьми. Тем еще более трудно было узнать истину, что Салтыковы успели восстановить против Хлоповых, а стало быть и против государевой невесты, его мать, великую старицу Марфу Ивановну, на которую они действовали, вероятно, наговорами и сплетнями чрез свою мать, старицу Евникию, жившую тоже в Вознесенском монастыре. Видно, что монастырь со своими инокинями служил им самую твердую и прочную опору в их самовластных действиях «...».

Действуя и в монастыре, и пред лицом государя с самою коварною скрытностью, они без сомнения первые же предложили решить это дело соборне, т.е. в Думе, по рассуждению всех бояр, ибо вопрос был действительно очень важен, по крайней мере лично для царя. После освящения царским именем, после крестного целования, после всенародных молений о здравии было не совсем легко нереченную невесту-царевну *сослать с Верху*, т.е. из дворца... Назначен был собор, думное сиденье, на котором дядя невесты Гаврило Хлопов бил челом и заявил, «Чтоб еще не поспешили сводить

(ее) с Верху, потому что в ней болезнь объявилась невеликая, от сладких ядей, да и та уж минуется“. Но его речи были напрасны, ибо причина заключалась не в болезни, а в остудении к невесте и ее родству великой старицы Марфы. Собор решил, что невеста к государевой радости непрочна. Нареченную царевну *сослали с Верху*. Спустя два дня после того ее болезнь было вспомянулась, но скоро прошла и затем она оставалась совсем здоровою, живя на подворье у своей бабки, Федоры Желябужской. Через 10 дней после ссылки с Верху ее отправили из Москвы в ссылку в Тобольск с бабукою и теткою и с двумя дядьями, все Желябужскими, так что невеста разлучена была даже со своими ближайшими родными, отцом и матерью. Отцу тогда же дано было воеводство на Вологде, где он находился до 1619 г., когда ему велено было ехать в деревню. Молодой государь повержен был этим событием в печаль и скорбь великую «...».

Шесть недель, проведенные женихом в смотринах на свою обрученную невесту, в беседах с нею, вообще в близости к ней, не могли пройти бесследно для очень еще молодого и благоуветливого царя. Из многих обстоятельств этого события заметно, что государь очень полюбил свою невесту «...». Дело и в официальной среде доведено было до тех границ, от которых нелегко возвращаться. Но что же оставалось делать пред суровою истиною, открытою кравчим Салтыковым, засвидетельствованную семейным собором, что нареченная царица к государевой радости непрочна по своей неизлечимой болезни? Царь покорился «...».

Прошло около трех лет, самых тяжелых даже и для политического положения государя. В 1618 г. к Москве подступал польский королевич Владислав, отыскивая царства, так как ему еще прежде Михаила Москва дала присягу. “Бысть тогда на всех страх и трепет и ужас, нашествия ради поганых, и шатость бе велия в людех, друг друга боящеса и чаяху измены... и царю с матерью велия скорбь бе и туга...” Судьба избранного всенародно царя подвергалась большой опасности именно от предполагаемой шатости и измены в людях. Но эта шатость отжила уже свой век; москвичи стали крепко за своего молодого царя и отбили королевича от стен столицы. Заключен был хотя и худой, но необходимый мир, который возвращал нам оставшихся в Литве пленников, а в числе их государева отца Филарета Никитича. 14 июня 1619 г. прибыл наконец в Москву Филарет Никитич. Через 10 дней, 24 июня, он торжественно был поставлен в патриархи. С этого времени управление земскими, государственными и домашними государевыми делами переходит в руки отца. Скоро становится заметным, что влияние матери или, вернее сказать, влияние стариц Вознесенского монастыря, где жила Марфа Ивановна, ослабевает. Как только была почувствована мужская, строгая и более справедливая рука в управлении, как только восстановлены были сила и значение царской власти, дела приняли другой ход. Временщики Салтыковы со всем своим родством постепенно теряют свое самовластное значение. Все, что было ими теснимо, становится на ноги. В самом государе просыпается старое чувство к его сосланной невесте.

Через два месяца после поставления отца в патриархи, отпраздновавши с ним Успеньев день, праздник церковный и собственно патриарший, молодой государь в первое же воскресенье, августа 22, отправился вместе с матерью на Унжу, молиться, к Макарию Желтоводскому чудотворцу. Поход на богомолье в этот далекий край был предпринят, вероятно, по обещанию в благодарность за избавление от плена Филарета Никитича, а вместе и за избавление Москвы от нашествия королевича Владислава, ибо св. Макарий прославился чудесами избавления от плена городов и людей «...». В том же августе, быть может, в те же самые дни, когда отправился государь на богомолье, послан был в Сибирь гонец с грамотами к воеводам, в Тобольск и на Верхотурье, в которых наказывалось, чтобы «Ивана Желябовского с матерью (бабкою невесты) и с женою и с братом и с *племянницею*, под именем которой глухо разумелась невеста, из Тобольского города перевести на Верхотурье, а в Верхотурьи дать им для житья двор, и кормовые деньги, бабке по 2 алт. на день, а всем другим, в том числе и племяннице, по 10 денег, и без указа никуда их с Верхотурья не отпускать». Содержание грамоты показывает, что она писана еще под влиянием Салтыковых и Марфы Ивановны: главное лицо — невеста, не называется даже по имени, освобождается из Тобольска лишь Иван Желябовский с родными. К тому же времени должно отнести и отпуск из Вологды с воеводства в деревню отца невесты, Ивана Хлопова. «...»

По-видимому смиренный и покорный сын, хотя и не смел выйти из воли матери, но поддерживаемый отцом, вел тихую, смиренную и однако ж настойчивую борьбу с теми подземными интригами, которые успели остудить сердце матери к его возлюбленной невесте, успели возбудить даже ненависть будущей свекрови и к невестке, и ко всему ее родству. Он тянул дело, ожидая перемены в мыслях матери. Между тем время шло и настояла даже государственная надобность в его женитьбе. Пронеслась мысль, которую приписывают государеву отцу, о женитьбе на литовской королевичне, в видах государственной выгоды от этого брака, что будет прочный мир с Литвою, что возвратятся уступленные туда города и земли. Но Михаил отказался от этого брака, да вероятно и сам отец хорошо понимал, что тогдашние натянутые отношения к Польше не могли произвести ничего хорошего и прочного. Однако ж мысль о женитьбе на иноземной княжне или королевичне утвердилась на некоторое время в царском семействе. В 1621 г., в сентябре, без малого через год по освобождении Хлоповой из Сибири, был послан посол в Датские немцы, к королю Христиану, сватать его племянницу Доротею Августу, дочь Голштейн-Готторпского герцога Иоанна Адольфа. Но король не принял лично послов, сказался больным, а посол не захотел пословать и объясняться с одними ближними королевскими людьми. Сватовство, таким образом, даже и не было начато. Летопись рассказывает, что король отказал будто бы по следующей причине: прежде брат мой ездил к вам в Русь, при царе Борисе, который хотел отдать за него свою дочь Ксению, и, приехав в Москву, часу не жил там, *отравую* уморили его; также и теперь дочь мою уморите.

Прошел еще год. В январе 1623 года послали к шведскому королю Густаву Адольфу, сватать княжну Екатерину, сестру курфюрста бранденбургского Георга, шурина королю. Здесь сватовство окончилось такою же неудачею по той причине, что княжна не захотела креститься в православную веру, не захотела променять свою веру на сан царицы.

После этих неудачных попыток высватать царю кого-либо из иноземных княжен оставалось, сохраняя давний обычай, найти невесту из прирожденных русских, из подданных. Когда отец и мать стали говорить об этом сыну, он отказался от этого предложения; он сказал: “Сочетался я браком по закону Божию и по преданию св. апостол и св. отец; обручена мне царица; кроме ее не хочу взять иную”. Нельзя было слишком противоречить такому желанию государя, ибо это желание покрывалось законным освящением его нареченой невесты, а против святости исполненного закона трудно было стоять даже и родительской, ничем не одолимой воле. Вот почему, быть может, и отец как патриарх становится на сторону сына, или собственно на сторону освященной уже законности его желания. Отцу объяснили однако ж, что нареченная царица испорчена, неплодна и больна; между тем “в слуху носилось” от многих людей, что она во всем здорова и не была больна с тех пор, как выехала из дворца. Сделалось необходимым исследовать дело, раскрыть истину. 15 сентября 1623 г., с лишком через семь лет со времени царского обручения с невестой, патриарх, поговоря с сыном, решил ее разъяснить это дело окончательно. Позваны были в государеву *комнату* (кабинет) ближние бояре: Ив. Никит. Романов, кн. Ив. Борис. Черкасский, Фед. Ив. Шереметев. В их присутствии государь сам лично допросил дохтура Валентина Бильса, видал ли он Хлопову, сматривал ли ее болезнь, какая была болезнь, можно ль было вылечить, а только б болезнь излечилась, то от той болезни не произошло ли бы какой помешки чадородию? Затем допросил лекаря Балсыря. Они оба утвердили, что болезнь была невеликая, излечить было можно, что плоду и чадородию от того пороку не бывает. После того государь спрашивал окольногоего Мих. Салтыкова, почему он тогда сказывал, что по дохтурскому осмотру болезнь в Марье была великая и долгой жизни от ней ожидать было нельзя? Салтыков не дал прямого ответа на этот вопрос, а рассказал только, как шло лечение, и что сам он, Михайло, к Марье с лекарством не ходил. Когда открылись разноречья, Салтыков был поставлен с доктором и лекарем “с очей на очи”. Лекарь уличал Салтыкова, что он между прочим спрашивал его, лекаря: “будет ли *им Марья Хлопова государыня или нет?*” Салтыков отрицался, объясняя, что спрашивал у них по государеву и по государынину великие старицы инокини Марфы Ивановны приказу, нет ли в Марье какие порчи?

Сентября 19 патриарх и государь вместе расспрашивали отца Марьи, Ивана Хлопова, а на другой день ее дядю Гаврилу Хлопова, который с большею, чем отец, откровенностью и подробностью объяснил, что и как было, присовокупив в заключение, что если он сказывает ложно, и он в том у государя милости не просит. — Из

его рассказа мы и привели изложенные выше подробности этого дела. В тот же день, 20 сент. патриарх расспросил духовника царевны, Никитского монастыря священника Сергея Петрова, который объяснил, что знает Хлопову, что она бывала у него в исповеданьи не одинова за шесть лет до ее взятъя на государев двор, что болезни в ней никакой не видал, а как была больна в Верху и он у ней был и ее исповедывал; а как сослана с Верху и жила на дворе у бабки, и он перед ее отъездом (из Москвы) у ней был же и ее исповедывал и она была здорова, а после того про болезнь ее не слышал, да и ныне слышал, что будто она в Нижнем здорова.

21 сентября государи велели ехать в Нижний для расспросу и сыску марьяна здоровья и болезни боярину Фед. Ив. Шереметеву, чудовскому архимандриту Иосифу, ясельничему Богдану Матв. Глебову и дьяку Ивану Михайлову. Вместе с ними по указу государей отправился и отец царевны Иван Хлопов. А для рассмотрения марьиной болезни посланы с ними дохтуры, Артемий Дий, Валентин Бильс и лекарь Балсырь. Государи велели боярину расспросить саму Марью Хлопову «...» и говорить ей велели накрепко, чтоб она болезни своей не таила никоими мерами... а буде Марья Хлопова болезнь в себе какую-нибудь утаит...свят. патриарха Филарета Никитича быти ей за то в великом духовном запрещении; и она б болезни своей не таила и тем на весь род свой не навела государские опалы и казни.

О том же главном деле, именно о болезни, есть ли в Марье какая болезнь, велено расспросить и ее родных, бабуку, отца и дядей, с великим подкреплением: бабке, что она, если утаит, то наведет на себя и на весь род свой государскую опалу; отцу и дядьям, что если правды не скажут, — быти им за то от государя казненным смертью. «...» Сверх того велено прислать в Москву марьяна отца духовного, который был духовником у ней в Нижнем.

Духовник приехал в Москву 11 октября и рассказал патриарху, что духовную свою дочь Марью Хлопову исповедывал и причащал многожда, что болезни в ней не видал ни которые; да и кроме исповеданья бывал он у Марьи многожда, и ходил к ней по вся неделе (по воскресеньям), а болезни в ней не видал, и про то не слышал, и думает, что она здорова во всем.

Октября 16 боярин с товарищами прислали государям список тому всему, как у них дело делалось, т.е. как было и к чему привело их исследование; а после того приехал к государям чудовской архимандрит с несомненным свидетельством, что *Марья Хлопова во всем здорова.* «...»

Таким образом вопрос был решен окончательно и к радости государя. Исполняя царское повеление, боярин Фед. Ив. Шереметев послал Марье Хлоповой денег 300 рублей и запасы хлебные и медвяные, чтоб ей ни в чем скудности не было, а сам остался в Нижнем ждть государева указа.

В Москве, во дворце, это исследование произвело сильное впечатление. Обман Салтыковых был раскрыт во всей очевидности. Оскорбленный государь не помешкал своею опалою. «...»

Опальные были высланы из Москвы в свои дальние вотчины: Борис на Вологду в братнину вотчину; Михайло в его Галицкую вотчину. “А людей с ними указал государь отпустить по 4 человека мужиков, да женок и девок по 3 человека, а с матерью их, со старцею Евникиею, келейницу черницу, да 2 человека, да малой, да женка, да две девки...” Однако ж чинов с них не сняли и только удалили от очей государя. Борис был боярином, а Михайло в этом же году еще 7 янв. пожалован в окольничие.

Так окончилось *время* Салтыковых, одно из событий, которыми так полна московская дворская история и которое может служить самою верною и лучшею характеристикою тогдашних внутренних правительственных отношений. После, конечно, опальные были возвращены. Это случилось в год смерти Филарета Никитича, который вывел наружу их лукавые козни, и в одно время с возвышением в бояре и в дядьки к царевичу Алексея Бориса Морозова, который, напротив, по всему вероятно держал руку Салтыковых. По-прежнему они стали очень близкими людьми к государю и весьма часто бывали у его стола. В 1641 г. Михайло Салтыков получил даже и боярство. Летописец рассказывает, что Салтыковы повинились: “Яко сего ради тако сотворихом, понеже нам удаленным быти царева лица и сана своего лишитися”. Вот та основная, действующая мысль, которою исключительно жило все дворское общество в царский период нашей истории. Мысль эта господствовала во всех дворских умах потому более, что всегда находила поддержку, подкрепление и так сказать оживление своим стремлениям в самом царе, в его царской воле, во всем порядке и во всем устройстве царского управления землею, управления собственно вотчинного, господарского или помещичьего, которому мог нанести решительный удар только великий Петр, мужественно стряхнувший с себя эту старую форму государственного быта и воздвигнувший государственное здание на других, более справедливых и широких основаниях. В старину временщик представлял существенный тип управления не только в царском дворце и стало быть во главе управления всем государством, но и во дворе областного воеводы, т.е. в управлении областью, и всюду, где ни появлялась управляющая власть, ибо в самом существе этой власти в ту эпоху лежала единая идея, господарская идея: самовластие, самоволие, которое всегда и делало *время* всякому ловкому служителю этой идеи.

Таким образом опала, наконец, поразила государевых врагов, которые принесли ему столько горя, заставивши его целые восемь лет ожидать брачной жизни со своею возлюбленною нареченною царевною. Теперь наставала пора государственной радости и веселья... Дело о женитьбе на Хлоповой было давно решено между отцом и сыном, иначе они не подняли бы и следствия о здоровье царевны и именно о ее здоровье в настоящую минуту, когда настояла даже государственная необходимость в государевом браке. Розыск об этом здоровье произведен был не для того, чтобы сломить Салтыковых, а именно для того, чтобы достоверно узнать, прочна ли царевна к государственной радости.

Но если сломлены были враги этой радости, если они в тот же час были удалены от государевых очей, то последствия их происков и интриг оставались еще в полной силе. В Вознесенском монастыре они успели водворить такую ненависть к будущей царице, что мать государева, великая царица Марфа Ивановна, клятвами себя заклала, что не быть ей в царстве пред сыном, если Хлопова будет у царя царицею. Что тут было делать, как поступить? Выбор был однако ж ясный. Променять родную мать и притом великую старицу на невесту было невозможно. Это противоречило бы всем нравственным положениям тогдашнего быта; благословение родителей утверждало домь чад, а родительская клятва искореняла их. Родительская клятва в народных представлениях была облечена в такой страшный мифический образ, пред которым ни в каком случае не было возможности стоять твердыми ногами.

Царь смирился, презрел себя Бога ради, не захотел разлучиться с матерью, склонился пред ее любовью, не захотел оскорбить и раздражить человеческое существо матери, и сам, все терпя, отказался от нареченной невесты. Это было сделано, по свидетельству летописца, даже вопреки желанию и многим укоришам со стороны отца, благословляющего этот брак и хотевшего венчать государя на Хлоповой. Но очень понятно, что и отец не мог сильно настаивать; без сомнения он ограничил свое желание сделать счастливым сына лишь одними советами. В том только есть очевидная правда, что он стоял за сына. «...»

Развенчанная невеста жила в Нижнем до своей кончины. Ей по государеву указу отдан был на житье двор Козмы Минина, взятый в казну как выморочный после его смерти.

Царевна Настасья Ивановна скончалась в марте 1633 г. через десять почти лет после решительного отказа ей в супружестве с царем, в то время, когда государь был уже женат на второй супруге Евдокии Стрешневой. «...»

Великая старица Марфа Ивановна, не соглашаясь на женитьбу сына с Хлоповой, без сомнения в тайне готовила ему невесту по своему выбору. Однако ж прошел еще почти целый год, когда государь склонился на увещания матери и по ее назначению избрал себе в невесты княжну Марью Владимировну Долгоруких, дочь боярина кн. Владимира Тимофеевича Долгорукова, одного из старых родовитых бояр. Летописец упоминает, что государь не желал этого брака и согласился на него только из послушания матери «...».

И смотрите же, что Бог делает “сотворшим по насилью!” — присовокупляет летописатель. В первый день *веселия*, говорит он, т.е. в день свадьбы, 19 сентября 1624 г., была великая радость, а на второй день царица “*обретется испорчена*”. Грех ради наших, от начала *враг наш диавол*, не хотя добра роду христианскому, научи, враг, человека своим дьявольским наущением и ухищрением, испортиша царицу Марью Владимировну; и бысть государыня больна и бысть скорбь (болезнь) ее велия зело, и того ж года в самое Крещение, 6 января 1625 г., предаде свою праведную душу... и погребена со многим плачем в Вознесенском монастыре с прочими царицами“.

Кто был виновником этого нового несчастья для государя, кто был строителем этой новой жертвы дворских боярских интриг и козней, нам не известно. “А все это зло сотворилось от злых чаровников и зверообразных человек, — восклицает современник этого события, — которые не хотят видеть христианского покою и тишины, гнушаются своего государя, гордятся, в послушании и в покорении ему быть не хотят и отнюдь его не боятся, потому что очень милостив он, любит и милует их, все дает им, что ни просят, а они только своевольничают”. Кто же эти они? Это все бояре, по сказанию современника, который, описывая первые годы Михайлова царствования, имел полное право воскликнуть: “Таково-то попечение боярско о земле Русской!”

Действительно, чем ближе мы будем знакомиться в истории с этим попечением, тем яснее и понятнее будет раскрываться нам и личность Грозного, а также и эта необычайная народная вера в царя как в истинного и единственного, хотя и слишком далекого своего защитника, слишком далекого по той причине, что между ним и народом всегда высилась та же недоступная боярская гора, обросшая непроходимым лесом боярских же клеветов в образе всякой приказной и прикащичьей строки.

Мы тогда хорошо поймем и отзыв свободного голландца о первых годах царствования Михаила, который в 1614 г. писал своей республике: “Царь этот будет иметь счастливое и блистательное царствование, если только Всемогущий откроет ему глаза и поможет ему выволоть дурную траву во дворе и неправду своих приближенных... все приближенные царя — несведущие юноши; ловкие же и деловые приказные — алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя... Но я надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем (Грозным), ибо такой царь нужен России, или она пропадет; народ этот благоденствует только под дланью своего владыки и только в рабстве он богат и счастлив. Вот почему все пойдет хорошо тогда лишь, когда царь по локти будет сидеть в крови”. Приговор жесток, как справедливо замечает издатель этой голландской переписки, не менее справедливо объясняющий, что здесь должно разуметь не народ собственно, а только народ приказный, а мы скажем, только народ властителей, к которому, конечно, принадлежали прежде всего бояре, а за ними уже и приказные, как их же орудия в управлении и попечении о Земле. Если к такому жестокому убеждению приходил свободный и практический голландец, пользовавшийся неизмеримо лучшим политическим устройством, то весьма понятно, что того же убеждения крепко держался в своей жизни и истории и наш русский народ, народ в собственном смысле, т.е. вся закрепощенная безвластная среда. Мы даже думаем, что в суждении голландца выразилась не собственная его мысль, а мысль тогдашних умных и опытных русских людей, именно из народа, с которыми торговый голландец по необходимости был в тесном знакомстве; выразилось, одним словом, тогдашнее общественное мнение о дворских событиях.

С лишком через два года, 29 января 1626 г., царь избрал себе вторую супругу, Евдокию Лукьянову Стрешневу, дочь незнатного дворянина, с которою и обвенчался 5 февраля. Только за три дня перед тем ее ввели в царские хоромы и нарекли царевною. Эта женитьба совершилась благополучно; без сомнения были приняты все меры к тому, чтобы устранить всякие напасти от зверообразных человек. Но мы сейчас увидим, что от этих зверообразных человек не было возможности избавиться; они являлись там, где, по-видимому, труднее всего было их встретить.

Царь Алексей Михайлович вступил на престол также очень молодым человеком, по семнадцатому году. Естественно, что управление должно было сосредоточиться в руках его дядьки, ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова, бывшего в молодых летах... спальником у государева отца, след. близким и любимым человеком. Царь Алексей питал к нему сыновние чувства, ибо Морозов на самом деле заменял ему отца. Эти отношения должны были произвести обыкновенное в дворской жизни явление, которое повторялось всегда, при каждом государе, как только, по какой бы то ни было причине, ослабевала его власть, его непосредственное личное участие в делах управления. Борис явился таким же временщиком, какими были Салтыковы при Михаиле, Годунов при Феодоре и т.д. Однако ж, бывши дядькою, руководя по-отечески шестнадцатилетним царем, он мог спокойно самовластвовать лишь до тех пор, пока не было людей, которые стали бы к царю в такую же близость. «...»

Для Морозова настала весьма опасная минута, когда государь задумал жениться. По обычаю собраны были девицы-невесты. Из 200 девиц, съехавшихся в Москву, в выбор самому государю были представлены только шесть. Государь страстно полюбил одну из них, Евфимию Федоровну Всеволожских, дочь касимовского помещика Рафа-Федора Всеволожского, которой по обычаю и вручил ширинку и кольцо как знаки обручения с нею. Но Морозов имел в виду другую невесту для государя, которая по всему вероятно была также в числе избранных. Это была одна из двух сестер Милославских. Одну из них он прочил за государя, на другой думал сам жениться, быть может с целью укрепить свои отношения к государю этою новою связью родства. «...»

Морозов действовал очень тонко и искусно. На его стороне был даже и духовник молодого царя, лицо очень влиятельное в известных случаях.

По обычному порядку Всеволожскую ввели в царские хоромы. Следовало облечь ее в царскую одежду, возложить на нее венец и наречь царевною. Все это было совершено, но при этом было что-то такое устроено с ее головным убором или с убором ее волос, что, когда она явилась пред своим женихом-государем в царском наряде, ей сделалось дурно, она упала в обморок. Того только и желали зверообразные человеки. Они объяснили, что у ней падучая болезнь, что след. к государевой радости она непрочна. «...»

Участь Всеволожских предугадывалась заранее, многие знали о тайных кознях, существовавших во дворце. Эти-то козни раскрыва-

ет... Самуил Коллинс. «...» Коллинс говорит, что когда Всеволожская, получивши от государя платок и кольцо, “явилась пред ним в царской одежде, Борис (Морозов) приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у ней падучая болезнь... Ее старого отца обвинили в измене за то, что он представил свою дочь на избрание больную; после мучительной пытки он был сослан в Сибирь, где умер; а семья осталась в немилости”.

Все это могло быть, а ссылка действительно состоялась, как увидим ниже. Неверно только другое свидетельство Коллинса, что отец с горя умер на дороге. Он умер на воеводстве в сибирском городе Тюмени. «...»

Изо всех разноречивых свидетельств ясно одно, что злополучная невеста, нареченная уже царевною, была подобно Хлоповой сослана из дворца. Царь был очень опечален этим событием; от горя многие дни он *лишен был яди*, ничего не ел, и “после того не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти”. Так, без малейшего сомнения, должен был объяснить это событие возлюбленный его дядька Борис Морозов.

Царевна сослана была из дворца в начале февраля. 12 февраля государь пожаловал ей весь изготовленный к свадьбе постельный убор. «...» В отметке по случаю отдачи этих предметов сказано: “по государеву указу отдано *ссылной* больной девице Еуфимье Рафовой дочери Всеволоцкого”. «...»

Производилось, вероятно, расследование этого дела, по которому открыт и настоящий явный виновник *порчи* крестьянин боярина Никиты Ивановича Романова Мишка Иванов. 10 апреля 1647 г. “за *чародейство* и за *косной развод* и за *наговор*, что объявился в Рафове деле Всеволожского”, крестьянина послали в Кирилов монастырь под крепкое начало, велели отдать его там старцу добру и крепкожителю, велели его держать под крепким началом с великим береженьем. Под строгий монастырский присмотр такого рода преступников посылали обыкновенно с тою целью, чтоб они не могли чего-нибудь распространить смутного в народе. Рука Морозова и здесь должна быть заметна. Дело было нечистое и преступник вместо простой ссылки в отдаленный город, как обыкновенно наказывались колдуны, посылается в великое береженье в приятельский Морозову монастырь, где и сам временщик оберегался от народной ярости после московской смуты 1649 г. «...»

Через два года участь несчастного Всеволожского и его семья была облегчена. В 1649 г. с Тюмени из опалы он пожалован на воеводство в Верхотурье, отсюда, в 1650 г., ему опять велено быть в Тюмени до государева указа. По приезде в Тюмень он помер в 1652 г.; а после того пришел государев указ, чтобы быть ему в Тюмени воеводою. «...» Видно, что и в Сибири он был игралищем борьбы между добрыми стремлениями государя и враждебным влиянием Морозова. Сибирские записки упоминают, что Всеволожский умер на Тюмени и с дочерью. «...» Коллинс, писавший свои записки около 1660 г., говорит, что царская развенчанная невеста еще

была жива в это время, что со времени высылки ее из дворца никто за ней не знал никаких припадков, что у ней было много женихов из высшего сословия, но она всем отказывала и берегла платок и кольцо — памятники ее обручения с царем, что царь давал ей ежегодное содержание, чтобы загладить оскорбление ее отца и семейства. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту, замечает Коллинс. — Но дело было сделано и воротить счастья было невозможно.

Опечаленный государь отложил свою женитьбу на целый год, который со стороны Морозова был употреблен на то, чтобы внушить государю и укрепить в нем мысль о браке с одною из Милославских. «...» Однажды воспользовавшись удобным случаем Морозов начал выхвалять государю красоту дочерей Милославского и возбудил в нем охоту видеть их. Обе сестры, как бы для посещения, приглашены были к сестрам великого князя (царевнам). Тут видел их государь и влюбился в старшую из них. «...» Свадьба на этот раз была сыграна без помехи, потому что приняты были все меры, чтобы избежать колдовства и порчи, которые приносили столько беспокойства государю и столько страха и смуты во дворец. «...»

В отцово место у государя был боярин Борис Иванович Морозов, с таким успехом устроивший этот царев брак. Через десять дней он стал сверх того свояком государю, женившись уже вторым браком на другой сестре Милославской — Анне Ильичне. 27 января он являлся к государю челом ударить на *завтрея* своей свадьбы, при чем по старому обычаю был благословлен от государя образом и пожалован дарами. Первый его брак совершен еще 5 июля 1617 г.

Второй брак Алексея Михайловича, на Наталье Кириловне Нарышкиной, также не обошелся без смуты, хотя и не имевшей никаких особенных последствий. С небольшим через восемь месяцев после смерти Марьи Ильичны Милославской, осенью 1669 г., государь снова приступил к выбору себе невесты. Для этого собраны были в Москву тогдашние красавицы-девицы, дочери, сестры и племянницы боярского и дворянского сословия. «...»

Вторичный смотр происходил 18 числа апреля, после чего, в ночи, девицы, взятые тогда в Верх в другой раз, были отпущены по домам. А после их, тогда ли ночью же, или на другой день, не известно, была взята в Верх для вторичного смотра племянница некоего Ивана Шихирева, дочь Ивана Беляева. В то время, как она находилась у государя, вероятно, вместе с другими девицами, в числе которых была и Наталья Кириловна, 22 апреля во дворце объявились два подметные письма за сургучем; одно было найдено постельным истопником перед Грановитую палатую в сенях, другое тем же истопником усмотрено прилепленным у сенных дверей Шатерной палаты, что выходят на Постельное крыльцо. В тот же день, 22 апреля, письма были представлены шатерничими боярину и дворецкому Б.М. Хитрову, а он тотчас же поднес их государю.

Что было в этих писмах, неизвестно, но “такова *воровства* и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писаны непростойные...”

Подозрение однако ж пало на Ивана Шихирева, вероятно по той причине, что в письмах что-нибудь высказывалось если не в пользу его племянницы, то, быть может, во вред ее соперницы или, правильнее, совместницы, Нарышкиной. Бедный Шихирев мог попасть в беду уже по одному только сплетению этих обстоятельств. Видимо, что интрига была ведена с другой стороны, главным образом против Матвеева, родственника Нарышкиной, который государевым браком на ней должен был приобрести еще большее влияние во дворце. Несчастный Шихирев являлся только отводом царской грозы от настоящих виновников дела.

Его взяли, обыскали, и к тому еще нашли у него на дворе какие-то травы. Государь поручил расспросить его боярам. «...»

Весьма понятны усердные хлопоты Шихирева, чтоб царицею была его племянница. Ясно также, что выбор останавливался между его племянницей и Нарышкиною, которая для многих царедворцев была особенно неудобна по своему родству с Матвеевым. Чтобы расстроить этот брак, ненавистники Матвеева, как он сам потом свидетельствовал, составили эти подметные письма, в которых, быть может, высказывали что-либо невыгодное и для избираемой невесты. Но злодеи были невидимы, а налицо представлялось только обстоятельство Шихирева, для которого выбор Нарышкиной, разумеется, также был вовсе не желаем. Кого ж другого возможно было явно заподозрить в составлении подметных писем? Несчастливого привели даже и к пытке.

В застенке он “распрашиван накрепко и подниман и к огню приношен, а в распросе у пытки и у огня говорил прежние речи... подметных писем не писал и никому писать не велывал и не подметывал”. Пытка, кажется, была повторена. “А было ему 13 ударов и огнем жжен, а с пытки и с огня говорил прежние речи... а которые *травы* выняты у него на дворе, толченая и не толченая, и те де травы дали ему на Вологде ныне в Великий пост, а сказывали ему, что те травы (оказался зверобой) *уразныя*, а велели ему те травы пить в вине и в пиве от убою, потому что он ранен”. «...»

Эта препона ко второму браку царя Алексея на Нарышкиной ограничилась однако ж тем только, что свадьба должна была совершиться месяцев девять спустя после избрания невесты, именно 22 января 1671 г. Очень вероятно, что все это время Нарышкина жила не во дворце, как следовало по обычаю, а жила, как рядовая и уже смотренная невеста, в доме Матвеева, где квартировала, на его попечении и охранении. «...» Наталья жила у Артамона (Матвеева) и совершенно не знала, какое ожидает ее счастье. Спустя несколько недель после осмотра невест царь очень рано утром прислал к Артамону в придворных каретах несколько бояр в сопровождении небольшого отряда солдат и трубачей. Наталья ни о чем не знала и спала спокойно. Дружки объявили Артамону милостивое приказание царя немедленно явиться с невестою во дворец. Артамон разбудил Наталью и объяснил ей волю царя. Тогда принесли привезенные уборы, одели ее великолепно и повезли во дворец с немногими женщинами. На одежде столько было драгоценных камней, что после Наталья жаловалась на ее тяжесть. Привезли во

дворец царскую невесту, повели ее *прямо в церковь* и брак совершен придворным священником в присутствии немногих приближенных к царю. Почтеннейшие сановники были угощаемы несколько дней роскошным пиром во дворце, который был в это время “извне заперт”. Такие, вероятно, слухи об этой свадьбе носились в городе, по которым Рентельфельс и записал свой рассказ. Видно, что к свадьбе готовились втайне, и она в действительности могла быть назначена для своего Двора внезапно во избежание всяких дворских интриг и препон.

Должно полагать, что описанная выше препона была уже последняя в избрании царских невест, ибо с этого времени мы не встречаем сведений о каких-либо помешках царскому браку.

О первом браке царя Феодора Алексеевича современники свидетельствуют, что для избрания невесты он, по обыкновению, приказал собрать всех прелестнейших девиц своего царства; что ему предлагали многих княжен знатного происхождения, но он выбрал незнатную девицу Агафью Семеновну Грушецкую, что бракосочетание происходило без всякого великолепия и царский двор оставался точно так же несколько дней недоступным. «...»

Второй брак царя Федора с Марфой Матвеевной Апраксиных совершился точно так же тихо, без особого торжества; свадебного *чину* никакого не было. 1682 г. февр. 12 патриарх вышел из царской комнаты (кабинета) в переднюю и объявил боярству и всей Палате, что нарекли “царевну и великую княжну Марфу Матвеевну”; благословлял и нарекал сам святейший патриарх. 15 февраля была радость, государь венчался в Верховой церкви Живоносного Воскресенья, венчал царский духовник. Кремль в это время был заперт.

Таким образом старые порядки царского да и всенародного быта к концу XVII ст. стали падать, так сказать, от собственной тяжести. В их путях оставаться было уже тяжело и невыносимо. Боярство и дворянство скидает с себя старую обузу местничества; царский Двор удаляется от такой же старой обузы *чинов*... Ясно, что чувствуется потребность свободных движений, потребность всесторонней реформы.

Из истории царских невест уже достаточно обнаруживается, что страх порчи должен был преследовать личность царицы каждую минуту и на всяком месте. Он отравлял ее счастливые дни излишними и в большинстве случаев пустыми, но тем не менее очень тягостными подозрениями, в ее домашнем быту порча являлась всемогущим страшилищем, из власти которого невозможно было освободиться, несмотря ни на какие предосторожности и строгости, которыми с такою заботливостью старались оградить себя от этого лиха. Но кроме порчи для царицы существовало еще страшилище, отравлявшее ее жизнь, в известных обстоятельствах, быть может еще в большей степени. Имя этому новому страшилищу было “неплодие”. Для женщины неплодие и в частном, особенно в достаточном или богатом быту почиталось за грехи Божьим наказанием. Жены плакали и усердно молились чудотворцам, прославляемым подаванием молитвенной помощи, да минует их это бедствие. В жи-

тии Геннадия Чудотворца Костромского рассказывается такой случай. Пребывая в Москве, приходит он однажды к литургии в одну из церквей, где во множестве находились царские слуги и боярские и княжеские жены. Тут же пришла и некая убогая жена, имея чада своя плачущих в пазухе, а иных за руку водяще. Скорбно смотрели на нее благородные оны жены, вздыхающие ко Господу Богу и Пречистой Богородице и со слезами говорили: “Сим нищим Господь дал чада рождати, а питати их нечем; нам же грешным возможно царским жалованьем препитати чад своих и удобрити, а за наша согрешения не даде Господь нам чад рождати”. Услыхав эти речи, преподобный сказал: “Не скорбите, госпожи, но живите правоверно в своем пребывании, отседе бо начните чада рождати Божьим повелением”. Так и сбылось по его пророчеству. И многим женам неплодным и по другим городам сбывалось пророчество Преподобного о чадорождении. Но вместе с тем жены молились не столько о чадорождении вообще, сколько об особом чадородии, именно о рождении дитяти мужского пола.

Существо женской личности, возводимой из ничтожества на высокую степень царского сана, заключалось, по понятиям времени, в одном неизменном ее призвании, в *чадородии* упомянутого особого вида. Царица должна была выполнить это существенное свое призвание, для целей которого она и выбиралась с великою осмотрительностью из целой толпы красавиц. Она должна была дать наследника царю и царству. В этом заключался главный, основной смысл ее царственного положения. Никакого другого смысла в ее личности не признавали и не сознавали государственные стремления, государственные положения жизни, для которых поэтому личность царицы являлась полною жертвою. Но должно заметить, что не одни государственные стремления определяли таким образом идею женской личности. На том стояли и стремления родовые. Здесь государственные цели вполне совпадали с целями родовыми по той причине, что государство, созданное родовою идеею, держалось тою же формою жизни, какою держался и род. «...» ...Мужья очень нелюбовно смотрели на своих жен, когда не было у них чадородия мужеска пола. Тогда несчастные жены обращались к единому утешению, к усердной молитве. С великим плачем и рыданием до иступления ума, как говорят различные сказания о таких обстоятельствах, они молились дома и в церквях, да подаст им Господь “прижити чада мужеска полу”. Очень часто и мужья разделяют с ними эту сердечную скорбь, непрестанно молясь вместе с ними, предпринимая обетные путешествия по монастырям к св. угодникам и чудотворцам. Являются многие примеры чудесных действий усердной и умиленной молитвы... Мать Александра Каргопольского Фотиния, оскорбляемая дряхлым мужем за бесчадие, который говаривал ей, что стало быть есть в ней “зазор некий, рекше грех”, усердно и много раз молится о рождении сына в Кирилобелозерском монастыре, сподобляется святого видения, по которому и исполняется ее благочестивое моление. Таким же образом исполняется моление о даровании сына и матери преп. Александра Свирского Василие, молившейся о том в Введенском Островском монастыре.

Молитвою Александра Свирского дарует Бог чадо мужеска пола некоему боярину Тимофею Апрелеву, который приходил к нему с великим молением и, рассказывая свою скорбь, помянул, “что ради бесчадия жена моя поносима была и оскорбляема мною, многжды же и биема от меня бываше”. «...»

Эти сказания могут служить достаточным свидетельством, в какой степени было всегда сильно желание родителей иметь наследника мужского пола.

Благочестивые люди прибегали к молитве, уповали на милость Божью. Но много раз случалось, что муж бесплодную жену уговаривал обыкновенно идти в монастырь и даже насильно постригал ее в монахини, а сам женился на другой. Само собою разумеется, что все это делалось в высших, в знатных или же в богатых слоях общества, где поддержка и продолжение рода были во многих отношениях задачею жизни.

Если так было в частном быту, то на царском престоле этот вопрос становился в действительности одним из важнейших, особенно в московскую эпоху нашей истории, когда из многих княжеств возникло единое царство, с единым самодержавным государем во главе всей земли, с единым идеалом освященной самодержавной власти; когда сверх того эта власть признается наследственною в одном лишь царственном колене. Понятно, какое значение получали в царской семье заботы о наследнике мужского пола; понятно, почему и личность царицы приносилась всецело в жертву этой государственной идее. Наследник мужеска пола является здесь не только корнем рода, но и корнем государства. Домашняя история московских государей представляет много подробностей о тех скорбях и заботах о мужском наследстве, в каких нередко проходили целые годы их брачной жизни.

Еще в XIV ст., при первом начале Московского единодержавия, такие заботы обнаруживались уже в полной силе. Великая княгиня Евдокия Донская, не имея сыновей, *обреклась* молиться Пресв. Троице и Преч. Богородице в монастыре у святого старца Сергия, чтобы он умолил об ней о чадородии сыновей, так как дочери рождались, но сыновей Бог не давал. Святыми молитвами старца подаровал ей Бог чадородие — родился сын Василий Дмитриевич, принявший после отца и стол великого княжения, и потом другой сын, Юрий Дмитр., поднявший великую смуту по кончине великого князя — брата. «...»

Вторая супруга вел. кн. Ивана Васильевича III, Софья Фомишна Палеолог, вступила с ним в брак в ноябре 1473 г. Само собою разумеется, она очень желала укрепить на московском престоле свое племя. Хотя у вел. князя и был уже наследник государству, сын первой его жены, Марья Тверской, Иван, называемый в отличие от отца Молодым, но для Софьи очень важно было иметь и своего наследника если не государству, так собственному хозяйству, наследника собственной независимости и самостоятельности, чего через дочерей достигнуть было невозможно.

Между тем в первые годы Бог давал этому браку одних только дочерей, которых в 1476 г. было уже три: Елена, Феодосия и опять Елена; затем целый год прошел бездетно.

Великий князь с супругою стали много скорбеть об этом, молились Богу, “дабы даровал им сынове родити в наследие царствию своему“. Великая княгиня по благому совету мужа не помедлила совершить обетное путешествие к Чудотворцу Сергию, в Троицкий монастырь, пешком, усердно моля “о чадородии сынов“. «...» “И от того чудесного времени зачатся во чреве ее богодарованный наследник Русскому царствию“. 25 марта 1479 г. родился ей благонадежный сын, великий князь Василий — Гавриил, который и крещен был в Троицком же монастыре у чудотворных мощей Преподобного Сергия. «...» После того Софья имела еще несколько сыновей. Первый брак того же самого Василия на Соломониде Юрьевне Сабуровой, избранной, как выше сказано, из множества девиц, был очень несчастлив именно по бездетству великой княгини. Он совершился в начале сентября 1505 г., когда вел. князю было уже 26 лет. По тогдашним обычаям это был самый поздний брак. И вот прошли двадцать лет. Бог не благословлял детьми этого супружества. Ни молитвы, ни обеты, ни богомольные путешествия по монастырям не были благословлены рождением чада. Не помогло и волхование, к которому не раз тайно обращалась великая княгиня, чувствуя свое безвыходное горе, спасая себя, свое положение, восстанавливая любовь мужа, которая год от году все больше охладевала. Была великая причина этой нелюбви мужа к своей неплодной супруге — не было прямого наследника царству, которое по смерти Василия должно было перейти в руки его братьев, не умевших, по его словам, и своих уделов управить. Было, след., о чем подумать и поскорбеть. Естественным путем должна была прийти мысль о разводе с неплодною женою и о браке с другою, более счастливою супругою. Однажды, в великой кручине о своей неплодной супруге, ехал вел. князь на богомолье ли или для потехи, на охоту, и увидевши на дереве птичье гнездо, горько заплакал, “Совори плачь и рыдание велико: о горе мне бездетному! Кому я себя уподоблю! К кому могу приравнять себя! Вот птицы небесные — и они плодовицы! И звери земные — и те плодовицы! И вода плодовица: она играет волнами, в ней плещутся и веселятся рыбы! Господи! И к этой земле я не могу приравнять себя, — она приносит плоды на всякое время!“

Этот плач близок уже был к решению дела. Возвратившись осенью из путешествия, государь начал думать со своими боярами о великой княгине, что неплодна, и с плачем говорил им: “Кому по мне царствовать в Русской земле? Братьям ли оставлю, но братья и своих уделов не умеют устраивать?“ Бояре отвечали: “Князь великий, государь! Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда!...“ Но не все бояре так думали. На эту мысль и самого князя навели и укрепляли ее в нем лишь одни его верные слуги, его приверженцы, его созданыя, для которых вопрос о прямом наследнике Василия соединялся с вопросом собственного счастья. Напротив того, для других бездетство Василия по многим отношениям

становилось торжеством, и они втайне радовались, что этот самовластительный государский род может наконец сам собою угаснуть. Эти-то другие сумели придать разводу Василия с неплодною женою великое церковное значение, возвели его в неразрешимый грех, вовсе не упоминая о том, что бывали давно уже примеры княжеских разводов, и именно в московском же колене. Еще сын Ивана Калиты, Симеон Гордый, развелся с первою своею женою за то только, что показалась она ему испорченною. Вот что рассказывает об этом событии родословная книга: “Князь великий Семион Иванович Гордый женился у князя Федора Святославича Смоленского: была у него дочь Еупраксия. И великую княгиню Еупраксию на свадьбе испортили: ляжет с великим князем на постелю, и она ему покажется мертвец. И князь великий великую княгиню отослал к отцу ее, а велел ее дать замуж. И князь Феодор Святославич дал дочь свою замуж за князя Федора за Красного за Большого Фоминского. А у князя Федора с тою княгинею было 4 сына“. Такого примера было достаточно для оправдания теперешних намерений государя. Но про старину не хотели в это время помянуть. Несмотря на противодействие, великий князь настоял на своем, развелся с женою и принудил ее постричься в монахини в ноябре 1525 г. «...»

Ее постригли с именем Софьи, в Москве, в Рождественском девичьем монастыре; постригал... игумен Никольского монастыря Давид. После ее отправили в Суздальский монастырь, где она и оставалась до кончины, вел. князь наделил ее после женитьбы особою вотчиною, селом Вышеславским с деревнями и со всеми угодьями. «...»

По суеверию века заботы помочь себе знахарством, волшебю шли рядом с усердными молитвами, обетными богомольями, вкладами по монастырям и церквям, переплетались, так сказать, с благочестивыми подвигами, вызываемыми одною и тою же целью получить силу чадородия и тем привлечь любовь государя.

Должно заметить, что в тот век знахарство и волшебба или ведовство как область реальных практических хотя бы и младенческих знаний о разных силах естества и тайнах природы несмотря на то, что были отречены и прокляты, всегда и повсеместно были принимаемы как обычное врачевство материальное, вещественное, которое невозможно было миновать людям, искавшим вещественной же помощи в своих недугах, телесных и сердечных. Ведуны и ведьмы прежде всего были лекаря и лекарки. Они сами так понимали свою специальность, так понимал ее и народ. Но это было врачевство мирское, знание отреченное, противное врачевству духовному по той причине, что оно утверждало свои действия тайнами сего мира, уклонялось от действий, благословенных и указанных церковью, ставило самочинно в противность тайнам благословенным свои греховные, бесовские тайны. Вместо слов молитвы оно ставило слова заговора и наговора и усердно веровало в силу этих слов, вместо благословенных и освященных действий оно ставило действия нечестивые и усердно ожидало от них помощи. Но как бы ни было, под эту мифическою оболочкою оно хранило действительные познания естества, которые действительно в иных случаях врачевали,

исцеляли недуги и тем всегда оживляли и поддерживали народное верование в особенные силы ведовства. Оттого в народных понятиях естественное врачевство не было отделяемо от волшебства, и врачи не только по профессии, но даже и именем не различались от волхвов. Так, одно поучительное слово касательно волшбы запрящает “к врачам ходити”, т.е. к волхвам, которых русский писец XVI в. отождествил с врачами, и наоборот. Самое слово: *ведовство*, знахарство, должно показывать, что в основе волхования лежала идея реальных знаний о природе, прикрытых лишь мифической оболочкою, суеверием, которыми прикрывалось в те века всякое знание и вообще наука. Вот почему несмотря на гонения со стороны врачевства освященного, несмотря на сожжения волхвов и вещей женок, мирское отреченное волшебство оставалось все-таки великою силою в жизни народа и к нему в трудных и безвыходных обстоятельствах по необходимости прибегал всякий, искавший себе помощи, не исключая даже и гонителей.

После развода с Соломониею Василий избрал себе в невесты княжну Елену Глинских, дочь умершего князя Василия Львовича Темного-Глинского, из рода знатного, но иноземного, литовского, который, изменив литовскому королю, вскоре изменил было и Москве в лице своего головы, родного дяди избранной невесты, князя Михаила Львовича. Неизвестно, как происходило избрание государственной невесты; но, вероятно обычным же порядком, т.е. повсеместным собранием всех тогдашних красавиц, из которых больше всех полюбилась княжна Елена, жившая у матери, вдовы Анны. Надо заметить, что несчастный дядя невесты, Михаил Глинский, был воспитан в Германии, долго там жил, находясь в службе у герцога Саксонского Албрехта и у императора Максимилиана в Италии, прославился военными заслугами и был предан немецким обычаям, которых без сомнения держались и его братья, Иван и Василий, отец невесты. Таким образом и Елена была воспитана в среде более или менее иноземной, в обычаях, которые, быть может, многим и к лучшему отличали невесту от ее сверстниц и соперниц, что и должно было остановить на ней выбор государя.

О *свадебницах*, так назывался в народе рождественский мясоед, 28 января 1526 г., Василий обвенчался с новою супругою — “оженися, яко лепо бы царем женитися”, т.е. с подобающим царскому сану торжеством и весельем. Во время свадьбы известный впоследствии прямой наперстник Елены, молодой князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский находился вместе со своим отцом кн. Федором Васильевичем в числе самых доверенных и приближенных к государю свадебных чинов. Отец его по свадебному разряду занял тогда очень важную должность конюшего: ему “велено быти у государева коня и ездити весь стол и вся ночь круг подклета (спальни новобрачных) с саблею голою или с мечем”. Сын находился в числе детей боярских четвертым у брачной постели, вместе с дворовыми боярынями, вдовами ближних бояр Челяднинных, Еленою и Аграфеною. Последняя была его сестра, и потом была избрана в мамы к новорожденному малютке Грозному. Сверх того ему тогда же было назначено: “колпак держати у великого князя и

спати у постели и в мыльне мыться с великим князем“, что обыкновенно поручалось самым приближенным, так сказать, домашним, комнатным людям. Таким образом сердечная связь Елены с Овчиною, как его обыкновенно называли, объясняется давнишним приближением его семейства к государевой комнате, и особенно через Аграфену Челяднину, его сестру, которая была замужем за Васильем Андреевичем Челядниним, государевым дворецким, братом государева конюшего, Ивана Челяднина, и сыном тоже государева конюшего, Андрея Челяднина, который был в этом чину еще при отце вел. князя Василия. Знатный чин конюшего давался только самым близким, любимым и заслуженным людям. Незадолго перед кончиною великого князя и Овчина получил звание конюшего.

Враги великого князя, не одобрявшие его второй брак, тотчас же распустили молву, что бывшая супруга, теперь монахиня Соломония, беременна и скоро разрешится. «...» Великий князь очень смутился этою молвою... «...» “Московская история“ рассказывает, что когда при дворе “слух промчется, якобы бывшая царица Соломея в монастыре непрадна и вскоре имеет родити, царь Василий послал вскоре бояр и двух знатных дам, чтоб прямо освидетельствовали Соломею. Соломея же, егда услышала в Суздаль приезд их, зело убоялася и вышла в церковь в самый алтарь и, взявса за престол рукою, стояла, ожидая к себе посланных; и егда к ней приидоша бояре и дамы, просили ее, чтоб она из алтаря к ним вышла. И она к ним выдти не хотела. И егда вопрошена, что имеет ли она быть непрадна, она им на то отвечала, что я со всякою моею надлежащею должностью и честью была царица и пред несчастьем своим за несколько времени стала быть непрадна от супруга моего царя Василия Ив. и уже родила сына Георгия, который ныне от меня отдан храниться в тайном месте до возрасту его; а где он ныне, о том я вам никак сказать не могу, хотя в том себе и смерть приму. Бояре же уразумели ее неправду и дамы, осмотря ее, что она никогда не бывала непрадна, возвратились в Москву и о всем поведали царю Василию, яко то все неправда и обман, и за то она еще далее сослана в ссылку“. Герберштейн... говорит, что в его бытность в Москве выдавали за истину, что Соломония родила сына, именем Юрья, и никому его не показывала. Когда к ней явились посланные узнать истину, она будто бы сказала им: “Вы недостойны того, чтобы глаза ваши видели ребенка; а вот, когда он облечется в свое величие (станет царем), то отомстит за оскорбление матери“. Но некоторые решительно не верили, что Соломония действительно родила. И таким образом этот слух остался сомнительным, замечает Герберштейн. Во всяком случае сказка очень любопытна. Она характеризует стремление боярской и вообще дворской среды... внести смуту и в государеву семью, и в государство; первая попытка поставить самозванца, которая как порождение деспотизма и самовластия олигархов-правителей впоследствии развилась органически в самых широких размерах и возродилась мгновенно при всяком смутном государственном обстоятельстве.

Вступив во вторичный брак единственно только с политической целью дать государству наследника, великий князь освятил этот

брак в самом начале молитвою о чадородии. Чрез месяц после свадьбы, 4 марта, назначая в Новгород архиепископом своего любимца, архимандрита Можайского монастыря Макария, Василий поручил ему, как приедет на паству, “в октенях молити Бога и Пречистую Богоматерь и чудотворец о себе и о своей княгине Елене, чтобы Господь Бог дал им плод чрева их“, о чем действительно и молились по всей епархии в церквах и монастырях. «...»

Вел. князь, по словам любимца его Макария, “не умалял подвига в молитве, не сомневался от долгого времени своего бесчадства, не унывал с прилежанием просить, не переставал расточать богатство нищим, путешествуя по монастырям, воздвигая церкви, украшая св. иконы, монахов любезно упокоивая, всех на молитву подвизая, совершая богомольные походы по дальнейшим пустыням, даже пешком, вместе с великою княгинею и с боярами; всегда на Бога упование возлагая, верою утверждаясь, надеждою веселясь... желаше бо по премногому от плода чрева его посадити на своем престоле в наследие роду своему...”

Таким образом четыре с половиною года протекли в непрестанных молениях, в непрестанных подвигах благочестия и милосердия. «...» Молитва была услышана. Господь внял стенаниям и слезам супругов и “разверз союз неплодства их“. 25 августа 1530 г. была великая неизреченная радость вел. князю и вел. княгине и всему Московскому государству: в этот день Бог даровал государю сына Ивана, *молитвенный плод*, столько времени и с такою горячностью ожидаемый не только родителями, но и всеми друзьями государя и государства. «...»

Ни одному царскому рождению не придавали такого великого значения и особенного смысла, как этому рождению будущего грозного царя. Летописцы записали, что будто бы в час его рождения по всей Русской земле внезапно был страшный гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось; — после узнали, что в тот час родился государь Иван Васильевич. «...»

Через два года с небольшим, 30 октября 1532 г., родился у Елены другой сын, Юрий, воспитанником которого тоже был Даниил Переславский. Затем, 3 декабря 1533 г., великий князь скончался, оставив по себе двух малолетних наследников. «...»

Перед тем временем, как царь Иван Вас. задумывал вступить в седьмой и последний свой брак, он женил и младшего своего сына Федора на сестре Бориса Годунова, Ирине Федоровне, весною 1580 г. Федору в это время было уже 23 года. Рассказывают, что отец решил женить его по той причине, что у старшего его брата Ивана не было детей, что след. царский род мог остаться без наследника. Простой умом и болезненным телом Федор однако ж не был тем счастлив, чтобы укрепить на престоле царский корень. Ирина же Федоровна, по официальным сведениям, подобно Соломонии, испытала несчастье бездетства, которое не повлекло за собою развода единственно только потому, что в наследники царства шел уже твердою стопою ее брат Борис. «...»

В первые года этого брака и сам Годунов вероятно очень заботился о чадородии сестры, ибо тем только он и мог твердо держать-

ся у царского престола. В 1585 г. он поручает англичанину Горсею разведать у ученых английских докторов о средствах “к зачатию и народжению детей” и привезти в Москву “докторницу искусную во врачевании женских болезней и безчадия”. Горсей выспрашивал мнений и наставлений ученых врачей оксфордских, кембриджских и лондонских, и наконец просил королеву (Елизавету) отправить с ним в Россию опытную повивальную бабку. Повивальная бабка была привезена в 1586 г. Но она не только не была допущена к царице, но даже и не привезена в Москву. «...»

Горсея после обвинили, и даже хотели повесить, за то, между прочим, что, привезя в Россию повивальную бабку для царицы, он тем оскорбил честь царицы. Но, по-видимому, все оскорбление состояло лишь в том, что этому делу королева по недоразумению дала излишнюю гласность.

Заботы Годунова о чадородии царицы-сестры в первое время ее брака являлись, как мы заметили, насущною необходимостью для сохранения и укрепления его положения при царском лице. Они тем более были необходимы, что по некоторым, весьма вероятным сказаниям царь Иван Васильевич оставил завещание, что если Ирина через два года (после его смерти) не будет матерью, то Федору развестись с нею и жениться на другой. Сверх того не желал и народ бездетного царского супружества. Действительно, года через два или три по вступлении на царство Федора составилась заговор против самовластного временщика. Митрополит Дионисий, бояре Шуйские и их сторонники, а также гости и все люди купеческие сошлись на совет и рукописанием утвердили бить челом государю, чтоб он “чадородия ради второй брак принял, а первую свою царицу Ирину Фед. отпустил бы в иноческий чин”. Общим советом была избрана бездетному государю и невеста, сестра боярина князя Фед. Ив. Мстиславского, княжна Ирина Ивановна. Годунов скоро успел рассеять вместе с людьми и самую память об этом предприятии. Невесту тайно увезли из дому и постригли в монахини. «...» В 1598 г. царь Федор помер без наследника. С ним прекратился и род царя Ивана Васильевича, московский царский род, обессилевший и совсем угасший в борьбе с боярскими родами, которым с этой минуты открылся желанный путь к царскому престолу.

В XVII ст. в роду Романовых царицы, к их счастью, не испытывали особенных печалей неплодия. Но заботы о чадах мужеска пола не покидали их.

У второй супруги царя Михаила Фед. царицы Евдокии Лукьяновны (Стрешневых) первым плодом чрева была дочь, царевна Ирина Мих., родившаяся в 1627 г.; вторым плодом в 1628 г. была тоже дочь, Пелагея, прожившая всего 9 месяцев. Это обстоятельство, что рождаются только дочери, очень опечалило и озаботило царственных супругов. Была печаль и беда не малая и царю, и еще более благоверной царице о “безродии сыновнем”, о безродии наследника царству, беда, обыкновенно развивавшая холодность царя к несчастливой царице. Супруги стали усердно молиться... Однажды в беседе с известным во дворце Соловецким иноком Александ-

ром Булатниковым, который впоследствии был келарем Троицкого монастыря, царь Михаил обратился к нему со словами: Ты не знаешь ли, кто у вас старец преподобный, который помолился бы о нашей печали? Александр ответил: Есть, государь, такой муж, и я уверен, что может испросить вам у Бога плод сыновства: это преподобный Елеазар, подвижник Анзерский. Александр рассказал подробно и святом его житии, и царь немедля послал Александра с люблением, дабы преподобный как можно скоро прибыл в Москву. Прибыл святой старец в царские палаты и в беседе с горевавшими супругами утешил их благонадежными словесами: Не печалуйте, говорил. Силен бо есть Бог дати вам плод по вере вашей и это случится, яко день сей. Уповаю на Господа, что зачнетс я вам сын и родится и царствию по вас будет наследник. Слыша это, супруги исполнились неизреченной радости и упросили преподобного, чтобы остался до времени в Чудовом монастыре. Богу содействующу глаголам святого, не по многом времени зачатся и родися царю сын Алексей Михайлович, который, впоследствии воцарившись, почитал св. старца, яко другого себе отца, благодарванного, осыпал его щедрыми дарами и повелел в его скиту соорудить церковь каменную.

Царица Евдокия Лукьянова имела семь дочерей и три сына, из которых двое, Иван и Василий, скончались малолетними. Бог сохранил только Алексея, на счастье государству, как отца Великому Петру. Царица после не совсем благополучных родов царевичем Василием, который вскоре помер, в течении шести лет (1639—1645 г.), до самой смерти царя, оставалась бесчадною. Она, по свидетельству современников, с того времени “была перед прежним скорбна и меж супругами в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему”. Супруги молились и великую веру показали к препод. Александру Чудотворцу Свирскому, коего св. мощи были обреты в течение тех же лет, в 1641 г. Царь в 1643 году устроил для мошей Чудотворца богатую серебряную раку, а царица “устроила швенным художеством своими руками, со благородными своими чады (дочерьми), цветных синет на плащанице образ св. Живоначальная Троицы и преподобнаго отца Александра, и украсила золотом и серебром и бисером (жемчугом) со драгим камением, и повелела положити на многочисудесныя мощи преподобнаго“... Но Бог не благословил этого благочестивого ходатайства. Царь Михаил через 2 года скончался, за ним вскоре скончалась и царица.

Англичанин Коллинс сообщает слух, что если бы супруга царя Алексея, царица Марья Ильична Милославских не разрешилась после 4 дочерей вторым царевичем Феодором, то она была бы построжена в монастыре. Так, вероятно, сообразало общественное мнение в то время, хорошо помнившее прежние события в царской семье.

ОБРЯД ЦАРИЦЫНОЙ ЖИЗНИ, КОМНАТНЫЙ
И ВЫХОДНОЙ

“Ни одна государыня в Европе, — говорит Рейтенфельс, современник царя Алексея, — не пользуется таким уважением подданных, как русская. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже и смотреть ей прямо в лицо. Когда она едет по городу или за город, то экипаж всегда бывает закрыт, чтобы никто не видел ее. Оттого она ездит обыкновенно очень рано поутру или ввечеру. Царица ходит в церковь домовенно, а в другие очень редко; общественных собраний совсем не посещает. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица (Наталья Кириловна Нарышкиных), проезжая первый раз посреди народа, несколько открыла окно кареты, они не могли надивиться такому смелому поступку. Впрочем, когда ей объяснили это дело, она с примерным благородием охотно уступила мнению народа, освященному древностью“.

“Русские царицы проводят жизнь в своих покоях, в кругу благородных девиц и дам, так уединенно, что ни один мужчина, кроме слуг, не может ни видеть их, ни говорить с ними; даже и почетнейшие дамы (боярыни) не всегда имеют к ним доступ. С царем садятся за стол редко. (Царь обедает обыкновенно один, а ужинает по большей части с царицею.) Все занятия и развлечения их состоят в вышивании и уборах. Нынешняя царица Наталья, хотя отечественные обычаи сохраняет не нарушимо, однако ж, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее. Мы два раза видели ее в Москве, когда она была еще девицею. Это женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навывкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный, манеры самые грациозные“.

Мейерберг, бывший в Москве лет десять прежде, при царице Марье Ильичне Милославских, рассказывает, что “за столом государя никогда не являлись ни его супруга, ни сын (Алексей Алексеевич), которому тогда было уже десять лет, ни сестры, ни дочери его. Уважение к сим особам столь велико, что они никому не показываются. Из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться, что он видел царицу или кого-либо из сестер и дочерей государя. Даже и врач никогда не мог их видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к больной, завесили плотно все окна, чтоб ничего не было видно, а когда нужно было пощупать у ней пульс, то руку ее окутали тонким покровом, дабы медик не мог коснуться тела. Царица и царевны выезжают в каретах или в санях (смотря по временам года), всегда плотно и со всех сторон

закрытых; в церковь они выходят по особой галерее, со всех сторон совершенно закрытой. Русские так благоговейно пред своею царицею, — прибавляет Лизек, — что не смеют на нее смотреть, и когда ее царское величество садится в карету или выходит из нее, то они падают ниц на землю“.

Особое благоговение и уважение народа к царице, которым иностранцы объясняли эту чрезмерную недоступность к их особе, объясняется очень просто тем обстоятельством, что всякий, кто позволил бы себе какой-либо поступок, хотя мало и вовсе неумышленно нарушавший требования такой недоступности, тотчас подвергался всем строгостям дворской подозрительности, а следов., и всем возможностям попасть в самую страшную беду. Ни для кого не проходила даром даже нечаянная встреча с царицею: тотчас начинались розыски и допросы, не было ли какого злого умысла. «...»

Котошихин рассказывает, что если царице случится куда ехать, то кареты, или каптаны (зимние возки), бывають закрыты камкою персидскою, как едут Москвою или селами и деревнями. Во время пеших выходов около них во все стороны носили суконные полы, чтоб люди их зреть не могли. В церкви они стояли в особых местах, завешанные легкою тафтою; да и в церкви в это время кроме церковников да бояр и ближних людей иные люди не бывали. Только одни церковники, в необходимых случаях, видали государыню. Самые необходимые, по уставам церкви, выходы и выезды, напр., в кремлевские церкви и монастыри, совершались большею частью или ранним утром, или по ночам, что наблюдалось также и при въездах в монастыри во время отдаленных богомольных походов. «...»

Но само собою разумеется, что скрываясь от глаз народа, от всяких общественных, публичных собраний, вообще от людских глаз, царица, как и все другие знатные женщины, не лишала себя любопытства и удовольствия смотреть на публичные действия и собрания, каковы были торжественные церковные действия и крестные ходы, торжественные встречи иноземных послов, торжественные обеды за царским столом и т.п. На церковные торжественные действия, совершаемые обыкновенно в Кремле, она смотрела потаенно, из окон Грановитой палаты вместе со всем семейством. Туда патриарх обращал к ней крестное осенение и благословение. «...»

Приемы послов и других лиц, а равно и торжественные столованья в Грановитой палате царица сматривала из особой палатки, нарочно для того и устроенной над входными дверями этой палаты. Посольские выезды она сматривала из палат над Воскресенскими воротами, в которые обыкновенно направлялись такие шествия во второй половине XVII ст. Для этого палата всегда убиралась сукном. Царица проходила сюда по кремлевской и китайгородской (уже сломанной) стене. Да и вообще должно полагать, что все подобные публичные действия так устраивались и так располагались, что царица из какого-либо удобного места всегда могла потаенно их видеть. «...»

Таким образом для царицы, равно как и для всего царского семейства, всякое зрелище бывало доступно. «...» Словом сказать,

публичная жизнь не была закрыта от их очей. Заботливо скрывались только они сами от очей публики и от всякого общественного "действия". Но время и обстоятельства, вообще движение той же общественной жизни брали свое, и в силу этого движения царь Алексей видимо, хотя, быть может, несознательно, стремился раскрыть вековые "запаны и завесы", скрывавшие его царицу; «...» он, как и во всем передовой человек своего великого сына, передовой человек великой реформы, мало по малу стремился вместо решеток устроить открытое окно.

Так, царица Марья Ильична Милославских, первая его супруга, уже присутствует на торжественных действиях по случаю отпуска войск на польского короля в 1654 г. «...» Затем во время пребывания в Москве вселенских патриархов, Паисия и Макария, царица не один раз выходила вместе с государем и детьми в соборы и другие церкви слушать их торжественное служение. «...»

Совершался уже открытый торжественный выход в собор при всем народе, но *запана* еще не открывалась. «...» Сам государь... был очень склонен открыть запану, устроенную... Домостроем, — и вот почему его вторая царица, Наталья Кириловна Нарышкиных, является совсем другим человеком. Воспитанная под влиянием Артамона Матвеева, в среде родства, чуждого застарелых предрассудков, она не обнаруживает в своей жизни староверческой привязанности к уставам Домостроя и ведет себя с большою свободою, конечно, не без согласия и не без сочувствия своего супруга. На первом же каком-то торжественном выезде посреди народа она "несколько открывает окно кареты"... Смелый поступок произвел смущение в людях: не могли надивиться такому подвигу. Когда ей объяснили, ... чего требовал старый Домострой, она с примерным благородием уступила, но не надолго. Вскоре она выезжает уже в карете "открытой" по причине присутствия послов, в знак особенной милости, как отмечает Лизек, описывая торжественный же выезд к Троице в 1675 г. В то же время она не один раз выезжает в подмосковные дворцы в одной карете с царем, стало быть уже непременно в открытой карете и стало быть руководителем таких подвигов является сам же государь. Затем, справляя свои именины, она принимает лично все боярство, чего не бывало, и раздает им из собственных рук именинные пироги, чего также до прежде не водилось.

Шаг за шагом, еще несколько лет, и народ мало по малу прорыв бы к открытой жизни своих цариц. Но в начале следующего 1676 г. царь Алексей скончался. Направляемый им ко многим новинам порядок царской жизни должен был на некоторое время зашататься. Сын царя Феодор, по любви к новинам вполне достойный своего отца, царствует недолго; при нем новины царской жизни не успевают, так сказать, войти в колею, а потом настают дворские и семейные смуты, среди которых невозможно было и думать о чем-либо правильном и прочном. Царица Наталья, оставшаяся без всякой поддержки, сиротою-вдовою, удаляется со сцены в свои вдовьи хоромы. С нею удаляются, а вскоре и вовсе погибают, люди нового порядка, Артамон Матвеев и родство царицы, совсем отлич-

ное по своему характеру от родства Милославских, которые крепко держались за корни всего старого. Конечно, царица Софья раскрывает женскую и даже девичью фату, но, к сожалению, она играет не свою роль; она играет роль царя и под видом только царя решается вести свои публичные выходы открыто. Ее подвиг все-таки становится и в общественном мнении зазорным по той особенно причине, что в нем господствуют не европейские, а византийские, неискренние, лицемерные идеи, с которыми можно было идти назад, но идти дальше было уже невозможно. Между тем и история, и жизнь настоятельно требовали ответа на вопрос, созревший с органической последовательностью: быть или не быть византийским началам, и прямо склонялись к тому, что быть началам европейским. Народные передовые инстинкты прозревали истинный и прямой путь и к нравственной, и к гражданской свободе и разом круто поворотили на новую дорогу с этого застарелого и засоренного византийского пути, которому остались верными одни только задние люди, всякие старожилы во всяких смыслах.

Мы уже сказали выше, что нравственным идеалом домашнего устройства в допетровском быту было устройство, во многом подражавшее монастырю, что лучший древнерусский дом в этом отношении был дом, наиболее приближавшийся к такому идеалу. Замкнутость царицына быта, и особенно быта царевен, конечно, еще больше способствовали водворению в их хоромах монастырской жизни. *Молитва и милостыня* — вот исключительная, единственная и достойная стихия этой жизни, руководившая не только помышлениями, но и всеми поступками и подвигами ее деятель. Келейное, т.е. домовное, и церковное *правило* и подвиги милосердия, — вот в чем заключалось главное, коренное и неизменное *дело* этой жизни. Само собою разумеется, что молитва и милостыня, как основные начала богоугодной и спасительной жизни, являясь делом, по необходимости должны были облекаться в одежду своего века, т.е. принимать формы той культуры или выработки понятий и представлений, какая господствовала в допетровском быту. «...»

Каждый день неизменно совершалось домовное *правило*, молитвы и поклоны, чтение и пение у *крестов* в крестовой или моленной комнате, куда в свое время приходили для службы читать, конархать и петь крестовый священник и крестовые дьяки, 4 или 5 человек. Царица слушала *правило* обыкновенно в особо устроенном месте, сокрытая тафтяным или камчатным запаном или завесом, который протягивался вдоль или поперек комнаты и отделял крестовый причт от ее помещения. Крестовая молитва или келейное *правило* заключалось, как упомянуто, в чтении и пении определенных уставом на каждый день молитв, псалмов, канонов, тропарей, кондаков, песней, с определенным же числом поклонов при каждом молении. Каждый день, таким образом, утром и вечером совершалось чтение и пение часослова и псалтыря с присовокуплением определенных или особо назначаемых канонов и акафистов и особых молитв.

В праздничные и в иные чтимые дни, когда не было выхода в церковь, царица у *крестов* же всегда служила молебен и окропля-

лась св. водою, привозимою из монастырей и церквей, от праздников.

На каждый день читалось также особое поучительное *слово* из сборника, именуемого Златоустом. Особенно богомольно и благочестиво проводились дни постов и кануны праздников. Тогда и правило прибавлялось, т.е. прибавлялись особые моления и молитвы, поклоны, каноны и акафисты. В эти дни читались и жития святых, коих праздничная память тогда творилась. Впрочем, чтение житий и всегда составляло достойное упражнение на всякий день. Оттого знание священной и церковной истории в тогдашнем грамотном обществе было распространено несравненно больше, чем всякое другое знание. В совокупности со знанием церковного догмата или устава, это была исключительная, единственная наука того времени, или то самое, что мы разумеем теперь под словом *образованность*. В ней сосредоточивались, ею управлялись и направлялись не только нравственные, как подобало, но и все умственные интересы века, а тем более в быту женщин, замкнутых в своих теремах, лишенных участия даже мыслью и словом в делах общественных. В их-то среде и преобладал по преимуществу интерес монастырский во всех его подробностях. Здесь не государственной важности дело или событие призывало умы ко вниманию и размышлению. «...» Здесь интерес мысли сосредоточивался более всего на богоугодном подвижничестве праведника или далекого пустытника, сокровенного затворника, о прославленных, святых делах которого не истощались рассказы и поучения, достигавшие сюда из самых отдаленных, глухих и незнаемых пустыней и монастырей. Здесь любопытствующий ум устремлялся лишь к святым чудотворным местам и к св. угодникам, дабы еще более укрепить свою веру в их несомненную помощь в скорбях и печалях жизни. «...»

Совершив богомольное утреннее *правило* у “крестов”, в своей комнате, государыня выходила к обеду в одну из домовых “верховых” “сенных” церквей, обыкновенно, в XVI в. к Рождеству Богородицы, или, в XVII в., в церковь Екатерины Омч., к лику которой царицы особенно усердствовали в уповании освобождения от трудного разрешения от бремени. Надо, однако ж, заметить, что и эти, так сказать, домашние выходы в церковь не были слишком часты, как можно было бы предполагать, судя по общей набожности в царском дворце. Женское дело встречало множество причин, которые не всегда позволяли слушать церковную службу. Самый Домострой освобождает женщину, как и домочадцев, от повседневных выходов к церковному пению, заповедуя исполнять это только мужчинам-хозяевам. “А женам ходити к церкви Божии, как вместимо, на произволение, по совету с мужем... А женам и домочадцам (ходить к вечерне, к заутрене и к обеду), как вместимо, по рассуждению: в неделю (воскресенье) и в праздники, и во святые дни”. «...»

Молебные выходы государя, представителя государства, являли собою по преимуществу образ всенародной молитвы, носили в себе смысл общественный, выражали молитву о целях и делах всего народа, всего царства. Царская молитва спасала царство. «...» Благо-

чество царя служило всегда выразителем благочестия всенародного; оттого с такою непреложностью цари соблюдали весь круг церковных всенародных молений; оттого эти моления и совершались царем торжественно с царственной обстановкою, в какой подобало являться молящемуся царству. Словом сказать, молитва царя была олицетворением молитвы самого царства, «...» отвечала благочестивым и набожным целям всего народа. Напротив того, молитвенная мысль царицы сосредоточивалась главным образом в целях и делах собственной царской семьи, была выразителем внутренней, сокровенной жизни царского дома, отвечала благочестивым и набожным целям семейного государева быта. Поэтому богомольными выходами царицы «...» управляли по преимуществу события или различные чрезвычайные обстоятельства ее домашней семейной жизни. «...»

Повседневные богомольные выходы царицы в верховые церкви были совершаемы запросто, без особой официальной обстановки, с какою почти всегда выходил сам государь, сопровождаемый обыкновенно приезжавшими для присутствия в Думе боярами и другими чинами, которые обязаны бывали являться во дворец каждый день. Царицу в таких выходах сопровождали только ее комнатные люди, ближайшие дворовые боярыни, крайчая, казначея, две-три верховые боярыни и столько же постельниц, носивших подножие (род ковра) и другие необходимые при выходе вещи. Праздничные выходы совершались, разумеется, торжественнее, с большим числом дворовых людей, а также и в сопровождении приезжих боярынь, а быть может и всего комнатного чина. Без сомнения при этом соблюдался и какой-либо церемониальный порядок шествия, младшие чины, девицы-боярышни, постельницы, шли впереди попарно, старшие позади. По всему вероятно и здесь чин выхода придерживался подобных же порядков, какие были в обычае на половине государя. Любопытные изображения таких пеших царицыных выходов сохранены в рисунках к путешествию Мейерберга, с которых снимки мы помещаем в конце книги.

Первый рисунок показывает, по словам Мейерберга, “каким образом царица по сокрытой галерее из дворца ежедневно шествует в женский монастырь Вознесения Господня для слушания там молитвы (панихиды) в память умершего. Пред нею несут в серебряном позолоченном сосуде смесь, называемую *кутья*, состоящую из меду, пшеницы, смоквы и сахару, которую ставят на могилу для искупления грехов. Потом сие кушанье предоставляется священникам и церковно-служителям“. Впереди идет боярыня с кутьею, за нею крайчая, потом четыре девицы-боярышни с ослопными восковыми свечами для освещения пути, за ними — сама царица с посохом в руке, в сопровождении двух боярышен, из которых одна несет над царицею круглый солнечник (зонт). Шествие включает дворовая боярыня. Свечи были носимы только зимою, когда выход совершался ранним утром или вечером. В иных случаях зажигали и носили по шести и более свеч, вероятно в соответствие более значительного для молитвы дня. Солнечник выносился в обыкновенные воскресные и праздничные дни; но употреблялся ли он собственно для

защиты от солнца или выносился только для бóльшего парада — неизвестно. Должно думать, что он служил и вообще для украшения обстановки выхода.

В большие праздники царица выходила в царском наряде, т.е. в короне, а царевны в венцах, под большим солнечником вроде балдахина, который поддерживали по углам за сохи или рукояти четырех боярышни. Такое шествие изображено на рис. 2. Оно открывается девицами-боярышнями, идущими попарно, младшие впереди. Затем под балдахином, который поддерживают тоже боярышни, самые младшие возрастом, впереди шествуют царевны; за ними мама несет на руках десятилетнего царевича, потом идет сама царица; ее сопровождают крайчая и две боярыни. Мейерберг замечает, что царских детей, даже довольно возрастных, всегда носили на руках их мамы. «...» Надо полагать, что Мейерберг снял свои рисунки с уже готового современного изображения царицыных выходов. На это указывает самый характер постановки и начертания фигур, напоминающий рисунки иконописцев. Видеть самолично выход царицы, а тем более рисовать его с натуры он не мог ни в каком случае.

Не менее любопытные подробности о подобных же пеших выходах вообще знатной женщины в старое время мы находим и в народных песнях — былинах, из которых в этом отношении особенно замечательны песни о Дюке Степановиче, княжеском боярском сыне. В одной из них «...» Дюковой матушке предшествуют четыре староматерые старухи, ее служебные женщины: халуйница, рукомойница, постельница, калашница, из которых первую ведет под руку 5 девиц, под другую 5 девиц; вторую по 10 девиц; третью — по 15, четвертую — по 20. Добрыня Никитич, желая встретить Дюкову матушку, каждой из этих прислужниц здоровствовал, думая, что это и есть Дюкова матушка, и получал ответ, что Дюкова матушка позади идет. Все это черты, очень верно и точно рисующие старую русскую действительность княжеского или вообще знатного быта. «...»

Само собою разумеется, что выезды цариц по всей обстановке были еще церемониальнее, потому что тогда экипаж царицы сопровождали, кроме женского чина, и мужчины, как увидим ниже. Притом и состав женского чина значительно увеличивался, особенно если поход или выезд был дальний, замосковский, куда требовалось подымать и большее число служащих дворовых людей, и всякие запасные возки. Очевидцы таких выездов описывают их следующим образом. В 1599—1600 г. проезжало через Москву персидское посольство. Один из его чиновников рассказывает, что ему посчастливилось видеть царя и царицу, когда они пышно и торжественно выезжали из города, везя большую икону и огромный колокол в дар одному монастырю, находящемуся милях в 30 от столицы. «...»

По словам очевидца, это происходило следующим образом: впереди следовал конный отряд числом в 500 человек, одетых в красные кафтаны. Они ехали по трое в ряд, имея луки и стрелы, сабли у пояса и секиры при бедре. Следом за этим отрядом вели царских

коней, назначенных для похода, 30 для царя и наследника и 20 белых для царицыных карет. Потом следовал крестный ход в сопровождении патриарха и высшего духовенства, вероятно по случаю отправляемой в монастырь святыни. Затем следовал сам царь, который левою рукой вел своего двенадцатилетнего сына, а в правой держал свою шапку. Позади него шла царица, поддерживаемая с обеих сторон двумя пожилыми дамами. Ее лицо было густо вымазано притираньями, равно так и лица других дам, согласно обычаю страны; телом она очень тучная, глаза у нее глубоковпалые. Ее сопровождали до шестидесяти очень красивых женщин, — если только притиранья, которые у них считаются делом религиозным, не обманывали моих глаз, замечает очевидец. Вся их одежда была обильно унизана жемчугом, искусно обделанным (т.е. размещенным по низанию). На голове они имели белые шляпы с большими лентами кругом, унизанными жемчугом. “Мы никогда не видавали, чтобы женщины в этой стране носили шляпы, кроме только этих дам”. Вслед за ними везли три огромные кареты; первая (царицына) была запряжена десятью прекрасными белыми лошадьми, по две в ряд; вторая восемью, а третья шестью, в том же порядке. Эти кареты все были очень роскошны и великолепны, как внутри, так и снаружи. За ними ехали в каретах все вельможи. В 1602 г. в Москву приехал принц датский Иоанн — жених царевны Ксении Борисовны Годуновых. Описатель его путешествия говорит, что когда они представлялись в первый раз царю Борису, то “в Кремле никто (из них) не видал ни цариц, ни царевен, ни даже комнатных женщин; тоже не видал их и приехавший жених-принц. Это могло произойти от того, объясняет описатель, что они стояли в потаенном месте и смотрели скрытно на приезд и отъезд принца. 6 октября царская семья выезжала на богомолье в монастырь, должно быть в Новодевичий. Шествие было в следующем порядке. “Сначала ехали впереди до 600 всадников, по трое в ряд... Некоторые из передовых были одеты в золотую парчу в виде брони. Потом вели 25 хорошо убранных коней, на коих попоны были леопардовые шкуры и золотые и серебряные парчи. Дальше ехала крытая красным сукном вызолоченная пустая коляска (царевича Федора), возле которой в несколько рядов следовали всадники, все молодые люди. Затем ехал сам царь в крытой бархатом коляске, запряженной в шесть белых коней. По сторонам шли бояре. Тут бежала большая толпа людей, челобитчиков, державших просьбы и кричавших вслед государю. Просьбы принимались и складывались в красный ящик, который несли за царем. За этим поездом ехал царевич верхом; его сопровождали и коня вели также бояре. С полчаса после отъезда царя следовал выезд царицы. Наперед вели хорошо одетые конюхи 40 прекрасных коней. За ними ехала царица в пышной коляске, запряженной в 10 красивых белых лошадей и такой просторной, что в ней трое могли сидеть рядом. Потом ехала царевна в подобной же коляске в 8 лошадей, совсем закрытой, так что ничего не было в ней видно. Все горничные женщины ехали верхом, как мужчины. На головах у них были белоснежные шляпы, подбитые телесного цвета тафтой, с желтыми шелковыми лентами, с золоты-

ми пуговками и кистями, ниспадавшими на плечи. Лица их были покрыты белыми покрывалами до самого рта; они были в длинных платьях и в желтых сапогах. Каждая ехала на белой лошади, одна возле другой (попарно). Всех их было 24. Около царицына поезда шло 300 человек хорошо одетых стрельцов с белыми посохами (батогами) в руках. За поездом ехали старики, по три в ряд, большею частью с седыми бородами (это дети боярские царицына чина). Шествие заключали бояре и за ними толпа народа. Таким образом в поезде царя и царицы было до 500 лошадей. При возвратном шествии впереди царя ехало до 900 человек верхом, а потом сам царь и возле него царевич, тоже верхами, и притом так, что лошадь царевича шла на шаг впереди царской. Было уже темно, когда приехала царица с царевною, а потому возле них несли до 40 свеч (восковых, ослопных). Их сопровождала большая толпа бояр и очень много стрельцов“. «...» В городских московских выездах экипаж царицы был сопровождается только мужским чином из близких ее людей из дворян и из детей боярских ее чина*.

Годовые богомольные выходы и выезды цариц вызывались главным образом совершением памяти усопших родителей, т.е. вообще родства. Поэтому важнейшее место в ряду дней, освящаемых молитвою и милостынею, были дни поминовений и особенно *родительские* субботы, Мясопустная, Троицкая и Дмитровская. То же значение имела и *Радуница* (вторник Фоминой недели) или вообще христосование с родителями на Святой.

В эти дни царица хаживала на богомолье в кремлевский Вознесенский монастырь, который был усыпальницею царских родителей женского колена, и в Новоспасский монастырь, в котором находились гробы родителей дома Романовых. Это были главные места, где царица, поминаючи родителей, служила непременно панихиды, а иногда слушала и обедню. Иной раз царица обходила в эти дни и другие святяни Кремля, именно Успенский собор — усыпальницу московских святителей, Архангельский собор — усыпальницу царских родителей мужского колена, Чудов монастырь, Троицкое и Кириловское подворья. Точно так же и загородные выходы направлялись иной раз кроме Новоспасского и в девичьи монастыри, Ивановский, Зачатейский, Алексеевский и Новодевичий.

Монастыри и подворья посещались в это время с целью раздать монашествующей братии и особенно сестрам заупокойную милостыню на помин души усопших родителей. На масленице царица ходила в эти храмы и монастыри прощаться, а на Святой — христосоваться.

В обыкновенных выходах, очень редко пешком, а большею частью в экипаже, царицу всегда сопровождали дворовые боярыни, дворовые девицы-боярышни и служащие женщины младшего чина, казначеи, постельницы. Если она выходила с детьми, то в таком случае первое место в числе боярынь занимали мамы. Для обереганья такой выход сопровождали царицыны дети боярские. Когда

* Церемониальный конный отряд женщин, своего рода амазонок, наводит на предположение, не заимствован ли такой обычай царицына выезда у давних цариц Золотой Орды «...».

выходу почему-либо давали большую торжественность, то с царицею выезжали и боярыни *приезжие*. «...»

Главным и неизменным спутником... богомольных выходов царицы во всякое время была милостыня, о которой и сообщают нам свидетельства расходные денежные записки. «...»

Когда не было вместимого дня и совершить выход самой царице было невозможно, в таком случае она посылала деньги на установленную панихиду. «...»

Кроме того царицы неизменно, если бывали вместимые дни, хаживали *править панихиды* по усопшим в дни их кончины. «...»

Церковное поминовение усопших сопровождалось всегда покормом духовного чина, который творил память и совершал службу. «...»

Годовщина памяти справлялась постоянно и неизменно каждый год и церковною службою, и раздачею милостыни и, между прочим, всенародно раздачею нищим калачей или хлебов. В 1674 г. государь указал раздать царице Марье 3 марта (памяти) преставления, а марта 4 для погребения по двуденежному хлебу на милостыню, по приказам, в тюрьмы тюремным сидельцам, в богадельни нищим, да по улицам нищим особо 1000 человекам. Всего в первый день было роздано 2884 хлеба, в том числе в 28 приказах 471, в тюрьмах 933, в двенадцати богадельнях 480 и на 16 улицах 1000. Хлебы развозили на извозничьих телегах.

То же самое, если и не с такою щедростью, происходило в подобных случаях и на царицыной половине. Так, в 1634 г., когда скончался патриарх Филарет Никитич, то по нем в течение сорочин каждый день раздавалась нищим милостыня от царицы. Раздавал на дворе по рукам царицын дворецкий Фед. Степ. Стрешнев. 10 октября на девятины роздано таким образом 3 р., в остальные дни по рублю и в самые сорочкины, т.е. в последний день, 2 р. В 1636 г. с 20 июня, когда скончалась маленькая царевна Софья Мих., по ней во все сорочкины каждый день раздавалась из хором милостыня нищим, причем самая высшая цифра в день была около 8 р., а меньшая 20 алтын.

Все это была поминная милостыня, только комнатная, своеручная, и потому более или менее тайная. Приказная или официальная раздача на помин души духовному чину и нищим простиралась всегда до огромной цифры, особенно если поминки справлялись по самой государыне. По свидетельству Котошихина, на царское погребение выходило на Москве и в городах близко того, что на год собиралось казны или дохода со всего государства. На поминовение царицы выходило против царского в половину; на поминовение царевича против царицына малым чем с убавкою, а на поминки царевны против царского в четвертую долю. Кроме денежной раздачи всегда также справлялись по установленным дням панихидные кормы.

О деяниях царского нищелюбия и по случаю болезней и других домашних невзгод... можем догадываться только по расходным записям о выдаче той или другой суммы на раздачу заключенным и нищим. Так, в 1664 г. октября 19 государь от себя изволил ото-

слать к своему духовнику благовещенскому протопопу Лукьяну на милостинную раздачу 300 р. — сумма очень значительная по тому времени. «...»

Торжественные приемы у царицы, как самого государя, так патриарха и высшего духовного и светского чина ограничивались немногими днями больших годовых праздников, каковы были праздник Рождества Христова, один из прощенных дней масленицы и Светлый день, а также какими-либо особыми торжественными случаями, семейными (свадьба, родины, крестины) и церковными (поставление святителей).

Такие приемы происходили обыкновенно в царицыной Золотой палате. Нам не известно, в каком порядке окружал ее в это время ее дворовой чин или штат, но можем полагать, что порядок был обычный, какой соблюдался и в палатах государя. Так, без всякого сомнения, младшие женские чины царицы стояли церемонно и сидели в сенях перед палатою, а в палате приезжие боярыни сидели, подобно как и бояре у государя, на лавках, по сторонам царицына места. У самого места, подле царицы, стояли боярыни из самых близких к царице особ, как напр. родная ее мать, тетка, сестра... «...»

«...» На Рождество и на Светлой неделе патриарх с духовными властями приходил к царице и к большим царевнам “славить Христа”. Вместе с тем на Светлой неделе он и духовенство подносили государыне и царевнам благословенные образы и кресты и обычные великоденские дары, в числе которых самое видное место занимали, как известно, *золотые* (иностранные червонцы).

В тот же самый день царица принимала у себя и государев светский чин, приходивший челом ударить и здравствовать с праздником. «...»

В 1665 г. марта 26, в самый день Пасхи, царица по случаю последних дней беременности царевичем Симеоном не могла совершить этого торжественного приема, и потому в ее же Золотой палате справлял прием светского мужеского чина одиннадцатилетний царевич Алексей Алексеевич, еще не объявленный народу, и на этот только случай, как бы представляя лицо матери-царицы, явившийся в первый раз пред царским синклитом, разумеется, в присутствии самого государя. Царевич в то время жаловал к руке бояр, окольничих, думных людей и спальников. Это было самое великое жалование, какое только мог государь оказать своему боярству в великий день Светлого праздника. В 1675 г. подобный прием был назначен также в самый день Пасхи, 4 апреля, но по какому-то случаю отменен и происходил на другой день только у государя. В составленной для этого приема записке ему назначался следующий порядок: “Апреля в 4 день были у вел. государя и у г. царицы святейший Иоаким, патриарх московский и всея России, да власти с образы: Павел, митроп. Сарский и Подонский; Филарет, митроп. Нижегородский и Алаторский; Масайло, митроп. Белгородский и Обоянский; Варсунофий, архиеп. Смоленский и Дорогобужский; Иосиф, архиеп. Коломенский и Коширский; Иоаким, епископ Сербословенский и Оршанский; да архимандриты: Чудовской, Ново-

спасский, Симоновский, Андроньевский, Петропавловский, Богоявленский; да игумены: Знаменский, Здвиженский, Златоустовский, Стретенский, Новинский; да протопоп большого (Успенского) собора Кондрат, да ключари, да протодьякон. Того ж числа были у в. государя и у в. государыни царицы в ее Золотой палате челом ударить: царевичи Сибирский Алексей Алексеевич, Касимовский Михаил Васильевич и бояре, окольниковые, думные дворяне, думные дьяки, крайчий, постельничий, стряпчий с ключем и ближние люди. И жаловала государыня царица, при нем, в. государе, к руке святейш. Иоакима патриарха, да властей, да царевичев, да бояр и проч. А были за г. царицею и стояли в Золотой палате верховые боярыни (также родная мать и невестка царицы). А г. царицу держала под руку, как жаловала к руке, ее мать боярыня Анна Левонтьевна Нарышкина. Да у г. царицы были в те поры в приезде ж 15 боярынь разных чинов. Да перед в. государем и перед г. царицею стояли бояре: отец царицы Кир. Пол. Нарышкин да Арт. Серг. Матвеев. А шапку и колпак и посох в. государя держали в те поры ближние люди, 2 человека, по переменкам. А образы указал в. государь принимать у патриарха и у властей, которыми благословляли г. царицу, и у архимандритов боярам, отцу царицы, Нарышкину и Матвееву, и принявши отдавать уставщику Фоме Никифорову“. Неизвестно, приходил ли с поздравлением к царице светский мужской чин, кроме Светлого дня, и в другие праздники. Кажется, это был только один день, в который растворялись двери женского терема ради самого церковного торжества, именно ради его особенного смысла.

В прошлые дни масленицы, именно в сыропустное воскресенье, приходил к царице “прощаться“ патриарх со властями, напр. 3 марта 1633 г., 4 февр. 1649 г.

Необходимо заметить, что пришествие патриарха почти всегда сопровождалось и пришествием самого государя, да едва ли и случался какой-либо торжественный прием у царицы мужского чина не в присутствии государя. Само собою разумеется, что в это же время приходили к царице прощаться и наиболее близкие к ней люди из мужчин, т.е. родной отец, братья и др. В 1675 г., февр. 14, в сыропустное воскресенье царица Наталья Кириловна принимала у себя и жаловала к руке: Нарышкина, своего отца, Матвеева, думн. двор. Лопухина и братьев; также свою мать, тетку, невестку, и весь свой дворовый чин: мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц.

В те же дни происходили и особенные приемы у царицы женского чина, именно приезжих боярынь, которые на Рождестве вместе с поздравлением подносили ей и царевнам *перепечи*, на маслянице собирались к ней прощаться, а на Святой христосоваться, при чем также подносили перепечи.

В это время прощаться и христосоваться с приезжими боярынями приходил к царице и сам государь.

Само собою разумеется, что дворовый домашний чин царицы удостоивался государева лицезрения еще прежде назначаемых торжественных приемов, т.е. в то же время, как государь приходил к

самой царице. Так, в 1675 г. в самый день Пасхи, апреля 4, “пришедши великий государь от обедни из соборной церкви к себе в Верх в хоромы государыни царицы, жаловал к руке и яйцы: мам, да боярыню Анну Левонтьевну Нарышкину, мать царицы, с дочерью Авдотьей Кириловною, сестрою царицы, и с невесткою Прасковьею Нарышкиною, женою Ив. Кир., да верховых боярынь царицы и царевен, и крайчих и казначей всех, и постельниц всех же“.

Нет никакого сомнения, что на Святой царица и большие царевны принимали всех своих дворовых людей до самого младшего чина. Об этом мы можем заключать по поводу такого приема у царевны Ирины Михайловны, к которой, как к своей помещице, в 1675 г. на Святой неделе “приходил с образы из села Покровского протопоп покровской с собором; да за образы же приходил покровской приказчик вместе с протопопом, и старосты, и лучшие крестьяне. И государыня царевна пожаловала их, велела кормить протопопом с собором и прикащика со крестьяны доволи (сколько станет воли) и поить“.

Справляя храмовые праздники у себя на сених, в своих верховых церквах, в которых нередко в присутствии государя служил литургию и сам патриарх, царица, без сомнения, после службы принимала его в своих хоромах, в одно время с государем. Особенно чтим ею был храмовый праздник ее соборной церкви Рождества Богородицы, 8 сентября, праздник так называемого в народе *бабьего лета*. В этот день после молебна царице подносима была патриархом св. вода через патриаршего подьяка, которому царица по обычаю всегда жаловала за это 16 алт. 4 д.

Должно упомянуть также о приемах духовного чина из городов, монастырей и пустынь, который приезжал с праздничною св. водою и с крестом по случаю своих храмовых праздников.

На первой неделе великого поста к царице приходили стряпчие из некоторых, вероятно особо жалуемых монастырей и подносили ей, равно и всем царевнам, по хлебу, по кружке квасу и по блюду капусты, каждой особе от каждого монастыря. Прием делался на внутреннем царском дворе, у постельных хором, на каменной лестнице, что у Мастерской палаты (в нижнем этаже теремного здания). Но не можем сказать определительно, сама ли царица выходила на крыльцо или же подношение происходило, что вероятнее, через ее дворецкого или дьяка и дворовых боярынь. Отчасти мы и выше видели, что монастырскому хлебу и квасу как некоей благодатье придавалось особое значение, и этот благословенный монастырский дар принимался всегда с особым благочестием.

Был также во многих монастырях обычай в дни празднования памяти своих основателей и чудотворцев посылать в царский дом различные местные изделия, изготовляемые руками иноков и приносимые от монастыря, как благословенная святыня памяти чудотворца. Так, Кирилло-Белозерский монастырь, ежегодно на память чудотворца Кирилла отпуская в царский дворец обычную святыню (св. воду, просфору), посылал и казенные поминки: чашки, ложки, посохи двоерожные. Эта посуда и посохи в царском обиходе

известны были под именем *кирилловских*. На царицыну половину монастырь подносил только посуду своего изделия, особенно ложки, которые и употреблялись царицею и детьми, а иные сохранялись до надобности в их казне вместе с золотом и серебром и другими дорогими вещами.

Говоря о царицыных годовых приемах духовного чина упомянем о частных, частных приемах иных подвижников и пустынников, если по какому-либо случаю они появились в Москве и в царском дворце. С порядком такого случайного приема мы можем ознакомиться из одного рассказа в житии прп. Иринарха, затворника ростовского Борисоглебского монастыря. Преподобный жил в Смутное время. Осененный даром пророчества, он приходит однажды в Москву к царю Василию Шуйскому и прежде по обычаю приходит в Успенский собор на молитву. Об этом тотчас уведомили государя, который очень обрадовался посещению старца и повелел прийти ему в Благовещенский собор, на сени дворца. Старец пришел, помолился, благословил царя своим крестом, целовал его царские руки и сказал: “Я, грешный, оставил труды и многолетнее сиденье в затворе для того, чтобы самому возвестить тебе: “видел я град Москву пленную от Литвы и все Российское царство разграбленное, а ты стой о Вере Христове мужеством и храбростью”. При выходе из храма царь Василий взял под руку, а под другую вел преподобного ученик его. Царь позвал его к царице, прося благословить ее. Старец не отрекся, пришел к царице в Палату с царем и благословил ее. Царица по обычаю послала к нему два полотенца. Старец не хотел их взять. Царь упрашивал его взять Бога ради. “Я пришел, — говорил он царю, — не ради даров, а пришел возвестить тебе правду”. Царь потом проводил старца из Палаты до двора и приказал боярину потчевать его и покоить и дать свой царский возок и конюха, чтобы проводить до монастыря.

Старец Иринарх знаменит был в то время великими трудами своего подвижничества. После него осталось его праведных трудов 132 креста медных, иные были весом по полугривенке; семеры труды (вериги) плечные, ужище (цепь) железное 20 сажень, на шею были; пута ножные железные; связни на поясу тяготы пуд; да на руках было на перстах оковцев медных и железных 18; еще палка железная, ею невидимых бесов изгонял.

Обыкновенные праздничные приемы у царицы, разумеется, одного только женского чина, происходили в дни годовых больших праздников: на Рождество Христово, на Велик-день, в Преображение, 6 августа; в день Рождества Богородицы 8 сентября; также в один из прощенных дней масленицы и в дни царских именин, празднование которых по случаю постов или других каких обстоятельств переносилось иногда на другие дни, более удобные для совершения торжества и пиршества. В эти дни к царице во дворец собирались *приезжие боярыни* и приезжали всегда по особому звану и по списку, составляемому предварительно царицыным дворецким. Звать боярынь ходили обыкновенно боярские дети царицына чина, получая всегда от них обычное *званое* деньгами, а в чрезвычайных случа-

ях, на родины и крестины, подарками, более или менее дорогими, смотря по богатству или по особой радости этому зву и угодливости самой боярыни.

Так как по старому и очень древнему обычаю каждый подобный прием во дворце всегда сопровождался обедом, то и у царицы в те же дни каждый раз давались боярыням обычные столы. Известия о таких столах у царицы заносились даже в государеву разрядную книгу, по той причине, что и здесь, между боярынями, встречались лица *разрядные*, которые имели право (и никогда его не покидали) тягаться между собою разрядами, разумеется, соответственно разрядной и родовой чести своих мужей. В официальные разрядные записки вносились однако ж имена только тех боярынь, которые пользовались правом считаться между собою по разрядам. Об остальных разряды вовсе не упоминают. Они даже и вовсе не упоминали никаких имен, когда боярыням бывал указ “сидеть без мест”, и ограничивались отметкою: “у царицы был стол, а у стола были боярыни приезжие и сидели все без мест”. Но это однако ж вовсе не значило, чтобы собиравшиеся на обед боярыни садились за стол без старшинства. Для них у царицы, по-видимому, строго наблюдался свой особый порядок сиденья, который вполне определялся значением всего чина приезжих боярынь. Этот чин заключал в себе главным образом *родство* государево или царицыно, т.е. их родственниц по мужьям или по урождению. Только одни родственные лица и пользовались правом приезда к царице по назначению в известные праздничные или торжественные дни. Неродственные боярыни, хотя бы жены, дочери или вдовы первых чинов, не приглашались во дворец к царицыным столам и могли представляться царице только на ее богомольных выходах, напр., в соборах, когда она выходила туда на Святой христосоваться, на масленице прощаться и т.п., как мы это видели в описании выходов царицы Натальи Кирилловны.

Таким образом, если официальный приезд боярынь к царице, приглашение к ее столу основывались на родстве их с царским домом, то тем же родством, как мы упомянули, определялись и их места за столом. Степень близости по родству к особе государя или к государыне и указывала каждой боярыне это место, и при том родственницы самого царя садились, разумеется, всегда выше родственниц царицы, даже выше ее родной матери, самого ближайшего к ней лица, занимавшего во всех других случаях первое место. Мать государыни за столом дочери-царицы получала обыкновенное рядовое место в родственном старшинстве боярынь, по крайней мере так это значится в списках, по которым назначался их *зов или приезд*.

По этим спискам, напр., за столом царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых, по родственному старшинству с царем, всегда первенствовала боярыня Ульяна Федоровна Романова, жена боярина Ив. Никит. Романова, государева родного дяди, между тем как мать царицы занимала седьмое место... Точно так же боярыни, которые вели счета о своих местах по разрядам, в то же время сидели: Черкасская второю, Шереметьева третьею, а Головина девятою.

В государских разрядах те же столы писаны только с именами боярынь, великих по разрядам. В них в этот раз Черкасская была первую, Шереметьева вторую, а Головина третью; об остальных вовсе не помянуто. Здесь, в разрядах, первенствовала уже не Романова, а Мстиславская, и когда не было Мстиславской, Шуйская; когда не было Шуйской, Черкасская, за нею Шереметева, Трубецкая, Головина, Салтыкова. Однажды, 1634 г. июля 12, в разрядную записку была внесена последнею после Черкасской и Шереметевой и мать царицы, Анна Стрешнева. Для Стрешневых это могло быть находкою.

На обедах царицы Марьи Ильичны Милославских в первое время первенствовала сестра ее Анна Ильична Морозова по той причине, что Морозов был дядька царя Алексея, почитаемый им вместо отца родного. Мать царицы, супруга Ильи Даниловича Милославского, Катерина Федоровна, занимала второе место, когда бывала только с Морозовою, а в числе других боярынь рядовое смотря по старшинству государева родства. «...»

Царицены столы давались обыкновенно в ее Золотой палате, иногда в ее Столовой или в Передней. Обряд столованья был такой же, как и за царскими столами, только столовые должности здесь занимали большею частью женщины и дети. Точно так же для самой царицы накрывался особый стол, а для боярынь один или два по сторонам, у стены палаты. У ее стола стояла всегда боярыня кравчая и с нею другая боярыня в помощь. Они принимали и подавали ествы. Но за торжественными столами должности кравчих исполняли ближайшие к царице лица из мужчин. Так, за столами царицы Наталии Кирилловны кроме боярынь у стола стояли и принимали ествы... ее отец Кир. Пол. Нарышкин и Арт. Серг. Матвеев. За поставцем царицы сидел и распоряжался отпуском кушанья ее дворецкий, а с ним путные ключники и стряпчие со всех столовых дворцов. К столу блюда и чаши приносили и есть ставили и пить носили царицены стольники, малолетние дворянские дети, меньше возрастом. Они же носили напитки и кушанья и в другие столы боярыням; средние возрастом стольничали особам более почетным, постарше — остальным боярыням. В столы смотрели, т.е. потчевали боярынь дворовые боярыни меньших чинов.

Из духовных лиц за столом царицы присутствовал, вероятно, или ее духовник, или крестовый ее священник, так как и здесь совершался тоже обычный чин возношения хлеба Пресвятыя Богородицы и отправлялась “чаша Пречистыя”.

В обыкновенные дни, когда не было праздничных или других каких торжественных столов, которые по обычаю призывали государя делать трапезу и пировать в кругу боярства и всех других чинов, он всегда кушал вместе с царицею. Нет никакого основания полагать, как иные даже утверждают, что государь кушал большею частью один, порознь с супругою. Их могли разлучать лишь упомянутые торжества, на которых женщина вообще не присутствовала, и еще уставленные церковью дни поста и молитвы. В такие дни на обеих половинах царского дворца устав церкви соблюдался очень строго. Но и об этих днях мы не можем ничего сказать определи-

тельного, порознь или вместе было кушанье, ибо свидетельств о повседневной их жизни встречаем вообще очень мало, а о повседневных столах и вовсе их не имеем. Знаем только, что повседневные столы бывали иногда в комнатах государя, иногда в хоромах царицы. И в том и в другом случае они не были открыты для боярского и дворянского общества. Котошихин свидетельствует, что когда случится царице кушать в покоях его царских с ним вместе, а которому боярину, окольникову, думному человеку случится прийти с каким делом на доклад, и они сами входить без указа не смеют, разве велит царь, или ожидают, когда он откушает. Так же как царь кушает у царицы и в то время бояре и ближние люди бывают немногие, человека два и много три, именно самые близкие лица по родству, напр., отец царицы или дядька государев. Столовые должности в это время были занимаемы обычными столовыми людьми государя и царицы: у государя стоял его кравчий, у царицы ее боярыня кравчая, стольничали обыкновенно царицыны стольники. Присутствовали ли за этими домашними столами и другие члены царской семьи, не известно; но по всему вероятно, эти столы отличались семейным характером и потому по крайней мере в известные дни здесь бывали также и дети, царевичи и царевны, особенно возрастные, и разумеется по преимуществу царицын род. Иногда государь праздновал детские именины общим обедом; так в 1633 г. июля 25 в именины трехлетней царевны Анны он кушал в царицыных хоромах. «...»

Должно упомянуть, что и от царицына стола, подобно тому, как от стола государева, всегда рассылались обычные *подачи* всем близким людям, родственникам из мужчин, приезжим боярыням и вообще каждому лицу, которому желали тем выразить особое внимание и расположение, и преимущественно, конечно, высшим духовным властям, патриарху, митрополитам. «...»

Приемы сколько-нибудь равных по значению и положению лиц происходили у царицы тем же порядком, как и у государя приемы иноземных послов, вселенских патриархов и иноземных особ царского достоинства. Только у царицы *чиновные* должности исполняли вместо мужчин тоже женщины-боярыни.

В 1536 г. в январе у вдовствующей правительницы великой княгини Елены Васильевны (Глинских) была на приезде Шигалеева царица Фатма Салтан. Великая княгиня велела ее встретить у саней Аграфене, жене Волынского, да с нею молодым боярыням. Как царица взшла среди лестницы и тут ее встретили боярыня Аграфена Челяднина, жена Вас. Андр. Челядина, а с нею также молодые боярыни. Как вошла царица в сени перед палату Лазоревскую, и великая государыня пожаловала и почтила царицу, встретила ее сама в санях перед палатою и с нею *карашевалась* и пошла с нею в палату. Войдя в палату, они уселись на места. Царицу посадили с левой руки от великой княгини. В то же время вошел в палату и маленький государь Иван Васильевич. Царица против его встала и с места своего сступила. Вел. князь молвил царице: *табуг салам!* и с нею *карашевался*, а потом сел на своем месте, у матери с левой же руки и справа от царицы, т.е. между матерью и царицею. По

обе стороны у него стояли бояре, а у вел. княгини-матери стояли боярыни: княгиня Настасья, племянница отца государева, жена кн. Фед. Мих. Мстиславского, Елена Челяднина, жена Ивана Андреевича, Аграфена Челяднина, жена Василья Андреевича, Аграфена Вольтинская и иные многие боярыни.

И ела того дни Фатма Салтан царица у вел. государыни в той же палате. А за столом у вел. княгини сидела царица с правой руки в угле; а с левой руки у вел. княгини сидела в лавке княгиня Настасья Мстиславская, а под нею сидела Елена Челяднина, да Аграфена Челяднина и иные боярыни. А в скамье сидела жена кн. Дм. Фед. Бельского княгиня Марфа, да под нею Аграфена Вольтинская и иные боярыни. А в кравчих был у вел. государыни Ив. Ив. Челяднин, а у царицы был кравчий Вас. Репнин; а стольники и чашники у вел. княгини за столом были.

А после стола вел. государыня подала чашу царице, да туто ее и дарила, да и отпустила ее на подворье и велела боярыням проводить ее по тому же, как ее встречали. «...»

По старому обычаю новопоставляемые святители, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, на другой или на третий день своего посвящения приходили к государю и к царице с благословением и с дарами. Этот торжественный прием совершался большею частью в царицыной Золотой палате. Епископ Елассонский Арсений, присутствовавший при таком приеме с Константинопольским патриархом Иеремиею в январе 1589 г., когда был поставлен в Москве первый патриарх Иов, оставил подробное описание церемонии, которое для нас может служить достаточною характеристикою и других подобных приемов. После своего постановления вновь избранный патриарх Иов по обычаю давал обед государю и высокому гостю, вселенскому патриарху и всему приезжему греческому духовенству. В тот же день назначен был новопоставленному Иову прием с дарами у государя и у царицы Ирины Федоровны (Годуновых), супруги царя Федора Ивановича. Пред самым обедом, говорит Арсений, когда после обычных встречных церемоний все сидели по местам, оба патриарха получили приглашение явиться во дворец к государю и тотчас туда отправились. Когда они вошли в царскую палату, государь, сидевший там с боярами, встал с трона, благословился у Константинопольского патриарха и потом все сели по местам. Тогда казначей стал являть государю патриаршские дары: Благословение — образ Богородицы, чеканный, обложен золотом, с яхонты, пелена атласная сажена жемчугом; даров: кубок двойной серебряный, бархат, камки, сорок соболей и 10 золотых угорских. Такие же дары были принесены и для царицы. Тут выступил на средину палаты боярин, присланный от царицы. Обнажив голову, он с низким поклоном и громким голосом изложил ее просьбу патриархам, чтобы они пришли ее благословить. Государь тотчас встал и отправился с патриархом и со всем духовенством в покои своей супруги. Сперва шел государь, за ним оба патриарха, потом духовные власти по чину и весь царский синклит. В хоромх царицы все шествующие, не исключая и государя, должны были подождать во второй комнате, т.е. в Передней палате. Здесь нахо-

дилось множество женщин и девиц, служивших царице. Все они от головы до ног были одеты в белое подобное снегу платье безо всякого украшения или убранства.

В этой палате гости видели образа св. угодников в богатых окладах, осыпанных драгоценными камнями. Немного погодя отворилась золотая дверь, и от имени царицы другой боярин пригласил патриархов войти со всем собором. Тогда вошли только государь, патриарх с провожавшими их епископами, брат царицы, Борис Годунов, и более никого.

“Тихо поднялась царица со своего престола при виде патриархов и встретила их посреди палаты, смиренно прося благословения. Вселенский святитель, осенив ее молитвенно большим крестом, воззвал: “Радуйся, благоверная и боголюбезная в царицах Ирина, востока и запада и всяя Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной!” Затем патриарх московский, митрополиты, архиепископы, епископы, каждый по чину, благословляли царицу и говорили ей подобные же приветственные речи.

Она также ответила речью вселенскому патриарху: “Великий господин, святейший Иеремия цареградский и вселенский, старейший между патриархами! Многое благодарение приношу святине твоей за подвиг, какой подъял на пути странствия в нашу державу, дабы и нам даровать утешение видеть священную главу твою, уважаемую паче всех в христианстве православном, от коей и мы восприяли благодать ныне и за сие воздаем хвалу Всемогущему Богу и Пресвятой Его Матери и всем святым, молитвами коих сподобились такой неизреченной радости. Воистину ничто не могло быть честнее и достохвалнее пришествия твоего, которое принесло столь великое украшение церкви Российской, ибо отныне возвеличением достоинства ее митрополитов в сан патриарший умножилась слава всего царства по вселенной. Сего искони усердно желали прародители наши, христолюбивые государи, великие князья и цари, и не сподобились видеть исполнения своих благочестивых желаний; и ныне на сей их вожденный конец через многие подвиги дальнего странствия привел во дни нашей державы твою святиню Всемогущий Бог“. После такой речи, прекрасной и складной, по отзыву Арсения, царица, отступив несколько, стала подле своего места, между своим супругом царем Федором, стоявшим справа, и родным братом, боярином Годуновым, стоявшим слева. Поодаль стояли боярны, все в белом одеянии, с скрещенными на груди руками и потупив глаза в землю. Царица подозвала одну из них, взяла из ее рук драгоценную золотую чашу, украшенную превосходными агатами, которая была наполнена жемчугом (в ней было 6000 жемчужин), и поднося ее патриарху, просила его принять этот дар. Потом она села на царское место, а за нею присели и все гости.

Арсений говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления, так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. “На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных камней и жемчугами была разделена на 12 равных башенок, по числу 12 апостолов“. Это был собственно: “*венец с городы*“, т.е. с зубцами. “В короне нахо-

дилось множество карбункулов, алмазов, топазов и круглых жемчугов (гурмыцких); а кругом она была унизана большими аметистами и сапфирами. Кроме того с обеих сторон ниспадали тройные длинные цепи (рясы), которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми, столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки. Чужестранцы почувствовали в себе род *тихого ужаса* при виде такой пышности и великолепия. Одежда государыни, рукава которой достигали пальцев, была сделана с редким искусством из толстой шелковой материи с многими изящными украшениями. Она по (краям была) искусно усажена драгоценными жемчугами и посреди украшений блистали превосходные драгоценные камни и яркие карбункулы. Сверх этой одежды на царице были мантия, другая, с долгими рукавами, весьма тонкой материи, хотя с виду очень простая и безыскусственная по множеству сапфиров, алмазов и драгоценных камней всякого рода, которыми она была покрыта (по краям).

Такою же пышностью отличались башмаки, цепь (монисто) и диадема (ожерелье) царицы. Арсений восклицает при этом, что если бы у него было и десять языков, то он все-таки не мог бы рассказать о всех виденных им богатствах у царицы. “И все это, — присовокупляет он, — видели мы собственными глазами. Малейшей части этого великолепия достаточно было бы для украшения десяти государей”.

“Не менее сильное впечатление произвело на иноземцев и великолепное убранство палаты, свод которой, казалось, был облит золотом, украшен драгоценными изображениями и сделан до того искусным образом, что в нем был какой-то чудный отголосок (звонко отзывались в нем тихие слова). На нем видны были многие роскошные украшения, деревья, виноградные кисти, родосские ягоды и разного рода птицы. Посредине (свода) находился лев, который в пасти держал кольцом свитого змея, от которого спускались вниз многие художественно сделанные и богато украшенные подсвечники. Стены кругом украшены были драгоценною мусиею (иконописью, стенописью) с изображением деяний святых и ликов ангельских, мучеников, иерархов, а над великолепным престолом (местом царицы) ярко горела камнями драгими большая икона Пречистой Девы с Предвечным младенцем на руках и вокруг его лики св. угодников, в золотых венцах, по коим рассыпаны жемчуг и яхонты и сапфиры”. Пол был устлан персидскими коврами, тканями шелком и золотом, на которых искусно были изображены охотники и звери всякого рода.

Так как царица просила патриарха дать благословение служившим при ней женщинам и девицам, то все они, одна за другою, благоговейно подходили к патриарху, принимали от него благословение, целовали у него руку и подносили ему каждая в дар по прекрасной ширинке (вероятно собственного вышиванья). Тогда были явлены царице дары новопоставленного патриарха Иова.

После того, по мановению государя, выступил вперед на средину палаты величавый почтенных лет боярин (Дмитрий Иванович

Годунов) и явил обоим патриархам новые дары от царицы: по серебряному кубку и бархату черному, по две камки, по две объяри и по два атласа, по сороку соболей и по 10 р. денег. Являя дары, он сказал патриарху: “Великий господин, святейший Иеремия царградский и вселенский! Се тебе милостивое жалование царское, да молишь усердно Господа за великую государыню-царицу и великую княгиню Ирину и за многолетие великого государя и о их *чадородии*“. Патриарх благословил царицу и отвечал следующей речью: “Господь Бог да будет с тобою и все Святые! Всемогущий Бог, разделивший Чермное море и проведший Израиля по суху, источивший из камене воду, напоивший его и проведший его в землю обетованную; Бог, иже Архангелу Гавриилу повеле Непорочной Деве Марии благовестити зачатие, той Препоблагословенной Деве, юже достойно есть называти сосудом, в нем же хранися манна, (называти) святою горою и несгораемою купиною, в ней же по рождестве своем живяше Христос, искупивший племя адамле из ада, — сей Бог да пошлет на мя глад и нищету, дондеже даст тебе достойный царского наследия плод“.

Таким же образом были явлены дары московскому патриарху, греческому митрополиту Иерофею монемвасийскому и архиепископу Арсению елассонскому, описателю этой церемонии. Точно так же и к ним была обращена просьба молить Бога о здравии царицы и государя и о даровании им наследника. Все громким голосом молили Бога об исполнении этого желания.

Когда церемония даров совершилась, царица, печальная о своем неплодии, обратилась к патриарху и прочему духовенству со скорбною речью усерднее молить Бога о даровании ей и царству наследника. Вздохнув из глубины сердца и с горькими слезами она говорила: “О великий господин, святейший Иеремия вселенский, отец отцов, и ты, святейший Иов, патриарх Московский и всея Руси, и вы все, просвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь освященный собор! Бога Всемогущего блаженные служители, сподобившиеся большою милости и благодати у Господа и Его Пречистой Матери и всех святых от века угодивших Богу; и к ним непрестанно возсылающие молитвы! Молю вас и заклинаю из глубины души моей и с стенанием сокрушенного сердца, всеми силами усердно молитесь Господа за великого государя и за меня, меньшую из дочерей ваших, дабы благоприятно внял молитву вашу и даровал нам *чадородие*, и благословенного наследника сего великого царства, владимирского и московского и всея России“. Горестная речь царицы растрогала всех предстоявших; все плакали и единодушно молили об исполнении ее желания. Патриархи же со всем собором единодушно возгласили: “Бог над всеми суший и Его небесная Мать и великий Предтеча и все святые, да призрят слезы твои, благоверная царица, и наши о тебе стенания и да исполнят желания твоего сердца. Творец всяческих, на все призирающей милостивым оком, исполнивший всеми благами земными сие великое царство, да дарует ему и наследника свыше всех сих благ“.

Государь и царица проводили патриархов до золотой двери и приняли от них еще благословение. «...»

Царица и царевны принимали у себя патриарха, когда поселялись на новоселье в новых хоромах. Патриарх при этом благословлял их иконою и подносил хлеб и соль в серебряной солонке, а также и дары: обычные сорок соболей и кусок золотой и шелковой ткани. Впрочем, дары, большею частью, с благодарным отказом принимаемы не были и возвращались снова в патриаршую домовую казну. Впоследствии патриарх приходил благословлять такое новоселье только с иконою и с хлебом и солью.

Повседневные, комнатные приемы у царицы, равно как у больших царевен, ограничивались, разумеется, только лицами женского пола или родственными, самыми близкими, свойственными людьми из мужчин.

Котошихин рассказывает, однако ж, что бояре, думные и ближние люди и их дети в дни своего рождения (собственно именин) приезжали обыкновенно челом ударить царице и подносили ей свои *именинные калачи*, потом ходили с именинными калачами к царевичам и к царевнам. Царица в своей передней комнате принимала их лично, спрашивала о здоровье, поздравляла именинника и приказывала принять от него именинный калач, причем именинник получал иной раз что-либо в подарок. «...» Могло также быть, что и маленькие царевичи принимали лично своих сверстников по возрасту, маленьких именинников, детей бояр, думных и ближних людей. Но едва ли допускались к ним посторонние старшие именинники кроме их приставников и приближенных по родству людей. О приеме бояр у царевен Котошихин замечает: “А у царевен у самих (именинники) не бывают, кроме свойственных бояр”. Стало быть здесь прием был заочный. Можно полагать, что и царица точно так же принимала заочно всех бояр и других сановников, которые не были ей близки по родству или по службе. «...»

Само собою разумеется, что подобного исключения не было для лиц женского пола. Боярские жены и дочери высшего, т.е. всего думного и ближнего чина, пользовались всегда личным приемом царицы и царевен. В дни своих именин они представлялись государыне и царевнам со своими именинными калачами; их также спрашивали о здоровье, поздравляли и повелевали принять подносимый калач-именинник.

Как в эти праздничные, так и в обыкновенные приезды к царице за каким-либо делом по ее вызову или с собственною просьбою, боярыни приезжали зимою в каптанах (крытых возках), а летом в колымагах и рыдванах, ...“а на двор не въезжали, и приходя к царицыным или к царевниным покоям посылали боярынь сказати о своем приезде царице или царевнам”. Без сомнения прежде они посылали своих боярских боярынь объявить о своем приезде дворовой боярыне, которая уже и докладывала об этом царице. Таким же образом шел доклад и царевнам через их комнатных боярынь. Пришед к царице или к царевнам, боярыни кланялись им в землю, челом били; затем государыни их спрашивали о здоровье. После этой обычной формы приема спрашивали и о деле, зачем приехали?

В иных случаях царица принимала даже и крестьянок, по крайней мере, своих же дворовых вотчин. Так, в 1635 г. мая 29, к царице Евдокии Лукьяновне в селе Рубцове (Покровском) приходили челом ударить *с пирогом* села Рубцова рыбной слободки крестьянки, семь человек, при чем царица пожаловала им по полтине.

При обозрении повседневной комнатной жизни цариц мы должны наметить только общие главные черты с помощью прямых и положительных свидетельств, предоставляя самому читателю рисовать себе живую и более или менее полную картину такой жизни из тех, во множестве рассеянных в этой же книге мелких черточек, какие он сам может проследить, если употребит на это необходимое внимание. «...» Мы ограничиваем себя только одною чернвою работою и в настоящем случае указываем лишь основные положения такой жизни.

После обычного утреннего моления у крестов к царице приходил от государя ближний человек спросить о здоровье, как почивала? Такой спрос происходил однако ж чрез комнатных боярынь. Одна из них, по преимуществу крайчей, принимала посланного и докладывала об этом царице, передавая тем же путем и ее ответ. Да и все другие сношения царствующих супругов всегда происходили посредством таких же “обсылок”, чрез боярынь со стороны царицы и чрез ближних людей со стороны государя. Весьма понятно, что эти обсылки вверялись людям самым приближенным и испытанным или долгою службою, или особыми родственными отношениями. Обсылки, однако ж, происходили только в те дни, когда супруги почивали особо. Тогда после обсылки государь и сам приходил к царице здороваться, и так как эти дни бывали нередко богомольные, постные или праздничные, то супруги выходили вместе к заутрене или к ранней обедне в одну из сенных церквей. Когда же царице не вместило было идти в церковь, то царь приходил к нею здороваться, отслушав один церковную службу.

В повседневной царицной жизни, как это было и везде, утро, т.е. все время до обеда, посвящалось, конечно, разного рода занятиям. Здесь важнейшим каждодневным предметом для размышлений, обсуждений и забот были женские рукоделья, заготовление разнообразных частей наряда и различной церковной “круты”, или одежды. Вся такая рукодельная деятельность царицной жизни сосредоточивалась главным образом в светлице, обозрение которой мы помещаем ниже. Это было отдельное и обширное рукодельное заведение, исполнявшее всякие подобные работы, даже и на половину государя. Немало требовалось времени только для того, чтобы пересмотреть взносимый для шитья и других рукоделий различных узорочный товар, разные дорогие и легкие ткани, шелки, золото и серебро, жемчуги, камни и т.п., а вместе с тем осмотреть, полюбоваться изделиями мастериц, предметами своего или детского убора и наряда; указать, чего желается, что нужно, как исправить, переделать или как пополнить работу. Если сам государь проводил много времени в осмотре работ своей Оружейной палаты, иконописных, живописных, резных костяных и деревянных, золотых и се-

ребряных, и собственно оружейных, то еще больше времени проводила и царица в осмотре работ своей светлицы. Здесь такой осмотр имел еще большее значение по той причине, что царица была сама рукодельницей тех же самых предметов. Она нередко по обещанию сама вышивала шелками, золотом и серебром и низала жемчугом и камнями какую-либо утварь в домовые свои церкви, в соборы или в монастыри к особо чтимым угодникам. Точно так же она сама работала и некоторые предметы из платья государю и детям, напр., ожерелья или воротники к сорочкам и кафтанам, как и самые сорочки, обыкновенно вышиваемые шелками и золотом, также ширинки или платки, полотенца и т.п. Детям у царицы в хоромашились даже куклы, для чего отпускались туда нередко лоскутки и остатки разных дорогих и легких шелковых и золотых тканей. Мы не упоминаем о детском белье, которое большею частью тоже, по всему вероятно, изготовлялось в комнатах царицы, особенно для маленьких детей.

Мы увидим ниже, что так называемую *белую хамовную* или *полотняную казну* заготавливали по годовому окладу несколько особых слобод. Все это заготовление вместе с мастерами и мастерицами находилось в заведывании царицына Приказа Мастерской палаты. Обыкновенно царицы сами пересматривали доставляемые полотна, скатерти, убрусы, пряжу и т.п. предметы льняного дела, сами сортировали их, иное оставляя для собственного употребления, иное назначая для даров и даже на продажу, что залежалось или не слишком чисто было сделано. «...»

Иной раз таким же образом царица пересматривала свой гардероб, назначая поношенное или залежавшееся в отставку, именно “в отдачу”, т.е. в дар кому-либо из своих родственниц или из своих комнатных, а также на перешивку детям. Родственниц своих царица одевала по большей части если не с собственного плеча, то всегда из своей казны и из своей Мастерской палаты готовым платьем, постройка которого, без сомнения, происходила при ее же непосредственных хлопотах и заботах...

В известное время царица принимала доклады о разных делах по ведомству своего Постельного приказа и своего дворцового обихода от дворецкого или от дьяка, а большею частью через своих дворовых боярынь и преимущественно от боярыни крайчей. Главные дела касались хозяйского и служебного устройства различных частей царицына обихода и всего ее чина. Она утверждала, конечно, не без совета с государем, определение и увольнение всех служителей своего двора; *приказывала* те или другие расходы, выдачи, раздачи, покупки, посылки, подачи и т.п. По всему вероятно, ее же решениям подчинялась и ее *Судимая* или *Судная* палата, где ее царицын чин, когда его дела касались каких-либо дворцовых случаев и обстоятельств, особенно по отношению к каким-либо беспорядкам, производимым во дворце, или, еще важнее, к посягательству нанести беспокойство государеву семейству, какой-либо вред его здоровью или чем-либо оскорбить его. Подобных дел случалось немало вследствие неимоверной дворцовой подозрительности и частных изветов или доносов.

Впрочем в дневном деле у царицы преобладало всегда дело милосердия, дело помощи бедным, нуждающимся. Мы видели, с какою щедростью раздаваема была царицею милостыня нищим во время богомольных выходов и вообще во время богомольных дней. Но и кроме нищих множество бедных людей, преимущественно женщин же, и главным образом из служилого только сословия пользовались всегдашним доступом к милосердию царицы, подавая ей через дьяка особые челобитные о своих нуждах и приурочивая эту подачу челобитных большею частью к праздничным и особенно к именованным царским дням. По всему вероятно челобитные читались самой царице. В них вдовы и сироты рассказывали свою горькую нужду и бедственное положение: кто по сиротству шел в монастырь и просил на “постриганье”; кто просто извещал, что “судом Божиим, государыня, нет у меня ни отца ни матери, вступиться в бедность мою некому”; кто просил окупить с правежу: “стою я бедная в напрасне в 8 рублях на правеже (в долгу), а окупиться мне нечем”; кто писал: “сговорила я дочеришку свою замуж, а выдать мне на срок после Крещенья в первое воскресенье, а выдать мне нечем”; или: “а детишки мои часовники повбучили, а псалтыри купить нечем, прикажи на псалтыри дати, чем тебе, государыня, Бог известит”; или: “мужа моего убили на вашей службе под Каширою, у Троицы на Белых Песках, за вас, государей, голову положил и кровь пролил. Пожалуй меня, бедовую вдову, за мужа моего службу и за кровь, вели меня постричь в свое богомолье, в Вознесенский монастырь; а я стара и увечна и скитаюсь меж двор, чтоб я, бедная, волочась меж двор, не погибла; а я, государыня, нага и боса”. Очень часто челобитчики изъясняли только, что скитаются меж двор, помирают голодною смертью, вконец погибают, а поить и кормить, и одеть и обуть некому, роду и племени нет, помощника себе никого не имеют, кроме Бога и “тебя, великой государыни”. «...»

Полтина была жалованьем средним; большею частью назначалась гривна, а иногда алтыны, один, два и больше. В особенно уважительных случаях царица жаловала и рубли. Само собою разумеется, что не все эти выдачи назначались самою царицею. Должно полагать, что вообще их разрешал ее дворецкий или дьяк, представляя царице только общий доклад и обращая ее внимание только на какие-либо исключительные и заслуживающие особого милосердия случаи.

Иногда до царицы доходили и челобитные из тюрем, от заключенных тюремных сидельцев. Однажды царице Евдокии Лукьяновне было подано следующее челобитие: “Бьют челом сироты ваши государские, бедные заключенные из темницы, из Розряду, из казенки, Литва, Татарова, Немцы и всякия людишка 27 человек. Помираем, государыня великая, бедные заключенные с голоду; ни милости царской, ни милости нам, бедным николи не идет. Смилуйся, государыня, для своего многолетнего здоровья и своих благородных христоролюбивых чад, вели нас, государыня, заключенных, напоить и накормить”.

Был еще в царицыном быту особый круг забот, которому также отдалось достаточно времени, занятий и соображений. Для своего дворового и в особенности для своего дворового женского чина, как и для всех своих многочисленных родичей, царица являлась сердобольною, попечительною матерью, которая должна была устроить жизнь и судьбу каждого из своих домочадцев. Таковы были требования давнего обычая, ставшего законом жизни. По этому закону, как известно, каждый домовладыка почитал своею прямою обязанностью заботиться о чадах дома как о собственных детях, малых воспитать и научить, а главное возрастных сочетать браком... Так как царский быт в своих основах и общих началах ничем не отличался от обыкновенного вотчиннического или помещичьего быта, то и здесь очень естественно встретить обычные попечения о своих домочадцах, какие прилагал каждый помещик о своих крепостных. Вот почему все девицы всякого чина, жившие во дворе царицы, всегда из двора же были выдаваемы замуж за добрых дворовых же или сторонних людей по одобрению самой царицы. В расходных записках ее Постельного приказа нередко встречаются свидетельства или о постройке свадебного наряда для "верховых девок", или о выдаче им на свадьбу денег. Есть указание, что царица сама делала смотрины невест для кого-либо из дворовых женихов, а стало быть, уже непременно сама же смотрела и женихов для дворовых девиц, разумеется при соблюдении необходимых условий своего замкнутого быта, т.е. всегда потаенно и скрыто. В 1653 г. был такой случай: отставленный дворцовой сторож Иван Девуля пришел в Вознесенский монастырь к одной из стариц, именно к келарю, и просил, чтоб она "у себя в монастыре поискала девки, которая б была летна, хотя и увечна и нага и боса, а жениха, сказал, ты сама знаешь, зовут Фролом, Минин, малоумен". Затем он просил о невесте и у других монастырских женщин. Невеста вскоре была указана, сиротинка, жившая в келье у старицы Афросиньи. Желая устроить свадьбу и не надеясь, вероятно, выманить у старицы невесту для своего Фрола, Девуля схитрил и обманул ее следующим образом. Он пришел к ней будто именем царицы, сказал царицыню жалованное слово, что по челобитью царицы от ее, царицына, крестового дьячка, хочет этот дьячок тое девку замуж взять; прибавив, что государыня наперед тое девки досмотрится, а для того провести б ее мимо государыни в такое-то число, в 5 часу дни, а государыня де будет в то время гулять в Царя-борисовской палате; и ту девку провести по улице мимо той палаты. Старица отказывалась, говорила, что у девки замуж и мысли нет и не хочет, что она нага и боса, и платье ничего нет. Девуля объяснил, что платье все пожалует государыня царица: и полотна, и все даст с Верху для ради своего крестового дьяка.

В назначенный день Девуля вместе с избранною свахою явился в келью к старице за невестою, чтоб вести ее к смотренью пред государыню, мимо Царя-борисовской палаты, и принес с собою для невесты доброе платье. Старица, не познав их лукавства и обману, нарядив девку к осмотренью, отпустила с ними. А они отвели невесту прямо в церковь и там обвенчали ее с Фролом. Само собою ра-

зумеется, что обмануть подобным образом возможно было лишь в таком случае, когда всем было известно, что во дворце у царицы такие смотрины и такие сватовства — дело обычное, бывалое. Небывалому делу никто бы и не поверил. Здесь же именем царицы совершался обман даже пред лицом игуменьи, как о том жаловалась впоследствии самой же царице старица Евфросинья...

Во дворце, при хоромах царицы жило много девочек-сиротинок, которые попадали туда, разумеется, при посредстве верховых боярынь или по каким-либо случаям избирались и прямо самую царицею. Из таких случаев особенно часто встречалось крещение в православную веру иноземок. Царица всегда принимала самое усердное участие в этих событиях, щедро награждала новокрещенных и после всегда им покровительствовала; детей же, и именно сирот, почти всегда принимала в свои хоромы. Но случалось, что девочки поступали к ней и от живых родителей. Так, в 1655 г. была взята в Верх, от отца и от матери, девочка-иноземка еврейской породы, крещена и воспитана во дворце, а потом выдана с Верху же замуж за певчего дьяка.

Царица часто крестила немок, татарок, калмычек, арапов; не известно только, бывала ли она сама восприемницею этих новокрещенных или отдавала кому из верховых боярынь, но крещаемым из дворца всегда из царицыной казны выдавалось платье и деньги. «...»

При царице Евдокии Лукьяновне одна из новокрещенных немок, девка Авдотья Капитонова, находилась даже в собственной комнате царицы, была ею очень любима и исполняла все комнатные ближайшие ее поручения и приказания. Замечательно, что через 18 дней после кончины царицы она была выслана из дворца в свое поместье, вероятно, прежде ей пожалованное. 5 сентября 1645 г. государь указал сослать с Москвы в Нижний Новгород “девку Авдотью Капитонову, да сестер ее вдову Авдотью же с детьми на своих государевых подводах, а из Нижнего указал государь их сослать в Нижегородский уезд в их поместье деревню Летнюю до своего государева указу. Для береженья с ними послан сын боярский. В городе велено их принять воеводе, а приняв сослать в деревню и из деревни никуда выезжать им до государева указу не велеть, в обидах от всяких людей оберегать и в обиду людей их и крестьян никому не давать; а будет кто из дворян или из детей боярских на той девке Авдотье жениться похочет и тое девку велеть выдать замуж сестре ее вдове Авдотье, из воли, без всякого опасенья, а что у девки государева жалованья поместья и вотчины и тем поместьем и вотчинами государь пожалует жениха ее“. Она была государскою крестницею.

Очень естественно, что еще большие заботы царица полагала об устройстве судьбы своих бедных родственниц, которые девицами жили обыкновенно в Верху на ее попечении. Они составляли особую степень верховых царицыных чинов под именем верховых девиц боярышен. В этот чин царица определяла по большей части сирот своего родства, а иногда брала девиц и у родителей, по бедности не имевших средства дать им воспитание, а главным образом

не имевших средств выдать их замуж. Таким девицам царицын Верх всегда являлся надежной опорой и заботливым покровителем. До возраста они стольничали у малолетних царевен, служили им в их детских играх и жили в их же комнатах. На возрасте царица выдавала их замуж за добрых людей, в которых, конечно, недостатка никогда не было, ибо женитьба на верховой боярышне всегда сопровождалась значительными выгодами для жениха и в отношении приданого, и в отношении службы. “А иных девиц и вдов небогатых, — говорит Котошихин, — царица и царевны от себя с двора выдают замуж за стольников, за стряпчих и за дворян, и за дьяков и жильцов, своим государским наделением, также и вотчины дают многие или на вотчины деньгами из царские казны, да их же отпускают по воеводствам, и те люди воеводствами побогатеют”.

Однако ж чтобы такое приданое, как и сама невеста, действительно попадали в руки доброму человеку, необходимо было наводить об избираемых женихах надлежащие справки, необходимо было подробно узнавать их житье-бытье, что, по всему вероятию, и делалось чрез верховых и приезжих боярынь, а равно и чрез ближних людей государя, конечно при посредстве тех же боярынь. Нельзя также сомневаться, что принимая особенное участие в судьбе своих верховых боярышен, царица и самолично досматривала их женихов скрыто и ни для кого не видимо, как подобало в царицыном быту.

В иных случаях делать подобные справки и досмотры было трудно, и именно относительно лиц, которые по службе часто бывали во дворце, как напр., стольники, стряпчие, жильцы. К тому же в хоромых царицы и вообще во дворце всегда очень хорошо было известно житье-бытье каждого из бояр и каждого из значительных дворян по той простой причине, что царь с царицею были по своим отношениям ко всей служебной среде прямыми вотчинниками-домовладыками и почитали все боярское и вообще дворянское общество Москвы за одну семью своих домочадцев. В этой среде царь значил то же, что старинный помещик в среде своих дворовых... Очень естественно, что особенно важные и видные домашние дела каждого члена этой среды всегда были на виду и в царском дворце, где с родительским попечением и усердным опекунством непрестанно наблюдали за всеми действиями своих домочадцев. Во дворце бывало известно все, что говорили на площади, на пирах, даже в отдаленных походах. Об этом свидетельствует в своей переписке сам царь Алексей Михайлович. И само собою разумеется, что раскрытие домашних дел служилого и приближенного общества всего любопытнее было для домашней же среды дворца, т.е. для женской среды, где собирались жены мужей, матери детей, сестры братьев и т.п. Это закрытое в своих термах общество, никому не видимое во дворце, становилось по временам даже политической силою, которая своим подземным влиянием давала известное направление государевым поступкам и делам, возводило людей на высоту царских милостей, а стало быть и управления, или низвергало их с этой высоты, поддерживало падающих или помогало им в падении. История этого общества нема по той причине, что ее ге-

роями бывали все люди неписьменные, живые в покорении, в монастырском постничестве и молчании; но она весьма значительна и любопытна по несомненному присутствию ее скрытых деяний во многих государственных делах. Как история по преимуществу домашняя, она и раскрыться может только при всестороннем расследовании домашних же дел государя и народа.

Котошихин, отмечая подобную черту дворских отношений, говорит между прочим, что боярские и вообще ближних людей жены, вдовы и дочери-девицы приезжали часто во дворец к царице, царевнам и к царевичам ходатайствовать о своих мужьях и детях, о своих братьях и родственниках и всегда успевали в этом, всегда находили у царской семьи надобную помощь и защиту во всяком деле. “Царь те дела делает, о которых бывает такое челобитье, хотя б которой князь или боярин или иных больших и меньших чинов человек в какой беде ни был, о чем бы ни бил челом, если б кто и к смерти был приговорен, и по прошению своей семьи может царь все доброе учинити и чинит; и таких дел множество бывает, что царица и царевичи и царевны многих людей от напрасных и не от напрасных бед и смертей свобождают, а иных в честь возвышают и в богатство приводят”.

Бывало у цариц и царевен немало занятий, хлопот и забот и по вотчинному своему хозяйству, которое в некоторых подмосковных селах принадлежало им как бы в собственность, составляя их особую комнатную статью хозяйского дела.

В первой половине XVII ст. такою домашнею вотчиною было село Рубцово-Покровское (ныне Покровская улица), а во второй половине того же столетия — село Измайлово. Рубцово, вероятно, было старинною вотчиною Романовых и потому в первые годы царствования Михаила оно принадлежало его матери инокине Марфе Ивановне, а от нее потом перешло в исключительную собственность к царевне Ирине Мих., которая и была его полною хозяйкою-вотчинницею. Впрочем, сначала за ее малолетством такую хозяйкою-вотчинницею была мать ее, сама царица Евдокия Лукьян[овна]. Селом управлял приказчик, в 1632 г. Никифор Васильев, и управлял, видно, как следовало старинному приказчику, так что в это время старосты и крестьяне били на него челом, что делает им обиды и налоги многие и во всем их стесняет. И это было в Москве, под крылом и на глазах самой царицы. Решено было *сыскать* о нем в селе попами и дьяконами, т.е. допросить их по священству, справедлива ли была жалоба крестьян. Вотчинное хозяйство села состояло из обыкновенных хозяйских статей, которые ведали дворовые люди, получавшие годовое окладное жалованье: мельник 6 р., другой мельник засыпка 3 р.; два садовника по 5 р.; два рыбника — по 3 р.; три коровника по 2 р.; 2 конюха по 1½ р., с 1632 г. по 2 р., а потом и по 3 р.; гусятник — рубль, с 1632 г. по 2 р.; дворник и сторож вотчинного двора — 2 р.; а потом 3 р. Месячины им шло на месяц: мужу с женою по чети ржи, в мясные дни по части мяса, в постные дни по звену рыбы. По праздникам бывало указное питье. При Михаиле Фед. Рубцово (Покровское)

было любимым летним местопребыванием царской семьи и потому на устройство тамошнего хозяйства были употреблены тогда немало заботы. В 1632 г. печатного дела мастер Онисим устроил там пруды, а в 1635 г. разведены сады, которые в 1641 г. снова строил немец доктор Венделинус Сибилис. Хозяйство время от времени пополнялось также необходимыми статьями, какие требовались для его улучшения. Так, в сентябре 1634 г. куплены в табуне 4 кобылицы ногайские за 21 р., царевне Ирине на обиход, и посланы на конюшню в село Рубцово.

Со времени царя Алексея Покровское было оставлено в исключительном владении царевны Ирины. Впоследствии в той же стороне царь устроил для себя особое вотчинное хозяйство и дачу в Измайлове, где все статьи хозяйства и пруды, и сады, явились несравненно в лучшем и обширнейшем виде и заведены были при помощи разного рода немецких мастеров. Царица заведывала здесь всеми женскими работами, в числе которых главное место занимало льняное дело.

Кроме этих двух вотчинных хозяйств были еще весьма значительные, по преимуществу садовые хозяйства в селах Коломенском и Воробьеве, которые тоже служили увеселительными дачами для царской семьи. Само собою разумеется, что сады доставляли немало прохлады или удовольствия в замкнутой жизни цариц и царевен, как и всего их женского чина. В Коломенском, и без сомнения и в других сельских царских дворцах, хоромы царевен, именно их терема, выходили окнами прямо в сад, в густоту зеленых деревьев, из которых по вкусам века, больше других любимы были деревья плодовые — груши, яблони, вишни.

Был в царском дворце стародавний обычай посылать близким знакомым и уважаемым людям из своих садов и огородов на каждый год в свое время новое *слетье* или *новь*, т.е. созревшие вновь садовые плоды и овощи, ягоды, дыни, арбузы, огурцы, редьку и т.п., а также и другие вновь появлявшиеся потребности, напр., сельди переяславские, когда было время их привоза. Все это рассылалось из дворца приближенному боярству, дворянству и особенно наиболее чтимому духовенству, патриарху, митрополитам, епископам, архимандритам, даже строителям монастырей, кто жил к Москве. Так, 20 июля 1652 г. царевна Татьяна Мих. поспешила послать Никону, тогда еще новгородскому митрополиту, новую дыню и новую вишню. На другой день ему прислала вишни и царица Марья Ильична. На третий день 22 июля царица прислала ему дыню и другие новые ягоды. Таким образом и садовое дело в летнее время доставляло царице и царевнам немало занятий и развлечений и забот о том, чтобы пораньше других собрать свою новь и разослать ее любимым и уважаемым людям.

Послеобеденное время, особенно в праздничные дни, равно как и долгие осенние и зимние вечера отдавались, разумеется, разного рода домашним, комнатным утехам и увеселениям. Для этой цели во дворце существовала даже Потешная палата, нечто в роде особого, собственно потешного отделения с целым обществом разного ро-

да потешников «...» упомянем в общих чертах, какого рода забавы были обыкновенны в комнатах царицы. Можно наверно полагать, что ее забавы были “народны” и сообразовались с народным же порядком увеселений. Так, напр., ко Святой царицам всегда устраивалась качель, и именно веревочная, обшиваемая по веревкам бархатом или атласом, с седалкою, обтянутою по хлопчатой бумаге тоже бархатом «...»

Брюин, бывший в Москве в петровское уже время, рассказывает, что однажды он обедал в деревне у боярина Стрешнева: “После обеда, который был весьма вкусен и пышен, нас ввели в обширную залу, в коей к потолку были приделаны дощатые качели на веревках. Это здесь любимое упражнение: хозяйка дома села на одну доску и велела двум милovidным прислужницам себя качать. Она, качаясь, взяла на руки ребенка и пела весьма ладно со своими служанками какую-то национальную песню, извиняясь, впрочем, весьма много перед нами, что нет музыкантов, за которыми бы она не преминула послать в город, если бы знала о нашем посещении”.

На маслянице во дворце устраивались скатные горы, на которых если и не сама царица, то всегда увеселялись царевны с верховыми боярышнями.

На Рождестве, по всему вероятно, увеселялись святочными играми, так как на Троицкой неделе хороводами, и т.д.

Для таких игр при царицыных, равно и при царевниных хоромах существовали обширные сени, в загородных дворцах холодные, а в московском теплые. Это можем видеть на планах Коломенского дворца. В числе сенных девиц находились и *игрицы*, вероятно, исполнявшие эти народные игры. В описи казны времени Годунова и Шуйского упомянуты “восемь подволоков, камчатных и тафтяных разных цветов — деланы на игриц”. Это были приволоки, верхнее женское платье вроде накидок или мантилий.

Для повседневной забавы служили дурки, шутихи, также слепые игрецы — домрачеи, которые под звуки домры воспевали старины и былины, народные стихи и песни. Относительно разных игр имеем несколько указаний, что царицы играли в *карты* «...».

Здесь необходимо упомянуть и о выездах царицы для гулянья. Простые небогомольные выезды и походы цариц совершались большею частью летом, когда они выезжали в загородные дворцы пользоваться удовольствиями деревенской жизни. Осенью и зимою такие выезды предпринимались очень редко и с одною целью, когда царица выезжала вместе с государем на какую-либо потеху. Так в 1674 г. 25 октября царь Алексей Михайлов [ич] со всем семейством выехал на житье в свое любимое село Преображенское, где в то время была устроена новая потеха — театр и даны были *комидийные действия*: Юдифь, Есфирь и др.

Государь отправился туда торжественным шествием в одной карете с царевичем Федором и в сопровождении боярства и всякого походного чина. После него шла государыня-царица с царевичами и царевнами в следующем порядке: наперед ехал в своей карете царевич Иван Алекс.; с ним в карете сидел дядька кн. Прозоровской; за каретою ехали его царевичевы стольники и Ив. Кир. Нарышкин.

Затем ехала царица в колымаге в 12 возников (лошадей) цветных, с царицею сидели: маленький царевич Петр, меньшие царевны, да мамы, да царицына мать и невестка. За колымагою по сторонам и позади шли царицыны стольники (пажи), да 40 человек дворян, а впереди их, по сторонам колымаги, бояре — отец царицы и Матвеев. Потом следовала колымага больших царевен, запряженная также в 12 возников цветных. С царевнами сидели дворовые боярыни, а впереди шел пеш их дворецкий П.И. Матюшкин, около колымаги шли дворяне 30 человек. Далее — колымага меньших царевен, сидевших с верховыми боярынями; впереди их шел пеш их дворецкий Б.Г. Юшков, а около — 30 человек дворян; колымага была запряжена тоже в 12 возников цветных. За этим поездом ехали в колымагах верховые боярыни, казначеи, карлицы, постельницы; а всех шло 30 колымаг; подле колымаг ехали царицыны дети боярские по два человека, по списку.

Весь царицын поезд охраняли стрельцы: впереди открывал шествие стреляный полк под начальством стрелецкого головы, а по сторонам около экипажей шли с ружьем стрельцы рядового полка.

7 декабря ходил государь из села Преображенского с царицею, с царевичами и царевнами, всем домом, в село Измайлово тешиться и всякого строенья смотреть, и кушанье раннее (обед) было у государя в Измайлове. «...»

На следующий год весною, 24 мая 1675 г., государь со всем домом выехал на летнее житье на Воробьевы горы, для чего еще за месяц прежде, 19 апреля, туда нарочно был послан стольник кн. Троекуров, а указано ему пересмотреть всякого строения в тамошнем дворце, а где худо, построить все вновь к государеву пришествию. Выезд царицы с детьми происходил точно в таком же порядке, какой описан выше, при выезде в Преображенское. Те же колымаги в 12 лошадей, те же почти окружающие лица, те же 30 колымаг с боярынями и другими придворными чиновницами. 8 июня в именины старшего царевича Федора она ходила подобным же поездом с царевнами и меньшими царевичами к обедне в приходскую церковь к Троице, вероятно, в патриаршее село Троицкое-Голенишево.

19 июня государь ходил с Воробьевской горы в село Преображенское со всем государским домом. «...»

На другой день, 20 июня, государь из Преображенского ездил к обедне в село Покровское, и возвратившись после кушанья ходил из Преображенского тешиться в село Измайлово с царицею, царевичами и царевнами. В Преображенском остались только царевич Иван, да две маленьких царевны: Наталья и Феодора. «...» С потехи возвратились в Преображенское в 3 часу ночи, т.е. часов в 11 вечера.

23 июня из села Преображенского царица со всем домом, кроме государя, ходила к обедне в село Покровское, в каретах. «...» Карету сопровождали ближние люди Матюшкин и Юшков. Поезд оберегали стрельцы.

26 июня ходил государь из Преображенского опять в село Измайлово с царицею, царевичем Федором и с большими царевнами.



«...» Поезд сопровождали ближние люди и оберегали стрельцы стремянного полка под начальством головы. Тогда и кушанье было у великого государя в селе Измайлове, *в роще*.

28 июня пошел государь, после кушанья, из Преображенского на Воробьеву гору со всем домом, праздновать именины царевича Петра. Впереди всего поезда ехал стрелецкий голова с стремянным полком; затем следовали бояре и другие чины, ближние люди и походные стольники. Потом ехал в своей карете маленький царевич Петр, а с ним в карете сидели его бабушка Анна Лев. Нарышкина с дочерью Авдотьею Кирилловной, тетка Прасковья Ал. Нарышкина да боярыня Матрена Леонтьева. Карету сопровождали его дед Кир. Пол. Нарышкин, Арт. Серг. Матвеев, стольник Ив. Фом. Нарышкин и стольник царевича Ивана, Ив. Головин. В государевой карете с государем сидела царица, царевич Федор, царевна Феодосия. В другой карете ехала царевна Ирина с сестрами, в третьей — царевич Иван с сестрами, а с ними сидели мамы, боярыня да кормилицы. Государеву карету сопровождал дядька царевича Федора, ближние люди Матюшкин и И.К. Нарышкин и царевичевы стольники. Царевнины кареты сопровождали тоже ближние люди, дворецкие Лопухин и Юшков. Около всего поезда шли стрельцы стремянного полка 100 чел. За царевниными каретами ехали прежде всего мамы и дворовые боярыни в пяти колымагах, по двое в каждой. За мамиными колымагами ехали казначеи государя, царицы, царевичей, царевен в семи колымагах, по две в каждой, по порядку старшинства. В 8 колымагах ехали карлицы царицы и царевен; в 9 — комнатные бабки царицы, царевичевы и царевен; в 10 — мастерицы. Затем следовало 40 колымаг, а в них сидели постельницы царицыны, царевичей и царевен. Кареты были запряжены каждая в 6 лошадей, а колымаги — парюю. Колымаги оберегали дети боярские царицына чина, по два человека, да стрельцы, также по два человека.

В поезде следовала также государева постелька со всякою постельною казною, которую сопровождал вместо постельничего ближний человек и в комнате у крюка Петр Сав. Хитрово, а с ним стряпчий, дьяк Мастерской палаты, комнатные истопники, сторожи, наплечные мастера (портные); перед постелькою ехал сотник стремянного полка, и с ним 20 человек стрельцов.

В это время ангелу царевича Петра государь праздновал с особым торжеством. Накануне он послал думного дворянина к патриарху Иоакиму звать его в поход на Воробьеву гору к обедне, к празднику и к столу, со властями, и указал для того выслать туда шатерничих со столовыми шатрами и столами тотчас, не мешкав. В день праздника, 29 июня, после заутрени патриарх шествовал на Воробьеву гору в следующем порядке: впереди ехали патриаршие дети боярские, потом следовала ризница с соборным протопопом, протодьяконом, ризничим и певчими. Сам патриарх ехал в карете в сопровождении своего боярина, дьяков и своих стольников.

К обедне государь ходил в Донской монастырь, где службу совершал патриарх с приехавшим туда духовенством. Пришед от обедни, государь жаловал боярство и двор именинными пирогами, а

потом давал патриарху со всем духовенством и боярству обед в шатрах. В то же время на своей половине и царица жаловала именными пирогами свой дворовый чин.

1 июля с Воробьевой горы государь выезжал под Девичий монастырь на потеху, “тешился там в лугах и на водах с соколами и с кречетами и с ястребы, и с государынею царицею и с царевичами Феодором и Петром, в каретах“. Эту поездку сопровождали отец царицы Нарышкин, дядька царевича Феодора, Ив. Хитрово, да стольники и ближние люди и для обереганья стрелецкий голова Полтев со своим полком.

14 июля с Воробьевой горы государь переехал со всем домом в село Коломенское. Оттуда 23 июля он ходил тешиться в село Соколово с царицею и царевичем Феодором, а сидели они с государем в одной карете, запряженной в 6 лошадей гнедых. Карету сопровождали и ехали вперед боярин И.Б. Милославский, ок. кн. Долгорукой, думный дьяк, ближние люди и стольники походные; за каретою ехали братья царицы Иван да Афанасий Нарышкины, с сумою — ближний человек А.С. Шеин да стольник царевича кн. М.Я. Черкасский. В Соколове жаловал государь погребом стольников походных и сокольников и слуг боярских и стрельцов, т.е. угощал их вином, медами и пивом со своего погреба. А из Соколова идучи в Коломенское заходил государь и с царицею и царевичем к Николе на Угрешу и слушал вечерню и молебен.

26 июля государь снова со всем домом переехал из села Коломенского на Воробьеву гору; 26 августа он праздновал там именины царицы Натальи Кирилловны и царевны Натальи Алекс.; слушал вместе с именниками и со всем домом обедню в полотняной походной церкви в присутствии всего боярства и всех чинов, которые нарочно были вызваны к этому дню из Москвы.

После обедни в государевых хоробах царица из собственных рук жаловала своими именными пирогами всех ближних комнатных и не комнатных бояр, окольничих, также думных дворян, думных дьяков и ближних стольников; “а как государыня жаловала пирогами и в те поры сидел сам государь да с ним же царевич Феодор“. Такая раздача самою царицею именных пирогов была не совсем обычным делом в государевом дворце.

ГЛАВА

5

ЦАРИЦЫНЫ НАРЯДЫ, УБОРЫ И ОДЕЖДА*

Иностранцы, бывавшие в Москве в течение XVI и XVII ст., единогласно восхваляют красоту русских женщин; иные (Лизек) при-
сокупают, что красоте соответствовали и достоинства ума. Но зато все очень неодобрительно говорят о разных прикрасах женско-

* Настоящая глава соответствует главе 6 оригинала. Глава 5 опущена по техническим причинам.

го лица, которые были в большом употреблении и, по их замечанию, только безобразили природную красоту. Один итальянец (Барберини), видевший наших прабабок в половине XVI ст., отмечает вообще, что русские женщины чрезвычайно хороши собою, но употребляют белила и румяна и при том так искусно, что стыд и срам! О том же свидетельствует Флетчер, говоря, что женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждому это заметно; что этого не стараются и скрывать, ибо таков обычай; мужчинам это очень нравится, и они радуются, когда их жены и дочери из дурных превращаются в красивые куклы. Из его слов можно заключать, что всякие притирания в то время вовсе не имели значения искусственных средств подбеливать природу, натуру лица или своей красоты, а были, так сказать, необходимою одеждою лица, без которой невозможно было появиться в обществе. “Что касается женщин, — говорит Петрей (нач. XVII ст.), — то они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди, большие черные глаза, нежные руки и тонкие пальцы, только безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками, белою, красною, синею и темною: черные ресницы делают белыми, белые опять черными или темными, и проводят их так грубо и толсто, что всякому это заметно. Так они украшаются особенно в то время, когда ходят в гости или в церковь”, т.е. вообще, когда появляются в общество.

«...» Нам кажется, что первую из таких причин был своеобразный русский идеал женской красоты, а вторую — недостаток лучших средств в самих материалах, ибо краски для притирания употреблялись простые и грубые, особенно в среднем городском быту, какой больше всего и наблюдали заезжие иноземцы. У русской красоты было

Белое лицо как бы белый снег
Ягодицы (на щеках) как бы маков цвет,
Черные брови как соболи,
Будто колесом брови проведены;
Ясные очи как бы у сокола...
Она ростом-то высокая.
У ней кровь-то в лице словно белого зайца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки...
Ходит она словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день...

Несмотря на то что эта последняя черта русской красоты — ее взгляд словно светлый день — переносит представления о ней в область идеалов поэтических или романтических, однако в общем ее типе, как видим, господствуют представления самые материальные, господствуют сильные, резко определенные краски без всякой поэтической, т.е. романтической оживки, а так, как ими расписывались старинные эстампы деревянной лубочной печати.

В приведенном изображении идеала женской красоты материально обрисовываются и самые средства, какими обыкновенное лицо могло достигать этого идеала. Белизна лица уподоблялась белому снегу — естественно было украшать его белилами в такой сте-

пени, что в цвете кожи не оставалось уже ничего живого, ибо и самый первообраз не указывал ничего живого или поэтически и эстетически жизненного. Само сравнение: кровь-то в лице словно белого зайца, еще сильнее обозначает то же представление о снегоподобной белизне лица. Щеки — маков цвет, или щечки — аленький цветок, точно так же свое идеальное низводили слишком прямо и непосредственно к простому материальному уподоблению — красному цветку мака. Маков цвет должен был покрывать, как бы цветок на самом деле, только ягодицы щек; таким образом снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах. Очень понятно, что при таком сочетании на лице белого и красного цвета требовался и цвет волос на бровях и ресницах наиболее определенный, который как можно сильнее выделял эту *писаную* красоту всего лица. Конечно, для такой цели ничего не могло быть красивее черных волос соболя, тонких, мягких, нежных, блестящих. Оттого соболь становится исключительным идеалом для характеристики бровей, и черная соболиная бровь, проведенная колесом, является необходимым символом красоты. Все это вместе служило самой выгодной обстановкой именно для светлости и ясности глаз. Ясные очи своим блеском, а вместе и взглядом, указывали идеал ясного сокола, который, по всему вероятно, и ясным обозначался тоже за особую светлость своих глаз. Однако ж для того, чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы под стать бровям тоже черною краскою, сурьюмою, но пускали черную краску и в самые глаза, особым составом из металлической сажки с гуляфною водкою или розовою водою. «...»

Черные брови и ресницы, как и черные глаза, служили типом желаемой красоты, а потому и господствовали в уборе красавиц и тем более, что сурмление доставляло более легкую возможность уподобить прикрасу самой природе. Другое дело было, когда желали украсить волосы под цвет русых или темно-русых. «...»

Однако ж, в сущности, основным понятием или основным представлением о красоте женского лица в допетровской Руси было простое представление о физическом цветущем здоровье. Это, конечно, самая коренная идея красоты. Старина не только не уважала бледной и изнеженно-слабой красоты, но почитала ту и другую болезненным состоянием здоровья, если так бывало на самом деле, или же относила эти болезненные, по ее понятиям, признаки прямо к худому поведению, к разврату, которому и самое имя выводила из одного корня с словом “бледный”. В этом она совершенно расходилась с понятиями красавиц конца XVII ст., а отчасти и нашей памяти, которые употребляли всевозможные способы, *чтоб побледнеть*. Рассказывают, что некоторые из них всякое утро принимали по 8 катышков белой почтовой бумаги и беспрестанно носили под мышками камфору; также кушали мел, пили уксус и т.п., стараясь достигнуть этой желанной цели. Старинные допетровские красавицы, напротив, употребляли все усилия, чтобы казаться в полном смысле девицами красными, и расцвечивали себя как маков

цвет. Идея романтической, сентиментальной красоты не была им известна; они еще были очень близки к самым реальным представлениям по этому предмету, к древнейшему коренному значению самого слова “красота”. Они еще переживали эпический возраст русского развития, а потому и были так материальны в своих понятиях о красивом лице.

Само собой разумеется, что и в их время, как и во всякое время, уборы и наряды должны были служить тому же господствовавшему идеалу красоты. Головной убор, как и убор одежды, точно так же ставил себе целью придать лицу еще большую цветность и вообще возвысить описанную красоту в большей степени. Неизменные части такого убора всегда стремились произвести необходимую гармонию и с белизною лица, с алыми щеками и черными бровями, для чего в головном уборе одно из видных мест занимал убрус, повязка из тонкого белого полотна с золотым шитьем и низаньем из жемчуга; золотные кики украшались жемчугом в таком виде, что жемчужные нити окаймляли белое лицо со всех сторон: лоб украшала жемчужная кичная поднизь, стороны у щек жемчужные нити ряс, шея красилась жемчужным стоячим ожерельем или же жемчужною нитью, которая называлась *перлом*. Припомним, что и самое достоинство жемчуга заключалось в особенной белизне и чистоте его блеска; желтого жемчуга, по свидетельству Торговой книги XVI ст., никто не покупал на Руси. Среди жемчуга иногда блистали дорогие камни, большею частию лалы (алые, малиновые) и изумруды, цвет которых подбирался с тою же главною целью придать лицу и глазам наибольшую цветность, светлость и выразительность. Само собою разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото, т.е. золотное тканье, шитье, плетенье, а также и золотая кузнь, ковань в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора; это был самый обычный, общеупотребительный материал для всяких уборов, как и для убора самого платья. Для алых щек являлся господствующим особый цвет материй, атласов, бархатов, камок и т.п., именно червчатый и алый. На шапках этот цвет красился также жемчугом, что придавало немало блеску притиранью лица, румянам и белилам. В отношении бровей и ресниц их цветность усиливалась еще в большей степени меховою, обыкновенно черною бобровою или соболиною опушкой шапки. Мех, особенно соболий и бобровый, принадлежал к самым любимым и неизменным уборам в одежде, и нет сомнения, по той именно причине, что вполне отвечал тогдашним идеальным представлениям вообще о женской красоте, служил самою изящною для нее и наиболее выразительною рамкою. Почти все одежды, особенно выходные, парадные, как зимние, так отчасти и летние окаймлялись бобровым пухом; а накладное бобровое ожерелье, род пелерины, составляло самую видную часть женской одежды в торжественных случаях и принадлежало к царственным уборам цариц и зимою, и летом (см. рисунки на заглавном листе и в конце книги...). При этом должно заметить, что бобровый мех для таких уборов всегда подкрашивался черненьем. Словом сказать, русские красавицы XVI и XVII ст. вов-

се не были безучастны к красоте своего наряда; они вовсе не были такими, какими их рисуют некоторые наши исследователи, говоря вообще, что русские женщины допетровского века “не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов; лишь бы блестело и пестрело!.. не имели понятия о том, чтоб платье сидело хорошо”, и т.д. Русские красавицы, как и красавицы всех времен и народов, точно так же очень много заботились о том, чтобы нарядиться к лицу и нарядиться со вкусом и изяществом, как этот вкус и изящество сознавались в их время. Вкус и понятия изящного и красивого по отношению к одежде — вопрос весьма сложный и весьма спорный, так что, не разобравши в подробности всего дела, едва ли можно выводить решительные заключения. Необходимо прежде всего раскрыть основы и все условия, какие способствовали в известное время образованию того или другого вида эстетических представлений и вкусов.

Уже давно решено, что достоинства вкусов трудно оспаривать, и нельзя не согласиться, что вкусы, управляющие повседневными мелочами жизни, суть только выразители известной минуты в развитии эстетических, а также нравственных идей и представлений у того или другого народа. В деле вкуса нравственные идеи имеют даже преобладающее значение. Нравы же в своих мелочах переходят, видоизменяются, как и все то, что именуем жизнью; а вместе с ними переходят и видоизменяются и вкусы, чему самым выразительным доказательством служат наши моды, которые так нравятся в свое время и становятся потом так нелепы и смешны. В этом отношении с такою же долею правды можно судить, упрекая в отсутствии вкуса, даже рассудка, обо всякой старой моде. С точки зрения наших мод мы засудим, конечно, все, что с ними не согласуется. Но старинное народное платье, которое было носимо не месяцы или только годы, а целые столетия, всегда отличается несравненно в меньшей степени разными нелепостями и неразумием вкуса. Его покрой и характер убора устанавливается и обрабатывается под влияем самой культуры народа и потому в нем лежит всегда какая-либо очень разумная основа, которая дает ему многие черты, отвечающие вкусам всякого времени, след. вообще отвечающие закону изящного, не говоря уже о том, что старинное народное платье вместе с тем отвечает всегда и климатическим условиям страны.

Изучая старинные русские вкусы в женском наряде, мы встречаемся здесь с предметами, которые навсегда останутся наилучшим убором красоты, каковы напр. дорогие меха, жемчуг, золото и шелковые ткани, атласы, бархаты. Особенностью этих вкусов, для наших глаз конечно, является излишняя пестрота или, в сущности, цветность наряда. Но яркая жизнь старины, даже в нравственных делах, требовала всего яркого и во всей внешней обстановке. Она в женском наряде, как видим, особенно предпочитала теплый, жаркий, живой колорит, что было совершенною необходимостью для обстановки живого здорового румяного лица, которое почиталось высшим идеалом красоты. Романтические тени, неземные созданья, т.е. красоты—мечты, отвлеченности, вроде античных беломраморных статуй, старине были недомыслимы. При том и античные ста-

туи, как доказывают, были тоже расписываемы красками для живства. Таким образом, наша старина, предпочитаемая в красоте то же самое живство, нисколько не отставала в своих идеалах от всех других своих товарищей по древности. В ней только, быть может, уж слишком долго сохранялись самые первоначальные и первобытные вкусы по этому предмету. В уборах одежды она очень любила, напр., сочетание цветов, напоминавшее египетскую древность; лазоревое платье она окаймляла по подолу червчатую, алою или желтою тканью, желтый цвет ставила рядом с зеленым или синим, голубым и т.п.

Все это обозначало только глубокую древность вкуса, но никак не безвкусие, ибо нередко и самые моды попадают на тот же след в разных прикрасах наряда.

За такое свойство или за такой характер наших старинных вкусов иные причисляют нашу старину к разряду культур восточных, азиатских. Есть мнение, что даже весь свой старинный костюм мы заимствовали у татар; да и на наши теперешние глаза, старинная русская женская одежда прямо является татарскою. Но обманчивое сходство объясняется только тем, что у теперешних татар употребляются в одеждах золотые ткани, парчи, и мы забываем, что было время, когда вся Европа носила такие же ткани, что большей частью они и привозились к нам из той же Европы.

Действительно, наш допетровский костюм общим своим характером приближает нас больше к Азии, чем к Европе. Но это нисколько не доказывает, что он был когда-то заимствован у того или другого азиатского народа. Напротив, это доказывает только его глубочайшую древность, недосыгаемую для исследователя, когда такой костюм был общим для многих народностей и азиатских, и европейских, обитавших в той же климатической полосе. Самые названия, напр., кафтан и др., сходные с татарскими, турецкими, сходны также с греческими (*καβαδιον*) и указывают только на один общий источник их происхождения, разумеется из Азии, откуда идут и древние народы, и древние языки. Нельзя думать, чтобы и наша народность, перенеся в Европу свой древнейший язык, не перенесла в то же время и костюма с его названиями. Родились мы и были одеты, конечно, в незапамятное время, и происхождение нашего костюма, особенно в главнейших его очертаниях, необходимо отыскивать в той же стране, где образовался и наш древнейший язык. Само собою разумеется, что бывали и заимствования; но они всегда ограничивались лишь теми частями и формами, которые являлись как бы знаками или выразителями новых идей и, стало быть, новых форм развития и жизни. Являлось особое сословие военное; по необходимости оно усваивало себе и различные знаки своего особого призвания и заимствовало их оттуда, где находило их уже в полном употреблении. Явилась идея княжеского, а впоследствии царского достоинства, она точно так же по необходимости брала свои знаки оттуда, где это достоинство было облечено уже в полный его наряд. Таким образом, немалая доля нашего старого костюма была заимствована у византийских греков и принадлежала в свое время к общим для всей Европы формам одежды, ка-

ков именно и был царский или княжеский наряд, сначала устраиваемый везде по византийским образцам, заимствованным в свою очередь у древних царей востока. Потом мы остались на месте, а европейская культура ушла дальше; мы, таким образом, и остались с восточным, азиатским, а в сущности с самым древнейшим обликом во всем нашем развитии. Вот почему те же европейцы, приезжавшие к нам, в XVI и XVII ст., писали единогласно (Флетчер, Олеарий, Лизек), что русская одежда весьма сходна с греческою.

...Близкие сношения с Византией, естественно, много способствовали тому, что всякие мелочи ее культуры легко и свободно переносились в наш быт. Константинополь в свое время был тем же Парижем не для одной русской земли. Богатая роскошная обстановка его быта представлялась для всех окружавших его варваров образцом наиболее изящной, т.е. богатой, жизни и особенно в отношении костюма, который поэтому, если не вполне, то наиболее видными частями водворялся повсюду. Этот-то костюм, частью заимствованный у византийцев, а частью украшаемый в подражание их образцам, составил тот особый выбор одежд, который исключительно употреблялся княжеским и боярским, вообще знатным и богатым сословием допетровской Руси и был потом упразднен реформами Петра. Что с древнейшего времени оставалось в нем в собственном смысле народного или всенародного, то сохраняется и до сих пор в народе, а все сословное, принадлежавшее княжеской и боярской культуре, совсем утратилось с преобразованием самой культуры по европейским образцам.

Нельзя, однако, в этом отношении забывать и влияния на наш костюм со стороны северной Европы, через варягов, а в последующее время чрез новгородские торговые связи. По крайней мере с одеждами норманскими встречаются в наших одеждах довольно сходного, частью в общем, а также и в частности.

Но румяны, белилы, сурмилы, подкрашивание глаз и прочее тому подобное — все это мы заимствовали с востока, непременно у византийских красавиц и если не прежде, то по крайней мере еще во времена Ольги, ибо при ней русские женщины собственными очами могли любоваться красотой греческой обстановки. В ее путешествии в Царьград сопутствовали ей 6 (или 16) родственниц и 18 приспешниц (женщин служебных), обедавших так же, как и княгиня, в царских палатах и получивших царские дары.

И нет сомнения, что это был не первый, да и не последний пример пребывания русских женщин в Константинополе. Оттуда же наши красавицы заимствовали, если не самую кичу, то ее княжескую или царственную форму с ее особыми украшениями, именно *рясами*, длинными жемчужными прядями, ниспадавшими к плечам по обеим сторонам этого головного убора. Такие рясы были носимы в Византии не только царицами, но и царями на царских венцах, как это видно на их монетах и на других древних изображениях византийских царей и цариц. Точно такой же головной убор существовал еще раньше в греческих черноморских колониях, именно в стране Киммерийского Босфора, где на Таманском полуострове, в древнем царстве Фанагорийском, нам случилось в 1864 г. открыть

подобный убор в гробнице тамошней царицы или, как доказывают, жрицы богини Деметры (IV века до Р.Х.). Он состоял из золотой кики, золотого начельника в виде волнистых волос и золотых жеряс в виде больших блях с сетчатыми длинными подвесками, тоже золотыми. Для нас в этом случае очень важно лишь то, что форма убора и его составные части имеют много сходного с такими же уборами русскими XVI и XVII ст., а это указывает вообще на глубокую древность нашего убора и может отдалять его происхождение даже и за эпоху наших сношений с Византией.

Точно так же одна из женских одежд с очень широкими и длинными рукавами, всегда роскошно украшаемыми золотым шитьем, именно летник, по своему покрою тоже много напоминает подобные же одежды византийские, в которых изображаются тамошние цари и царицы. Первообраз такой одежды (саккос) можно указать даже на изображениях в катакомбах Рима, относимых к первым векам христианства, не говоря о сходных изображениях последующего времени. В XIII в. Рубруквис обозначил, что русская одежда вообще сходствовала с одеждою народов Западной Европы. На одном очень древнем окладе Евангелия, X века (Готской библиотеки), изображена германская императрица Феофания (с сыном Оттоном III), в costume, который вполне сходен с таким же costume наших боярынь XVI и XVII ст. Изображение определяется временем общего правления ее с сыном, именно годами 985—991.

Мы не имеем возможности удалиться в подробные сравнительные разыскания по этому предмету и желаем только обозначить сходство нашего старинного costume с древнейшими образцами византийскими, а частью и с средневековыми западноевропейскими. Мы ограничиваем свою задачу лишь посильным объяснением собственной древности, после чего доступнее будут и сравнительные исследования и выводы.

Как бы ни было, но Византия имела значительную долю влияния именно на женский наш costume, по крайней мере в том его составе, который принадлежал верхнему народному слою древней Руси, княжескому и боярскому, или вообще, как мы говорили, знатной и богатой среде. Здесь это влияние выразилось известною постнической идеею, подчинившей своим целям даже и покрой женской одежды.

Идеал постницы, на котором воспитывалось и оканчивало жизнь наше старинное женское племя, смотрел вообще на красоту, как на запрещенный плод, и поучал убогать ее обольщений, как великой греховной напасти. Он спрятал ее в терем, чтобы не смущался ею мир, чтобы и она не прельщалась красотой мира; он неумолимо следил за нею, наблюдал каждый ее шаг с целью отстранить от нее и малейший соблазн убора и наряда или какого бы то ни было лукавства (кокетства) в отношении умножения ее прелестей. По естественным и, впрочем, исключительным причинам он некоторую свободу в уборе и наряде с целью возвысить красоту благословлял только возрасту невест, которые по крайней мере могли носить открытые волосы. Этим обозначалась и известная доля женской свободы в девическом возрасте. Напротив, замужня женщина, по

слову Апостола, становившаяся под власть мужа, должна была навсегда спрятать свои волосы, ибо не муж от жены, а жена от мужа, и не муж создан для жены, а жена для мужа, посему и должна женщина иметь покрывало на голове, в знак власти над нею. Кроме того, покрывало вообще обозначало стыдливость и целомудрие, поэтому для постнических идей оно являлось необходимым и неизменным условием и сохранить и выразить свою нравственную чистоту. Для женщины не было большего срама и бесчестья, как всенародно опростоволоситься, т.е. раскрыть свои волосы пред глазами общества. Целомудренное значение покрывала распространилось и на покрыв всею одеждою, которая в сущности представляла тот же постнический покров для всего тела. В одежде постнические идеи заботливо старались совсем скрыть талию и весь женский бюст и торс, разрешив употребление пояса лишь в одеждах нижних, домашних, каковы были сорочки, и устранив во всех верхних выходных одеждах даже и малую складку, которая могла способствовать хоть малой обрисовке лебединой груди или вообще талии.

Самый пояс на сорочках был носим как символ целомудрия и благочестия и вовсе не служил средством придавать стану большую стройность и красоту. Появляться в каких-либо случаях без пояса на сорочке значило обнаруживать свой разврат. Так могла поступать только молодая Марина Игнатьевна: она, призывая в свой терем Змея Горыныча, высовывалась по пояс в одной рубашке без пояса. Так бегала по широкому двору Настасья Королевична, во единой рубашечке без пояса, — когда спасала своего милого Дуная. Вообще ходить распоясской во всяком случае почиталось грехом. Распоясаны были только одни верхние одежды с тою целью, как мы сказали, чтобы не обнаружить ни одною складкою каких-либо частей тела. Все такие одежды имели один покрыв той же сорочки, т.е. простого полотнища, расставленного, где необходимо, клиньями, и у некоторых разрезанного спереди на полы, причем ворот у всех возвышался до самой шеи. Таким образом, *лиф* был совсем изгнан из покрова женских одежд, а с ним, конечно, была удалена и вся красота женского наряда, ибо *лиф* в одежде есть непосредственный и существенный выразитель всего изящного одежды. Естественная потребность нравиться, быть красивою, изящною т.е. естественная потребность изящного в costume была ограничена, стеснена, а потому вместо эстетических духовных идеальных представлений о красоте явились представления исключительно материальные, представления об одних лишь физических ее достоинствах. Просторно сидевшие и длинные до пят платна по необходимости сводили понятия о красивой изящной фигуре на понятия о дородной фигуре, что на самом деле почиталось одним из достоинств старинной женской красоты, так как другим ее достоинством был высокий рост, которому те же длинные платна без всякой кринолиновой пышности в подол придавали, конечно, еще большую высоту, и тем дорисовывали идеал красивой фигуры по старинным понятиям.

Однако ж необходимо заметить, что суждения о нашем старинном женском costume, именно об отсутствии в нем живописной

красоты или вообще рисунка женской фигуры, не имеют достаточных оснований делать об этом решительные, окончательные заключения по той причине, что нет у нас перед глазами, как говорится, живой натуры. Нам известны большею частью рисунки древних одежд только иконописные, где и в платье, как в самих фигурах и особенно в позах, столько же натуры, сколько натуры вообще находим в древней иконописи. Иконописец даже страшился изобразить что-либо натуральное, а тем более страшился изображать натуральную женскую фигуру с ее одеждою, дабы не ввести зрителя в прелесть сатанинскую. Не говорим о том, что он вовсе не умел рисовать и особенно не удавались ему предметы живые, одушевленные. Символизм, условность его рисунка, рабски переводившего одни только старые образцы, неспособны были воспроизвести ни одной натуральной черты, ни в лицах, ни в нарядах. Желая обозначить пышность или складки костюма, он чертил совокупность известных линий, однажды навсегда усвоенных и приспособленных для этой цели (рис. V. 3,4). Он не мог размышлять не только о натуре, но вообще о школьной правильности рисунка в теперешнем смысле, ибо у него были свои, чисто условные понятия об этой правильности, от которых он, как знающий и опытный художник, никогда не отступал. Из всего этого выходило то, что иконописцы не только не оставили нам изображений деланных, как они говорили, с *живства*, но и нарисованные ими изображения от руки они большей частью передавали без всяких характерных оттенков, плоско и стерто, указывая лишь одни общие наиболее типичные формы древнего костюма. Словом сказать, из этих иконописных изображений мы получаем очень скудные представления о живой действительности старого костюма, даже в его общих формах, не говоря о полноте разных предметов наряда, а тем более о разных подробностях, о которых находим сведения в старинных описях и вовсе не находим их в оставшихся рисунках. Здесь старое русское художество не только ничем не послужило старой действительности, но своими чисто ремесленными, условными, рабскими приемами даже обезобразило ее в наших глазах до последней степени; совсем не то было на Западе, отчего тамошний средневековый костюм представляется не только в своей действительной, но во многом даже приукрашенной красоте....

Переходя к описанию допетровского женского наряда, мы в настоящем случае ограничиваемся только предметами, которые входили в состав наряда цариц и взрослых царевен в XVI и XVII ст., и касаемся общего описания одежд лишь настолько, чтобы объяснить частности, принадлежавшие собственно царскому быту. Это вообще предмет очень дробный и мелочный и потому требует рассмотрения по крайней мере по сословным отделам, ибо в каждом сословном кругу он представлял свои видоизменения.

Само собой разумеется, что царицын быт, как высший порядок жизни, заключал в себе и все общие, т.е. основные, черты древних нарядов и уборов. Так, и в царском быту, как и во всенародном, взрослые девицы носили волосы открытыми и распущенными по

плечам, причем в достаточном и знатном быту, а след., и в царском, волоса бывали завиты...«...»

Другой род волосного убора, столь же обыкновенный, даже и теперь в простом быту, заключался в том, что волосы заплетали в одну косу или в две косы, которые и ниспадали назад к плечам и по спине. При этом в концы кос вплетались ленты или же бахрома, а иногда прикреплялась золотая кисть или подвеска. Это был *косник* или *накосник*. На рисунке VIII, 2 изображен такой убор в две косы с косниками. Но здесь же мы видим, что вместе с косами остаются и распущенные по сторонам волосы. Действительно ли употреблялся и в этом виде волосной убор, сказать не можем; но знаем, что напр., при венцах, корунах и киках у царевен всегда подавался и косник, который составлял даже принадлежность этих уборов и описывался, как составная их часть.«...»

Косник или *накосник* состоял главным образом из кисти шелковой, золотой или жемчужной, непременно с золотной или жемчужной *ворворкою*, как называлась верхняя связка кисти, скреплявшая в одном узле ее нити и состоявшая обыкновенно из плетенья или вязанья, которое и представляло ворворку. При устройстве косника эта ворворка, или кистевая связка, получала разнообразную форму, которая поэтому и приобретала отдельно название косника в собственном смысле. В богатом наряде она делалась даже из металла, из золотой или серебряной *цки*, дощечки или листа различной формы, к которой и прикреплялась необходимая кисть. Иногда эта цка устраивалась с тремя ворворками и двумя кистями; одна ворворка в таком случае помещалась сверху двух других и служила для них связью. Косник вплетался в косу посредством *снурка* и *пожилин*, которые находились сверху основной ворворки.«...»

Для сохранения в порядке ниспадавших по плечам волос, являлась необходимою *перевязка*, какую видим на рис. III, 6. Это в обыкновенном повседневном употреблении была простая шелковая или золотая не широкая лента. Само собою разумеется, что она служила также и весьма красивым убором для головы, выделяя своим цветом, приборным к лицу, или своими украшениями из золота, жемчуга и дорогих камней, еще сильнее белизну, румянность и вообще красоту лица и волос. Очень естественно также, что в вырезке по краям она получала разнообразную форму, какая наиболее нравилась. Так, у царевны Татьяны Мих. (12 лет) была *перевязка* низаная с *городы*; у царевны Анны Мих. (22 лет) упоминается *перевязочка* низаная жемчужная с камнями. Кроме того, иногда *налобная*, передняя часть перевязки устраивалась с большим богатством в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры. Такой перевязке присваивалось преимущественное название *чела*, *челки*, как особого налобного украшения. *Чело* упоминается еще в духовной Калиты 1328 г. В числе даров дочери своей князь Верейский (1486 г.) упоминает *челку*, низану великим жемчугом. В простонародном быту самая перевязка-лента носила название *начелка*, *начельника*, *очелка*, также *повязки* и *пóвязи*; таким образом с име-

нем перевязки соединяется смысл вообще головного начельного убора, который мог иметь весьма разнообразную форму.

Перевязка-лента обращалась в особый убор с именем чела или очелья и вообще повязки, когда устраивалась из более или менее широкой каймы, огибавшей чело стоймя на ребро, причем начельная часть делалась обыкновенно шире и выше, вроде кики, а концы сходили назад обрезам в виде зубцов или постепенно (серповидно) уменьшались до ширины простой перевязочной тесьмы. Эти концы связывались назад широкими лентами, ниспадавшими вниз по спине в виде лопастей, рис. VII, 3.

Можно полагать, что подобная повязка в XV веке называлась *челом кичным*, ибо в передней части она стояла на голове или возвышалась кикою. Впрочем, чело кичное могло в действительности обозначать и одну только переднюю *цку* или доску самой кики.

Повязка, устроенная сплошною, напр., жемчужною каймою вокруг головы, называлась *венком*. Особый вид венка, который делался обыкновенно из металлической *цки* и прорезывался насквозь каким-либо узором с городками или зубцами вверх, назывался *венцом*. Венцу с городы, т.е. с острыми углами вокруг, присвоено было царственное значение, ибо он и делан был по образцу древнейших царских венцов, в каких цари и царицы, особенно восточные, изображались на монетах и др. памятниках. Такой венец употреблялся у нас исключительно в девичьем уборе, по той причине, что его носили только на открытых волосах. «...»

В XVI и XVII ст. венец составляет необходимый убор царевен с малого возраста и государевых невест, когда они нарекались царевнами. На рисунках II, III видим, что венцы надевались без всякого другого убора, принадлежащего к тому же наряду, каковы были *рясы*, *поднизь*, *косник*, или *накосник*. Однако ж в описях казны царевен эти принадлежности наряда описываются вместе с венцом, как его составные части, а потому должно заключить, что рисунки изображают наряд не вполне. Удельный князь Верейский отдал дочери (1486 г.) вместе с венцом царским между прочим и “*рясы с яхонты да с лалы, колтки золоты с яхонты*“. Рясами, как увидим, назывались длинные пряди из жемчуга, камней с сережными кольцами и колтами, привешиваемые по сторонам венца. Поднизь в собственном смысле была начельником и прикладывалась к венцу с передней, налобной его стороны в виде перевязки или в виде сетки с жемчужными или золотыми висюльками по нижнему краю.

Свадебный венец царицы Евдокии Лук., носимый ею, когда она наречена была невестою-царевною, и хранившийся потом в ее казне, в коробье новгородской за печатью ее свекрови инокини Марфы Ив., описан коротко: “*венец с каменьи и с жемчуги*“, с отметкою, сделанною впоследствии, что в 1629 г. июля 5 “*сее коробью и с венцом отнес ко государю в хоромы Фед. Ст. Стрешнев*“; и потом, что в 1629 г. авг. 30, “*сее коробью и венец принес (в казну) от государя из хором В.И. Стрешнев, а сказал, что с того венца снято с городов для государева дела каменьи да выпорото у венца из *косника* 5 запон золоты с каменьи*“.

Полный наряд венца описан у малолетней царевны Ирины Мих. У ней был “венец теремчат о десяти верхех делан по золотой цке травы прорезные с финифты с розными, а в венце в нижних теремах в золотых гнездах три яхонта червчаты гранены да три яхонта лазоревы да четыре изумруда гранены; да в верхних теремах в золотых же гнездах четыре яхонта червчеты да три яхонта лазоревы да три изумруда четвероугольны; около верхних и нижних теремов и на низу обнизано жемчугом; по верх теремов на спнях десять зерен гурмыцких. Подложен тафтою червчатою. *Поднизь* по атласу по червчатому низана жемчугом большим и средним; меж жемчугу звездки золоты: у поднизи в пяти репьях жемчужных 5 гнезд золоты четвероугольные; а в гнездах 3 яхонты червчаты да 2 изумруда; по сторонам у поднизи по репейку жемчужному, а в них 2 изумруда невелики; да меж больших репьев 4 репьи жемчужных без каменя; у поднизи на привесках 31 зерно гурмыцких на золотых спнях. *Рясы* жемчужные, у рясь колодочки и кольца серебряны золочены с финифтом с червчатым; меж ряс и по концам 6 яхонтов лазоревых да 6 лалов. *Косник* по цке серебряной золоченой низан жемчугом репьи; ворворка у косника низана жемчугом, кисть золота с шолком с червчатым“.

Что значит *теремчат* и что означают здесь *терема*, определенно сказать не можем, ибо не знаем типической фигуры в украшениях, которая носила название терема. Это могла быть сердцевидная форма кровельной бочки и вообще видимо, что это были тоже зубцы, расположенные в два яруса и украшенные попережку яхонтами и изумрудами, а на верхах жемчужинами.«...»

...И венец и даже коруна были носимы царевнами с косником и рясами, а венец, кроме того, с поднизью. Эти принадлежности убора составляли обычный всенародный наряд кичный, носимый замужними женщинами при киках, с тою разницею, что вместо косника или накосника у кик женщины носили *задок* бархатный или соболий, покрывавший затылок и называемый в простом народе подзатыльнем.

Замужние женщины собирали свои волосы в *подубрусник*, род повойника или легкой шапочки из червчатой тафты или другой подобной ткани, напр., из дорогов гиялянских, тоже червчатого цвета. Покрой подубрусника нам неизвестен; неизвестно, была ли это шапочка круглая вроде тафьи или скуфьи, облегавшая голову по ее овалу; или она состояла из окола, венчика, к которому пришивался круглый *верх*. Неизвестно также, стягивалась ли она около головы снурком или надевалась просто, как шапка. Впрочем, по всему вероятию, это был обыкновенный повойник. Прямое назначение подубрусника заключалось в том, чтобы подобрать и спрятать под него последний волосок, для чего с затылочной стороны при нем употреблялся еще *подзатыльник*, небольшой плат из такой же ткани, закрывавший затылок. В описях частного имущества в конце XVII ст. (1688—1695 гг.) эти предметы обозначаются так: шесть подубрусников тафтяных, шесть подзатыльников; или: десять подубрусников на оба лица с подзатыльниками. Судя по этим указани-

ям, можно полагать, что подзатыльник употреблялся и отдельно, как особый дополнительный убор, и сшивался вместе, как составная часть убора.

Подубрусник своим именем показывает, что он служил только принадлежностью, подставною частью другого убора, который назывался *убрусом*. Это было тонкое полотняное полотенце (полотнище), уменьшительно называемое *полкою*, *полка убрусная*. Оно украшалось или браньем, или шитьем белью, или вышивалось шелками с золотом и серебром и по концам и на *челе* низалось жемчугом. Убрус свертывался, повивался на голове красивым узлом, для чего, без сомнения, требовалось немалое умение и навык. Концы его, *застенки*, ниспадали с повязки на сторону. Составляя, таким образом, наиболее видную часть в уборе, они всегда богато украшались золотым шитьем, жемчугом и даже мелкими дробницами, т.е. разнovidными бляшками. Убрусы прикалывались на голове в своих складках серебряными или золотыми булавками с жемчужинами, корольками или же дорогими камнями. На рис. I изображена в таком убрусном уборе царица Мария Ильинична и придворные женщины. Кроме полотна, на убрусы употреблялись и шелковые легкие ткани, напр., тафта, и притом цветные, особенно любимого цвета червчатого. В казне царицы Шуйской сохранились 7 убрусцов тафтяных, по концам низаны жемчугом. В казне царевны Ирины Мих. находим “два убруса тафта червчата, *застенки* низаны жемчугом, меж жемчугу дробницы серебряны золочены, по них резаны травы“. «...»

Убрусу, как чепчику, который повязывался на голове из убрусной полки, соответствовал другой убор, в собственном смысле чепчик или готовая шапочка в этом роде. Это был *волосник* — головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого или пряденого золота, или из серебра, или из золота и серебра вместе. Она по большей части *ошивалась*, украшалась по венцу или околу атласною или тафтяною *ошивкою*, разных цветов, но преимущественно червчатого, алого или белого цвета, которая богато вышивалась золотом канителью, унизывалась жемчугом в виде запан, украшалась дорогими камнями и золот. или серебр. дробницами, т.е. металлическими запонками. Само собою разумеется, что передняя часть украшалась богаче и узорочнее остальных, а потому и приобретала даже особое название *очелья*, которое иногда делалось с *подзором*, т.е. с каймою, более или менее широкою, вроде девичьей повязки. Так как *ошивка* в этом уборе составляла самую видную и богатую часть, то нередко весь убор назывался одним именем — *ошивкою*, при которой подразумевался и волосник; и наоборот, если ошивка была простая шелковая или золотная, незатейливая, то убор удерживал только имя волосника. Впрочем, в описях имущества для точности ошивка обозначалась отдельно от волосника, который нередко назывался и просто *сеткою*. По способам вязанья и вышиванья *в цепки*, цепочками, или *в кружки*, кружками, и ошивка и волосник назывались цепковыми, кружковыми. Ошивка, сверх того, по большей части украшалась *паворозами*, особыми борами, сборками, в виде каймы, которые служили вместе с тем связью для

всего убора, ибо устраивались перекрестно на темени сетки или волосника и окаймляли убор или самую ошивку по околу головы. Здесь паворозы служили и задержкою, снурком, посредством которого убор стягивался по голове*.

Таким образом, волосниковый убор составлял легкую шапочку, которая в народном быту называлась *зборником*** , а в петровское время стала называться *цепцом*, по той причине, что для ее изготовления употреблялся преимущественно один наиболее красивый способ шитья шелками и золотом, именно в *цепки*, *цепковый*, или по старому произношению *цепковый*, вроде тамбурной работы. В XVIII ст. старинная форма убора стала изменяться, приравливаясь к потребностям европейского костюма; впоследствии она получила самые разнообразные видоизменения, подчинившись прихотям моды; но старое русское имя сохранилось до нашего времени. В начале XVII ст. эту шапочку, волосник с ошивкою и с паворозами, или чепец, носили сверх убруса, как это видно на рисунке IV, 2. В последующее время ее надевали и под убрус, выставляя только переднюю часть ошивки. Такой порядок в употреблении этих уборов мог зависеть от их относительного друг к другу богатства. Более дорогой и роскошный убрус брал верх и надевался на ошивку, так как и более богатая и роскошная ошивка в свой черед покрывала простой незатейливый или менее богатый убрус.

В начале XVII ст. ошивка, или особый ее вид, назывался *шамшурою*. В переписном продажном списке рухляди Никиты Строгонова 1620 г. упомянуты между прочими вещами: «Шамшура шита золотом по белой земле, очелье шито золотом и серебром. Шамшура плетеная с метлеками, очелье шито золотом. Волосник паворозы. Подубрусник. Очелье волосниковое»***.«...»

Подобно тому, как девичий венец имел значение как бы короны девичества, так и *кика* была короною замужних женщин или короною замужества, венцом брачной жизни. Поэтому на свадьбах вместе с подубрусником, подзатыльником, убрусом и волосником она принадлежит к числу брачных женских регалий и занимает среди них первое место.

В царицыном быту рядом с кикою появляется и царственная регалия, *коруна*, обозначающая царственное достоинство царицыной личности; но кика, как заветная и нерушимая старина, сохраняет и

* Паворозы то же, что повор, поворцы — веревки, коими связывается на возах сено, дрова; а также переметины, плетеницы на стогах, служащие связкою стога. Слово, как и ворворка, от того же корня вереть, вирать, врать — плести, сплести. У Даля: павороз, паворозень — задержка у мешка, кошель; вздевка, затяжка, завязка, обора, гачник (т.е. вообще снурок, коим стягивается что-либо на петлях или на сборках; могло обозначать и собственно *оборку*).

** По объяснению Акад. Словаря, «*Зборник*, головной женский убор, в простом народе употребляемый, состоящий из начельника и верхушки, спереди с сборами, а сзади стягивается шнурком». Он прямо называется также *волосником*. См. Шевырева предду в Кирилл. Белоз. монастырь I, 132.

*** В областном словаре шамшура — холстинный чепец, носимый замужними женщинами под кокошником (Арх., Перм.); также кокошник, повойник (Сибир.). Метляк — бабочка, мотылек (Перм.).

здесь свое первенствующее значение, по крайней мере при свадебном обряде и даже в описях казны ставится на свое, первое, место. «...»

Коруна от кики отличалась своею формою, именно коронною, кронистою, тульею из огибей или из целой цки, собранной как скуфья над обычным венцом.

Обыкновенная и древнейшая форма кики представляла тулью вроде обыкновенного картуза, т.е. состояла из *подзора*, как бы пояса, вышиною в 3 или 4 вершка, облегавшего вокруг голову, и из круга, плоского или устроенного по овалу, который помещался наверху, т.е. на темени. Ширина или диаметр этого круга, собственно кичной верхушки, всегда делалась вершка на $1\frac{1}{2}$ и на 2 больше ширины в венце или в лобной части кики, так что кика кверху постепенно расширялась, а в самом верху, где вшивался круг, устраивалось несколько развалов, рис. III, 7; VI, 2; VIII, 1.

Такую форму кики встречаем еще у античных греков, по крайней мере в их черноморских поселениях, не только на рисунках, но и в самих предметах, открытых нами в 1864 г. на Таманском полуострове...

Тулья кики с верхом сшивались из какой-либо простой ткани на александрийской картузной бумаге и проклеивалась рыбьим клеем, а затем покрывалась атласом или другою подобною тканью яркого, обыкновенно червчатого цвета; иногда она покрывалась золотою или серебряною *цкою*, дскою, т.е. тонким листом из этого металла. Эта именно цка металлическая или золотная и атласная составляла *подзор* кики, т.е. ее пояс, кайму. Есть указание, что кичный подзор делался из *нерпы* или ворвани, тюленьей кожи, крашеной, вероятно, в белый цвет для белых кик. В казне царицы Евдокии Лук. хранились: "две ворвани, одна деланая, а другая неделаная, черные; и те ворвани пошли в дело к царицыным кикам". По всему подзору или собственно по тулье ставились золотые или серебряные вызолоченные запоны, репы различной формы, с дорогими цветными камнями, алмазами, яхонтами лазоревыми и червчатыми, изумрудами, лалами, бирюзами или достоканами (хрустальями), таких же цветов. Меж запон по местам ставились тоже камни отдельно в металлических гнездах, и вообще весь подзор убирался подобными драгоценностями в виде какого-либо роскошного узора.

Передняя налобная часть кичного подзора, разумеется, убиралась с большим богатством и с особою затейливостью относительно узора. Она нередко устраивалась отдельно от кики и прикреплялась к ней смотря по надобности. Как отдельная часть, она получила и особое название; в старину ее называли *челом кичным*, а в конце XVII ст. *переденкою*. В казне в.к. Дмитрия Ив. (†1509) хранилось "чело кичное золото с яхонты и с жемчуги и с жемчужинами и с плохим камнем".

Конечно, во всем женском наряде и уборе кика сама по себе представляла подзор или такую часть, которая бросалась в глаза, наиболее была видима; подзорный значит видный, также верхний, возвышенный, находящийся на видном месте.

Кроме дорогих камней, подзор особенно наперед и убирался обыкновенно *пелепелками* или *переперками*, *переперами* и *живыми репьями*, т.е. металлическим, б.ч. серебряными, булавками вроде перышек и других подобных фигур, которые от движения головы качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе.«...»

Внизу подзора или тульи, со стороны лобной части, прикреплялась *поднизь*, особая золотная вязаная сетка, низаная жемчугом со вставкою по местам жемчужных же репьев с камнями или просто больших гурмыцких жемчужин. Поднизь окаймлялась также гурмыцкими зернами. В нижней ее части, ниспадавшей по лбу, ставились в привеске на спнях всегда самые лучшие зерна, т.е. самые крупные и особенно круглые или же отличавшиеся своею фигурою, *уродоватые*. Кроме того, нижняя кайма поднизи украшалась какими-либо тоже жемчужными или металлическими фигурами, вроде репьев, коронок, звездок и т.п., которые при движении головы тряслись и блистали, как об этом замечает в своих записках и Таннер, видевший при своем въезде в Москву множество народа и многих женщин, без милосердия набеленных и нарумяненных: у них у кик свешивались на лоб серебряные звездочки, которые тряслись и блистали. Подзор над самую поднизью убирался также особою каймою из каких-либо фигур. На одной из кик царицы Евдокии Лук. такая кайма состояла из пяти птиц, снизанных из жемчуга и утвержденных на золотых спнях (булавах), так что они, вероятно, выдавались из убора несколько вперед.

К задней части кики, к нижней кайме подзора прикреплялся *задок*, особый плат из черного бархата или из соболя, на что употреблялся один целый мех соболя, которым определяется и величина этого плата.

В каком виде кроится этот задок, сказать утвердительно не можем. Должно полагать, что плат, дабы он способнее ниспадал около шеи, должен был делиться на *лепести*, т.е. в нижнем конце он разрезался, вероятно, на 3 закругленные доли, которые и составляли лепести, одну в середине на подзатылье, а две по сторонам. Бархатные и соболя задки подкладывались обыкновенно тафтою. О таких тафтяных лепестях упоминается при изготовлении белых кик царицы Марьи Ил.; рисунок их, вероятно, был подобен лепестям каптура, см. рис. II, 16.

Царицына уборная казна не была, однако, слишком богата киками. У царицы Евдокии Лук. было всего пять кик, из числа которых одну первого наряда царь Михаил подарил своей дочери двухлетней царевне Ирине в 1629 г. июля 3 (по другому свидетельству ноября 3). Эта кика описана след. образом: Кика — атлас червчат, на ней запоны золоты с камнем с алмазы и с яхонты и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат черный. Остальные: Кика атлас червчат, на ней цка золота, по цке в репьях камень в гнездах яхонты лазоревы и червчаты и изумруды, в поднизи зерна гурмыцкие на спнях, назади бархат черный. Кика — атлас червчат запоны золоты с камнем с алмазы и с яхонты и с изумруды, меж запон в гнездах яхонты лазоревы черв-

чаты и лалы. В поднизи репьи низаны (жемчугом) с каменьи; по краем у поднизи зерна гурмыцкие, а по кике на спнях золотых птицы (5 птиц) низаны жемчугом; назади бархат черный. *Кика* белая, у ней запоны золоты с каменьем с яхонты и с лалы и с изумруды и с бирюзами; назади соболь. *Кика* белая ж, у ней цка серебряна, золочена; назади соболь.

У царицы Марьи Ил. находим 4 кики, те же самые, которые с добавлением одной перешли к царице Наталье Кир. Вновь поступившая кика принадлежала царевне Ирине Мих. и, кажется, была только богаче украшена и, быть может, переделана из указанной выше, подаренной ей отцом. Она описывается так: Кика — атлас червчат, на ней запоны золоты и алмазы и с яхонты червчатými и с лазоревыми и с изумруды; в одной запоне орел одноглавый, в нем яхонт лазорев; в поднизи цка золотая, по ней низано жемчугом живые репьи с каменьи; в поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; позади бархат черный (Бывала царевны Ирины Мих. и поставлена та кика ее государыни царевны в казну, 1676 г.).

У царицы Агафьи Сем. было две кики, одна 1-го наряда, другая 2-го наряда, которые хранились в бархатных влагалищах за хоромною печатью, а потому подробно и не описаны.

Переходя по наследству от одной царицы к другой, кики, разумеется, возобновлялись и переплавлялись, особенно в тех частях, напр., задках, которые могли быть занашиваемы.

У кик был еще убор, составлявший необходимую их принадлежность, это были *рясы*, длинные пряди из жемчугу вперемежку с дорогими каменьями и с золотыми пронизками (бусами различной формы и работы). Пряди были двойные, тройные, четверные и т.д., отчего и рясы назывались *тройными*, *четверными* и т.д. Пряди утверждались в верхней части в золотые же колодки или лапки с кольцами, посредством которых рясы привешивались к кике по сторонам, над висками, и след. ниспадали вниз к плечам или на грудь. Иногда промеж жемчугу помещались, вместо пронизок-бус, тоже колодки или лапки с дорогими каменьями, также орлики и другие фигурки из золота*. У царицы Евдокии Лук. в 1626—1627 гг. было четверо кичных ряс: *Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и

* Нет сомнения, что слово *рясы* одного значения с *ряснами*, ресницами, т.е. в отношении какого-либо убора и украшения оно обозначало вообще что-либо сходное с бахромою, прядями, кистями, мохрами, также сборками, зубчиками и т.п. Южная песня, обращаясь к дубу говорит: *листья твои рясни*; рясою в Тульской губ. называются семена березы; ряски — изодранное платье, отрепье, лохмотье, мохры; он весь в *рясках*, *ряска* на *ряске*, говорят в Вологодской губ. Отсюда понятен и старинный способ низанья жемчугом в *рясную*, *рясою*, *ряскою*, в отличие от низанья в одно зерно. В старинных кичных уборах рясами, как мы видели, назывались длинные жемчужные пряди, по всему вероятию, в единичном смысле рясы, как только снизанной пряди, нити. В областном же быту значение этого слова распространено: *Ряски* значит 1) жемчуг или бусы, вынизанные на шелку и поставленные *сборами*. 2) Привеска жемчужная, привешиваемая к кокошнику у женщин и к венцу у девиц для украшения лба (Твер.), или жемчужная решетка, сетка, пришиваемая к передней части кокошника или венца (Псков.), что в других местах и в допетровском уборе, как видели, называется поднизью. Наконец, рясами зовутся жемчужные серьги и жемчужные их подвески (Арх., волог., — Областн. Словарь и Даля — Толковый словарь).

по концам 16 яхонтов лазоревых да 8 лалов, да промеж жемчугу ж и камня 16 пронизок золоты репейчаты прорезные с финифты с розными; по сторонам у пронизок в гнездах искорки яхонтовые да изумрудные. У ряс колодки и кольца золоты с финифты с розными, около колодок веревочки низаны жемчугом, у колодок в гнездах 4 алмаза да 4 яхонта червчатых гранены да два изумруда. *Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и по концам 24 яхонта лазоревых да 8 пронизок золоты с чернью; по сторонам у пронизок в гнездах искорки яхонтовые да изумрудные; у ряс колодки и кольца золоты с чернью, в колодках четыре алмаза гранены да четыре яхонта червчатых да 2 изумруда, да у колодок же 24 зерна невелики на спнях золотых (Отметка: 143 г. авг. 14, се рясы царица пожаловала дщери своей царевне Ирине М.). — *Рясы* жемчужные, промеж ряс и по концам 18 колодок золоты с чернью, у колодок по сторонам искорки яхонтовые да изумрудные; у ряс колодки золоты с чернью на три грани, в колодках 8 яхонтиков червчатых да 2 искорки яхонтовых лазоревых да два изумруда; поверх колодок 2 прониски с кольца золоты, в пронисках искорочки яхонтовые да изумрудные. (И 136 г. ноября в 8 д. се рясы государыни царица и в.к. Евд. Лук. приложила к чудотворному образу к Знамению Пречистые Богородицы, что у государева Старова Двора). *Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и по концам орлики золоты, в орликах искорки лаловые да бирюзки. (И 135 г. апреля в 23 д. се рясы государыни царица и в.к. Евд. Лук. приложила к чудотворному образу Пречистые Богородицы Владимирские, что стоит в соборной церкви Рожества Преч. Богородицы на Сенех).

В летнее время при выездах в богомольные и другие походы царицы надевали *шляпы* белые поярковые с круглою тульею и с полями вершка в 2 и более ширины, рис. IV и VI. Иностранцы находили эти шляпы сходными с клобуками их епископов. Действительно, шляпы были мужского образца. Наружная их сторона покрывалась обыкновенно левкасом из белил (в обычных случаях из мелу) и рыбьего клея, что придавало убору глянцевиный, лоснящийся вид и сохраняло от дождя. Их поля, называемые *полками* с исподы подбивались гладким или золотным атласом червчатого цвета, а по краям обшивались тафтяным торочком; внутри, в тулье, шляпы подкладывались гладким таким же атласом, если полки были золотные, или тафтою, червчатою, зеленою и других цветов. Кроме того, шляпа всегда украшалась *снуром*, атласною или тафтяною лентою, вышитою золотом, низанною жемчугом, убранною запанами с дорогими камнями. Эта лента огибала шляпу по венцу тульи и через полку двумя концами ниспадала к плечам, с боку, или по заду к спине. На концах сверх того висели низаные же *фунтики* или *спицы* и кисти. В XVI ст. шляпы цариц убирались с особым богатством. В 1585 г. мая 21 царице Ирине Федоровне была делана шляпа большого наряду тремя золотошвеями мужчинами, Мартыном Петровым, Юрием Андреевым и Богданом Григорьевым, которые за то получили в награду по сукну в 2 р. и деньгами по 2 р. Довольно значительная награда показывает, что шляпа была

устроена с большим искусством. В казне царицы Шуйской хранились “шестеры шнуры с кистями шиты золотом и серебром с шолки; 4 шнуры шиты по белой тафте розными шолки, на концах кисти шолк червчат. Снур шляпочный делан картуелью и трунцалы с жемчуги, подложен тафтою зеленою, 4 кружева снурных, 2 низаны жемчугом, а 2 шиты золотом и серебром. 2 *фуника* от снур низаны жемчугом”.

В числе уборов царицы Евдокии Лук.находилось всего только семь шляп: “*шляпа* валеная бела, у ней полки по атласу по червчатому низано жемчугом с канителью, а в ней подложено атласом же червчатым; вторая — полки подложены атлас с серебром; третья — полки — атлас золотной, четвертая — подложена атласом золотным по червчатой земле травы и опахала... Пятая — полки по атласу по червчатому деланы трунцалом травы”; и еще две шляпы — подпушены полки атласом золотным по червчатой земле, по одном атласе травки велики, а по другом травы мелковаты с шолки с розными. Все шляпы в тульях имели атласную червчатую подкладку. К ним принадлежали *три* шнура шляпочные: *снур* по атласу по червчатому низан жемчугом большим с канителью, в нем запоны золоты с алмазы и с яхонты и с изумруды, промеж запонок и сверху и с исподи в гнездах каменеь яхонты и лалы и изумруды. Другой такой же, с тем только отличием, что в числе камней находились бирюзы и не было лалов. Третий *снур* — по цке серебряной золоченой низан жемчугом, в нем 4 запоны золоты с финифты и с каменеь с алмазы и с яхонты и с изумруды, меж запан три изумруда.«...»

Наиболее обыкновенным головным нарядом особенно в осеннее и зимнее время были *шапки*, а исключительно зимою — *треухи* и *каптуры*. *Шапка* состояла из *верха*, т.е. тульи, и *пуха* или опушки, мехового окола. Шапки, носимые женщинами, отличались отчасти формою, а больше украшениями верха от мужских и потому назывались *женскими*. *Верх* или *вершок* шивался из шелковой, а чаще из золотной ткани или кругло (сферически) или конусообразно или делался столбуном (цилиндром).

В мужских шапках круглый верх б.ч. делался вдвое выше, чем у женских, и притом конусообразно; между тем как женский образец придерживался правильной полусферы. Другое отличие женских шапок от мужских заключалось в кройке окола. Девичьи шапки в этом отношении мало отличались; но шапки замужних женщин кроились несколько иначе, именно окол, или собственно пух, начиная с боков опускался вершка на 2 на затылок с тою целью, чтобы и этим нарядом скрыть от людских глаз свои волосы. Спереди в наlobной части точно так же оставался небольшой *мысок*, вероятно, с целью придать наряду бо́льшую красоту, а лицу выразительность. Оттого у женских шапок окол носил исключительное название *пуха*, ибо кроился не ровно, а смотря по фигуре выема, см. рис. V, 2 и др.

Вершок женских шапок первого наряда всегда украшался с большим богатством и с большою затейливостью золотым шитьем,

жемчужным саженьем с камнями, переперами, запанами и тому подобными прикрасами. Естественно, что такие украшения трудно было ставить на мягкой тулье, и потому было необходимо устраивать ее подклеиную, как у шляп; *шапочные подклейки* делались из александрийской (картузной) бумаги и заячины или из клееной легкой ткани; для простых шапок на это употреблялась клейная крашенина. В кроенье на вершок шапки выходило атласу под золотное шитье 5 вер., шириною около аршина, след. тулья верха вышиною бывала не менее 4 вершков. *Пух* или *опушка*, окол, кроился из бобрового черненого меха, на что выходило два бобра.

Для большей красоты между блестящею золотом или серебром, жемчугом и камнями тульей и ее бобровым окомлом помещали почти всегда особую кайму из золотного *плетенька* или *пояска*, который пришивался поверх пуха или окола, и из бобровой же *накладки*, или *накладного пуха*, узенькой меховой ленточки, которая отделяла плетенок от узоров и украшений богатой тульи. Такое разделение меха от тульи золотною меховою каемкою в действительности придавало наряду немало красоты и узорочности. На накладку выходило меху 2 звена, т.е. две части или половина целого бобрового меха. Иногда вместе с этою каймою или взамен пуха употреблялось золотное плетеное или кованое кружево. Мы говорили, что в шапках первого наряда тулья всегда украшалась богато и затейливо. Кроме золотого шитья с канителью трунцалом, бганью и т.п., и жемчужного низанья с камнями, живыми репьями, переперами и проч. в виде разнообразных трав и узоров, эти тульи очень часто украшались и низанными из жемчуга или шитыми золотом изображениями различных животных, особенно птиц. Бывали низаны орлы двоеглавые и даже осмиглавые, инроги (единороги), павы, птички, зверьки.

Внутри тулья подкладывалась у холодных шапок атласом червчатым, а у теплых легким мехом, обыкновенно черевами белыми.

Для сохранности шапок с богатыми уборами полагались на них тафтяные *чехлы*, и хранились они в Мастерской палате на шапочных *столбунцах* или болванах.

Мы заметили, что шапки, носимые девицами, походили на мужские. Они делались с *окомлом* в собственном значении, т.е. их меховая опушка огибала голову венком и не опускалась на затылок, как пух у женских шапок. Притом и околы их бывали обыкновенно собольи, особенно у шапок нарядных; окол из бобрового пуха ставился на шапках повседневных, победнее. Кроме того, как девицы, так и женские шапки не имели, подобно мужским, *прорех* передней и задней. Шапки царевны Ирины описываются следующим образом: Шапка — окол соболей, тулея — атлас золотной по червчатой земле, по атласу низано жемчугом, меж жемчугу репьи золоты с финифты с разными, да репьи ж канительные с жемчуги, меж репьев вшита запона золота, а в ней 21 яхонт, червчаты. Шапка — окол соболий, тулея — атлас серебрян по алой земле. Шапка — окол соболий, тулея — атлас золотной по зеленой земле. Шапка — атлас ал с пухом, кружево золотное кованое. (И тое шапку пожаловала государыня немке Дунке). Шапка шита по белому атласу,

цепи золоты, звески (звездки) с шелки с розными, по верх пуху плетенок золотной; и пр.

Кроме этого образца девицы в зимнее время носили шапки лисьи черные, *горлатные* и *черевьи*. Так исключительно назывались высокие прямые шапки, у которых вся тулья, вышиной от 6 до 8 вершков, была меховая. В вершине такие шапки делались несколько шире, чем в венце. В них обыкновенно являлись бояре при посольских приемах, отчего они и носят название шапок боярских. На устройство их тульи, на подклейку употреблялась ирха (выделанная кожа) и ролдуга или ровдуга — замша. См. рис. IV, 7; VI, 2; VII, 2, 4.

Черевья или горлатная шапка была необходима для новобрачной, ибо, по свадебному чину, новобрачная должна была в ней выходить в хоромы на другой день свадьбы, когда ее торжественно подымали с постели сваха и боярыни; поэтому мы находим такие лисьи шапки и у цариц в казне.

Столбунцами назывались шапки цилиндрической формы с прямою тульею, которая бывала или вся меховая, обыкновенно соболья, или из шелковых и золотных тканей, из атласа, бархата, объяри, зорбафа и т.п., с пластинчатою собольею опушкою. Вершок или *круг* в обоих случаях кроился также из шелковых и золотных тканей и украшался иногда жемчужным низаньем с запонами и каменьями. Судя по кройке таких столбунцов маленьким царевнам, тулья их была не слишком высока.«...»

Холодные столбунцы подкладывались атласом и тафтою, а теплые легким мехом. В царицыном быту столбунцы употреблялись редко; их находим только у царицы Марьи Ильичны один: столбунец — круг алтабас золотной развода серебрена; тулея — пупки, окол — пластины собольи; и у ц. Агафьи Сем. три, в том числе: столбунец — объярь серебряна, по ней травы золоты с шелки, подкладка — атлас жаркой цвет; опушка — пластины собольи. Столбунец — зарбаф серебрян, по нем травки золоты с шелки; подкладка — атлас бел; без опушки“.

В числе более употребительных зимних головных нарядов, преимущественно у замужних женщин и особенно у вдов, первое место принадлежало *каптуру*. О каптуре может дать некоторое понятие его потомок, выходящий уже из употребления, теперешний капор. Это был наряд вполне защищавший голову от стужи, от ветра и от всякой непогоды. Он весь был меховой и покрывал не только голову, но и облегал по сторонам лицо до самых плеч. Каптур кроился из собелей с невысокою цилиндрическою тульею, наподобие кики, и с тремя ушами, ниспадавшими до плеч на затылке и по сторонам головы. Рис. I, 8; II, 16; VI, 1. В кройку обыкновенно выходило собелей 2½ пары. По краям наряд опушался бобром, на что употреблялось или целый бобр или два бобра без трети, смотря по ширине, какую желали дать опушке. Из целого бобра выкраивалось опушки 4 ар. 3 в., шириною в 2 вер. В опушке около чела ставился особый бобровый мех, черненный, называвшийся пухом *передним, очельным, челошным*, для чего употреблялось полбобра (2 звена) и целый бобр. Кроме того, этот очельный пух убирался по-

верх еще бобровою же накладкою, *накладным пухом*, которого выходило одно звено или четверть бобра. Испод каптура подбивался также мехом, собольими пупками, и так как он облегал кругом всю голову, то и назывался *оголовью*, *оголовьем*; причем по краям ставились также небольшая опушка, называемая *оголовочным пухом*. На *ушки* ставилась треть бобра, самого доброго. Простые каптуры, деланные только для образца, кроились из мерлушек (овчины); вместо бобрового пуху на них употреблялся козел черненой, а на оголовочный пух — барсук. Из этого сочетания различных мехов нагляднее выступает связь всего мехового убора в каптуре. *Верх* каптура покрывался арабскими миткалями, которых в кройку выходило 4 вершка широких и 8 в. обыкновенных. Кроме того, для сохранности наряда всегда делался из таких же миткалей особый верх — *чехол*, на что употреблялось миткалей 6 верш. широких (в 2 арш. ширины) и 12 вер. обыкновенных (от 8 до 14 в. ширины). При каптурах употреблялась также и повязка из полотна, которого выходило в кройку пол-аршина литовского.

Каптур соболей упоминается еще в духовной княгини Иулиании Волоцкой, 1503 г. У царицы Евдокии Лук. в первое время было в казне только 4 каптура, потом их было 6 и наконец число их увеличилось до 8. У царицы Марьи находим их 7, из которых перешло к царице Наталье Кир. только 3. У молодой царицы Агафьи Сем. в казне вовсе не было каптуров.

Подержанные и поношенные старые каптуры царицы обыкновенно раздавали боярыням.«...»

Каптуры очень редко украшались богато наподобие нарядных шапок. Такой находим только у царицы Натальи Кир. — каптур пластины собольи с пухом; *верх* — атлас бел низан жемчугом с каменьи и с изумруды и с яхонты червчатými и с искры. (Делан у царицы в хоромах в 180 году).

Треух — зимняя шапка с тремя ушами, защищавшими уши и затылок. Его *верх* (тулья, покрышка) шился из шелковой или золотной ткани, из камки или атласу и алтабасу, которых в кроенье выходило 10, 12 и 16 вершков; но какой формы была эта тулья, в виде ли столбунца или скуфьи, — неизвестно. Впрочем, можно полагать, что это был по покрою тот же каптур, только крытый не мехом, а тканью. Испод у него, как и у каптура, кроился из собольих пупков или из пластин; выходило 5 пупков, а пластин 2 пары. Верх опушался также соболем, на что выходила пара; а кругом опушки поверх соболя *треух* украшался низаньем из жемчуга, или круживом, или запонами с каменьями. Кроме того, у *треуха* были, как и у кик, *лепести*, на которые выходило тафты 2 верш., во всю ширину (1½ арш.). *Треухи* принадлежали однако ж, к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко.

У царицы Евдокии Лук. в казне находим только один *треух* соболей, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны также один, а у Натальи Кирилловны 3. У царицы Агафьи Сем. их было 4; притом они шились уже из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце

XVII ст. треухи стали входить, так сказать, в моду: “*Треух* атлас виницейский по золотной земле травы и разводы шелк червчат, испод и опушка пластины собольи кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. *Треух* алтабас по золотной земле травы кубы серебряны; испод и опушка пластины собольи; вместо кружева запаны золоты с каменья с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным”.

Уборы, известные под общим именем *золота* и *саженья* или *ла-речной кузни* заключались, кроме некоторых головных, описанных выше, в нарядах шеи, каковы были *монисто*, *цепочка*, *ожерелье*; в наряде ушей — *серьги*, и рук — *перстни*, *жиковины*, *обручи*, *запьястья*, *зарукавья*. Самым значительным из этих уборов было *монисто*.

В областном языке до сих пор словом *манисты*, *монисто* обозначают ожерелье из бус, гранат и т.п., также из монет; тем же словом обозначают косынку шейную (новг.) и вообще *связку* предметов, снизу, напр., связку ключей, *манистка* ключей (тв.); называют так даже нижнюю челюсть белуги, вероятно по сходству ее с снизкою бус.

В южном областном языке *намистом*, кроме того, называют ожерелье из бус, на котором носится всегда *дукачь*, вероятно дукат серебряная, медная или оловянная бляха вроде медали, величиною в целковый.

Обычай носить на шее с ожерельем монеты и особенно золотые, а также и подобные монетам бляхи, имевшие значение и амулетов, очень древен и к нам перешел с незапамятных времен.

Можно полагать, что *монисто* — слово испорченное из греческого *номисма* — золотой, и что ближе к нему стоит южное произношение: *намиста*, из которого на севере уже последовала переделка в *монисто*. Как бы ни было, но *монисто* в древнем смысле означало шейный убор, ожерелье исключительно золотое, т.е. состоящее из золотых привесок, у которого на гайтане (снурке) помещались небольшие иконы, панагии, кресты, разделяемые в снизке золотыми *пронизками*, т.е. бусами. Летописец (Ипат. 219) рассказывает, что Владимир Василькович Волынский на смертном одре перед своими очами перелил все свое золото и серебро в гривны и разослал милостыню по всей земле: “и *мониста* великая золотая бабы своей и матери своей, все поля”... Он же возложил на *наместную* икону Богородицы *монисто* золото с каменьем дорогим (1288 г.). В числе женских уборов *монисто* упоминается и в Москве, в 1328 г., когда Иван Калита отказывает своей дочери Фетинье “матери ее *монисто* ново, что есмь сковал”. «...»

Заметим..., что на свадьбах *монистом* или *панагиею* по обычаю благословляла новобрачную родная мать. Царицу Евдокию, как видели, *монистом* благословила ее свекровь, инока Марфа Ив. Должно также упомянуть, что упомянутые выше *корольковые пронизки* на гайтане *мониста*, *принизывались* к *монисту* не без особой цели. В старинных лечебниках о *корольках* между прочим говорится: “аще который человек на *манисте* *кралки* носит, того колдование и

иное никакое ведовство неимет; а как тот человек позанеможет, то кралки красные белети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны... От тех же кралков дух нечистый бегает, понеже кралек крестообразно растет“.

Ожерелье. Именем *ожерелья* (от слова горло, жерло) обозначался шейный наряд или убор, состоявший собственно из атласного и редко другой шелковой ткани, низанного жемчугом, стоячего воротника. От мужского подобного же ожерелья оно отличалось лишь своею длиною, также характером низанья и других украшений. Мужское низалось обыкновенно в шахмат, а женское в-рефидь. Шириною такое ожерелье бывало не более 3 вершков и кроилось во всю ширину атласного полотнища (от 8 до 12 верш.). Эта лента ставилась на александрийскую (картузную) бумагу и подкладывалась киндяком, а по нем алою тафтою, вероятно, по настилке из хлопчатой бумаги. К платью оно прикреплялось посредством шелкового *мутовья* или мутовоза, особой вздержки, которая сплеталась по нижнему краю. Напереди ожерелье застегивалось богатыми пуговицами. Его носили как стоячий воротник, рис. I, II; но располагали также около шеи и несколько отклонно к плечам, причем, разумеется, оно и выкраивалось иначе, в нижней части шире, чем вверху, в самой горловине. Рис. IV, 7; VII, 4.

В 1328 г. Иван Калита в числе золота отказал своей дочери Фетинье *ожерелье*, не обозначив подробно, какое оно было; а двум меньшим дочерям Марье и Федосье отдал наряд с двух своих кожухов с аламы с жемчугом — на ожерелье. Князь Верейский, 1486 г., отдает дочери ожерелье с великими яхонты, сажено с зерны с великими; другое ожерелье пристежное с передци низано.«...»

Описания ожерелий цариц XVII ст. мы не встречаем по той причине, что их *низанье* сохранялось всегда в ларцах и шкатулах за хормоню печатью и не поступало в руки дьяков для описи.

У царевны Ирины М. было ожерелье: по цке серебряной золоченой низано жемчугом рогатым большим; в ожерелье меж жемчугу 20 изумрудов в золотых гнездах; у ожерелья 6 пуговиц зерна гурмыцкие большие на золотых спнях; у пуговиц в закрепках 3 яхонты лазоревы да 3 лалы в золотых ногтях, подложено тафтою алою.

Более употребительный узор низанья ожерелий, особенно во второй половине XVII стол., был рефидь, или арифидь; рис. III, 2; V 4.

Приводим несколько описей женских ожерелий из свадебных рядных записей XVII ст.: — 1643 г. Ожерелье жемчужное низано в-рефидь пуговицы золотые цена 150 руб., другое ожерелье — обнизь пуговицы серебряные позолочены цена 70 р. — 1667 г. Ожерелье жемчужное обнизь пуговицы золоты с искрами яхонтовыми. — 1674 г. Ожерелье жемчужное большое низано в-рефидь с пуговицы; другое ожерелейцо малое пришивное с камнем. — 1677 г. Ожерелье жемчужное низано в-рефидь пуговицы золотые с яхонтовыми и с изумрудными искрами и с зерны бурминскими; ожерелье узкое с изумруды и с зерны кафимскими, у него три пуговицы лал да изумруд да яхонт с зерны бурминскими.

Ожерелья — воротники составляли наиболее богатый и видный убор этого рода, по той причине, что, обнизанные жемчугом, а нередко и камнями, представляли в убранстве большие узорочья, чем ожерелья простые, низанные в низку на нитях. Закрывая высоко шею и грудь, они, кроме того, в полной мере отвечали требованиям постнического идеала не раскрывать оболещений женской красоты, а потому и составляли самый употребительный и обычный наряд не только для женщин, но и для девиц, которые, разумеется, употребляли и простые низки жемчугу на нитях, пользуясь свободю открывать по крайней мере хотя одну шею. У царевны Анны М., находим два таких ожерелья, одно зерна гурмыцкие, другое — жемчуг рогатый большой.

Серьги. Обыкновенная, наиболее употребительная и, вероятно, самая древняя форма серег состояла из кольца, вдеваемого в ухо, к которому прикреплялась висящая булавка или *спень* с надетым на него дорогим камнем, всегда просверленным для этой цели, ибо в древности иначе не умели укреплять камни в подобных случаях. Конец спня, оставшийся ниже камня, украшался, кроме того, двумя большими жемчужными зернами, точно так же надетыми на спень одно к другому. Взамен зерен ставились и золотые *бубенчики* (бусы дутые), а также *каточки* (бусы литые). Это были *серьги одинцы, одиначки*. Иногда таким же образом укреплялись два камня на двух спнях, тогда *серьги* назывались *двойчатыми*, *двойчатками*, *двоечками*, *двоинками*; если три — *тройчатыми*, *тройнями*.

Серьги — *лапки* назывались так, если ушное кольцо книзу устравалось в виде лапки. В лапки вставлялись жемчужины или дорогие камни.

Серьги — *колты*, *серьги* колодкой, состояли из ушного кольца, которое в нижней части оканчивалось различной величины и различной формы бляхою, кубовастою, круглою, овальною, или на-углы, также сенчатой, островерхой и т.п., что собственно и называлось *колтом* (колодка, брусок). К этому колту снизу прикреплялись *подвески* из жемчужных зерен, а самый колт всегда украшался финифтью или камнями. У древнейших серег на таких колтах изображались финифтью птицы, звери, сирены, львы, цветки и т.п.

Серьги — *запаны* состояли из ушного кольца и прикрепленной к нему запаны разного вида. Запаню называлась вообще бляшка в виде репья, у которого в середине ставился дорогой камень, большого размера, а вокруг него несколько камней меньших или же несколько искор. Внизу запаны почти всегда ставились три привески из жемчужин или из золотых бус с алмазами. Такие *серьги* составлялись иногда из нескольких запан разной величины, которые отделялись друг от друга золотыми камнями привесочками с жемчужинами по концам.

И запаны, и колты, и камни всегда украшались разнообразными привесками, каточками, трубочками, чепочками, репьями и т.п., которые размещались по желаемой форме или образу. Упоминаются *серьги орлички* или *орлики*, называемые так по фигурам орлов, служившим привесками. По свидетельству Флетчера, обыч-

новенная длина серег бывала в 2 дюйма и больше; но вообще тогда любили носить серьги длинные.

Перстни—жиковины. В духовной в.к. Дмитрия (†1509) именов перстней обозначены жиковины: “а перстней моих золотых: напалок да 14 жиковин с лалом и с яхонтцом и с берюзами и жемчужки и с перефтми (перелефть, халцедон) и с плохим камением”. Там уже упомянуты “двадцать и три жиковины женских золоты с яхонтцы и с лалцы и с изумруды и с жемчужки и с плохим каменейцом”. Семнадцать жиковин золотых отказывает своей дочери кн. Верейский в 1486 г.

Именем жиковины в XVII ст. обозначалась большая дверная петля, вырезная в виде лапок жука или вообще в форме, сходной с цеплястою лапою какого-либо подобного насекомого. Таким образом, можно полагать, что жиковиною называлось кольцо с дорогим камнем, который был укреплен во вставке или в гнезде посредством какой-либо цеплястой фигуры, охватывавшей его подобно лапкам жука. В XVII ст. в описании подобных перстней такой способ укрепления камней обозначался так: гнездо (с алмазом) в ногтях или в ногтях яхонт синь кверху островат. Но точно так же жиковиною мог обозначаться перстень древнейшего устройства, который делался не сплошным слитым кольцом, а кольцом — согнутым или обогнутым около пальца, так что концы этой огиби, приходившиеся с исподней стороны, охватывали палец подобно лапкам жука или когтя птицы.

Кроме того, известно, что у египтян, а потом и у древних греков жук имел символическое значение и очень нередко изображался на перстнях. Эти перстни — скарабеи устраивались обыкновенно так, что резная в виде жука печатка из дорогого камня или металла вставлялась в кольцо на вертлюгах или осях, которыми служили концы самого кольца. Вставка с верхней стороны изображала фигуру жука, а с исподней на ней вырезалась печатка, т.е. какие-либо знаки, иероглифы или какое-либо изображение. Перстень по верхнему изображению жука именовался вообще скарабеем. Впрочем, судя по некоторым указаниям, жуком, жуковиною обозначалась вообще выпуклая часть чего-либо, напр., на плоскости вроде сука, суковины. Жуковиною называется выпуклая округлая часть верхней доски от распиленного бревна, в отличие от плоской, которая называется запиленком. Жучками назыв. особые косточки на гладкой коже некоторых рыб, у осетра, стерляди и т.п. Жуки — особые металлические выпуклые репы, *исподники*, род небольших ножек, приделываемых по углам к нижней доске переплета на книгах напрестольных евангелий. Таким образом, “жиковиною” на самом деле могла обозначаться различного вида выпуклая бляшка, составлявшая необходимую принадлежность перстня, который тем и отличался от простого кольца.

Что царицы носили перстни, в этом, конечно, нельзя сомневаться; к сожалению особого описания их перстней нам не встретилось. «...»

Перстни, серьги и другие подобные предметы, конечно, хранились в футлярах или особых коробочках, которые и изготовлялись

смотря по надобности. Так, в мае 1692 г. царице Наталии Кир. было сделано шесть *перстневиков*, длиною по 4 вер., в ширину $1\frac{1}{2}$ вер., с выдвигаемыми ящиками; три *коробочки сережные* длиною и шириною по $2\frac{1}{2}$, а вышиною по 1 верш., с лица оклеенные бархатом красным, внутри тафтою, по краям серебряным галуном.

Кроме перстней, к золотым нарядам рук, именно ручной кисти, принадлежали *обручи*, *запястья* и *зарукавья*, соответствовавшие нынешним браслетам. *Обручи*, состоявшие собственно из золотой и вообще металлической проволоки, более или менее толстой, гладкой или свитой вдвое, втрое и т.д., были самою древнейшею формой такого наряда; по крайней мере, в отношении их названия, они указывают такую древность, которая превосходит древность *обруча* уже в переносном его значении, как связки для разной деревянной посуды, напр. бочек, кадок и т.п. Очень естественно, что и употребление обручей мы встречаем в более старое время, чем описываемая нами эпоха. Так, в XIV в. они, по-видимому, были еще очень любимым нарядом. В 1328 г. Калита отдает своей дочери Фетинье, из *золота* ее матери, 14 обручи. ...В XVII ст. об обручах уже не поминается; их заменяют зарукавья и запястья, да и те, сравнительно с другими нарядами, в виде браслет употребляются очень редко. Быть может, большим или меньшим употреблением этой части наряда рисуется самый переход женского быта от большей свободы общественного положения женской личности к большей его замкнутости, даже и в отношении одежды. Более открытая одежда требовала, конечно, и в большей мере таких нарядов, как обручи — браслеты; напротив того, когда одежда становилась покровом постычливости, то оказывались излишними и разные ее принадлежности, возвышавшие красоту открытую.

Что касается *запястий*, то этим словом очень редко обозначаются браслеты вроде обручей. Запястьем называлась у всякой одежды конечная часть рукава, противоположная *коренню*, по той, вероятно, причине, что она покрывала запястье руки, т.е. не только верхнюю часть ручной кисти, но и верхнюю ее сторону, противопологаемую ладони. На такое значение запястья указывает кройка рукавиц, у которых исподы полагались в ладонях из беличьего меха, а запястья из собольего; у холодных рукавиц *запястья*, собственно поверхность рукавицы над запястьем, или вся поверхность кисти богато украшались золотым шитьем. У некоторых одежд, особливо у мужских, запястья (абшлага) также украшались или кружевом или шитьем и низаньем и даже дорогими камнями, как напр. у царских станových кафтанов. В женской одежде подобным образом украшались запястья верхних сорочек. Прямых известий о том, что подобные запястья носились на руках отдельно от одежды, мы не имеем. Запястья с значением браслета, т.е. носимые не на рукавах только, а на руках, назывались по большей части *зарукавьями*, как убор, которого место на руке было за рукавом, по конец рукава. От *обручей* такие браслеты отличались тем, что состояли из цепочки более или менее широкой или собственно из нескольких звен, соединенных цепочками или петельками, между тем как обручи делались из цельной проволоки кольцом и могли разни-

маться разве только посредством вертлюга (шолнера), что вошло в употребление уже впоследствии.

Богатые зарукавья и запястья—браслеты находим в царской казне Шуйских, Матер. № III. У царевны Ирины было: *зарукавье* — две чепочки золоты звенчаты навожены чернью; у зарукавья в гнездах 10 алмазцов граненых да 10 зерен жемчужных. Под это зарукавье для хранения сделаны две *колодки*, обшиты тафтою адою, род футляров, на которые зарукавья надевались.«...».

Дорогие *булавки*, которыми закалывали на голове уборы и с этою целью употребляли и в других уборах, упоминаются еще в конце XV ст. с именем *занозок*. В 1489 г. князь Верейский отказывает своей дочери между прочим “трои заноски золоты“. В царской казне начала XVII ст. описаны: “3 булавки зерна гурмыжские на золотых спнях большие скатные; 4 булавки зерна невелики гурмыжские ж, три на золоте ж, а четвертая на серебре“. Булавка, таким образом, состояла или из одного *спня*, как занозка, или из спня с жемчужною головкою. Особого рода булавки назывались, кажется, *пелепелками*, и собирательно *пелепелом*.

В духовной в.к. Дмитрия (†1509) упоминается 11 *запонок* с переперы с яхонты и с лалы и с жемчугом и с плохим камнем, которые, по всему вероятно, были не что иное, как булавки.

Все описанные предметы назывались общим именем *кузньо*, потому что были металлические, кованые; также *низаньем* и *саженьем*, потому что были жемчужные, так как в низанье и саженье употреблялся один лишь жемчуг и небольшою частью дорогие самоцветные камни, или просверленные или же утвержденные в гнездах с ушками.

Ларец, в котором все это сохранялось, был вместе с тем и уборным ларцем, вполне заменявшим для наших прабабок уборный столик. В таком ларце, величина которого была различна, смотря по богатству и широте потребностей, в верхней кровельной его доске устраивалось иногда и зеркало; но большею частью зеркала делались в особых металлических же влагалищах—футлярах, бывали небольшие, вершка в 3 и 4 или меньше и больше, и всегда с крышкой, т.е. всегда закрывались створкою своего футляра. Если же такое зеркало было вставлено только в ободу, в рамке, то во всяком случае его хранили тоже во влагалище суконном или бархатном.«...»

...В уборном ларце, кроме белил, румян, сурмил и клею для подклеиванья волос, особенно бровей, сохранялись, по всему вероятно, и различные другие снадобья, необходимые для возвышения всяческого телесного благолепия и красоты, как то: умыванья, ароматы или водки (духи), балсамы (помады) и т.п. В царском быту такие составы изготовлялись обыкновенно в Аптекарской палате, смотря по надобности, по рецептам царских врачей. Но нет сомнения, что простые, не слишком замысловатые снадобья, особенно умыванья, готовились также и домашними лекарями, *комнатными бабками*.

Старинные “Прохладные или избранные *Вертограды*, изысканные от многих мудрецов о различных врачевских вещах” или врачевские книги, лечебники, дают много советов, как и чем наводить благолепие и светлость лицу, глазам, волосам и всему телу. Все они, конечно, вместе с переведенными лечебниками, приходили к нам из средневековой Европы и там значительною долею заимствованы еще от античной древности; но должно полагать, что от той же древности, через посредство Византии, иное из этих советов было и нам известно задолго до появления в нашей письменности упомянутых Прохладных Вертоградов. Силы естества в растительном и минеральном царстве были знакомы и нашим доморощенным ведунам и знахарям, а по женской части — ведуньям и знахаркам, которые... сохраняли много способов и средств нравиться даже тайных, в собственном смысле ведовских.

Простые средства приобретать красоту всех родов и видов были делом самым обычным и потому, быть может, так мало нам известны; ибо не было никакой надобности записываньем сохранять об них память. Так, из лечебников и из доморощенной практики наши допетровские красавицы должны были знать, что *овсяная* мука, смешанная с добрыми белилами и вареная в воде, доставляла умыванье, от коего лицо бывало бело и светло; — *ячмень* толченый без мякины, вареный в воде до великия клеести, потом выжатый сквозь плат, доставлял умыванье (в виде теплой воды) от загара. *Сорочинское пшено*, варено в воде, выводило из лица сморщенье. Вода из *бобового цвета*, равно и из бобовой травы, когда ею умывали лицо и тело, всякую нечистоту выгоняла, придавала телу гладкость и светлость. То же производили и бобовые скорлупы, вареные в воде до клея. Мука *бобова*, мелко толчена (пудра), если потирать ею тело, каким обычаем нибуди, лицо и тело ставила гладким. Семя *дынное*, варено в воде, давало умыванье для лица и рук, отчего тело бывало чисто и бело. Семя дынное, высушенное на солнце, толчено без чешуи мелко, смешано с мукою бобовою, или ячменною, или пшеничною на гуляфной водке (розовой воде) в виде пресночка (лепешки), высушенное потом на солнце, доставляло особый род мыла, от которого, при умывании лица и рук, тело становилось светлым и всякая нечистота и лишай пропадали. Вода из дубового листвия, как умыванье, тоже очищала все тело и доставляла ему светлость. Вода из *зори*, как умыванье, сгоняла нечистоту с лица и угри черные и прыщеватые и светлость наводила. К тому же служил сок корня травы *бедренца*, от которого лицо делалось чисто и молодо. Вода из травы *иссоповы*, как умыванье и питье, давала лицу светлость; иссоп в вине наводил лицу благолепие и т.п. Всякие подобные травы в достаточном количестве разводились в царских садах, московских и подмосковных, а также и в аптекарских огородах. Нет сомнения, что в этих садах ...собиралась девицами с цветов роса, которая тоже доставляла лицу свежесть и светлость. “Платом чистым, говорит Вертоград о рябом и угреватом лице, собирать росу с цвету колосов пшеничных зеленых и с цветов всяких, и плат выжимай (собирая воду), и тою росую умывать лицо, чисто будет”.

По советам врачей Вертограда многое благолепие доставляли также пряные зелья. Он говорит между прочим: кто часто *корицу* в брашне приемлет, у того бледность из лица выведет и благолепостен станет, также темность очную сгонит и светлость творит; *гвоздика* часто приятна — очам светлость наводит; *мушкатный орех* на тощее сердце прият утре (полореха) благолепие лицу наводит; *перец* эфиопский, аще во рте жуем, благовоние рту наводит и смердящий дух отгорит; *шафран* прият в питии благолепие лицу наводит и сердце укрепляет, т.п. Все такие пряности, как известно, и в действительности употреблялись в допетровское время в большом количестве во всякого рода брашнах и снедах и во всяких питьях, в водках, медах, винах. В XVII ст. напр., во всеобщем употреблении был аптекарский “сыроп коричной“, равно и *коричная водка* (вода), так как самым употребительным лечебным (предохранительным) средством была *водка апоплектика*, ароматически-спиртозная вода, в состав которой, кроме разных сильно духовитых, пряных растений; входили главным образом дух, т.е. спирт гладышев, коего шло около $\frac{2}{3}$, и водка гуляфная, около $\frac{1}{3}$, и которая поэтому употреблялась и вообще как благовоние для тела, ибо ею мыли голову.

Словом сказать, благовонные, ароматические и спиртозные воды различного состава во дворце и особенно на женской половине были в большом употреблении... Такие воды и водки хранились у царевен в особых *погребчиках*, ящиках и коробочках...

В казне царевны Ирины хранились: шкатула деревяная немецкое дело, писана золотом, с замком, а в ней 8 скляниц на аспидное дело, у скляниц шурубцы (пробки — завертки) оловянные. Шкатулка оклеена бархатом червчатым, оправлена серебром, в ней 5 скляниц, шурупы серебряны, *араматник* золот с *балсаны*, навожен финифты розными, наверху ниже колца в закрепке 8 алмазцов да в стоянце 12 искорок алмазных. *Араматник* золот с финифты с разными, привязка золото с серебром. У царевны Софьи Ал. был также *араматник* алмазной. Кроме того: *шкатула* оправлена волоченым и сканным серебром, сделана из благоуханного дерева с зеркалом и с двумя ящиками; в той же шкатуле ящик серебряной с камешки, да блюдечко, да малой ящик. *Погребец* деревянной, оправлен серебром, в нему 6 скляниц, 2 достокана хрустальные.

Совсем убранная, наряженная и изукрашенная красота покрывала свое лицо *фатою*, тонким сквозным покрывалом огненного цвета, как замечает Рейтенфельс, чрез которое можно было все видеть и самой быть видимой. Флетчер говорит, что такое покрывало употреблялось особенно летом и состояло из тонкого белого полотна или батиста, было густо унизано дорогим жемчугом и завязывалось у подбородка с двумя длинными висящими кистями. Фатою вообще назывался большой четырехугольный плат — покров, сшитый из самой легкой ткани, каковы были, напр., выбойки турецкие и индейские, миткали арабские, камки индейские, бязи т.п. Она бывала и цветная, т.е. набивная разными цветами, разноцветная, алая, синяя, но больше белая, нередко полосатая.«...»

По порядку первую одеждою была *сорочка* и в качестве белья, как рубашка, и потом в качестве теперешнего *платья*. Как белье, рубашка, шитая обыкновенно из полотна, она называлась в общем смысле *белюю*. Собственно это была сорочка нижняя. Как платье, она шилась большею частию из цветных тканей и потому носила общее название сорочки *красной*, т.е. верхней, более красивой по материалу и по убору. Нижние полотняные или *белые* сорочки кроились равно широко и в вороте и в подоле, т.е. из прямых полотнищ, без клиньев в подоле и с обыкновенными короткими рукавами. Ворот стягивался пояском или шнурком и посредине на груди имел небольшой разрез, дабы удобнее было надевать одежду.

Верхние сорочки кроились так же, как и нижние полотняные, с тою разницею, что они были шире и длиннее и имели до чрезвычайности длинные рукава, которые обыкновенно собирались на руке во множество мелких складок. О такой длине рукавов иностранцы свидетельствуют, что "складки их едва можно было уложить от кистей рук до самых плеч, что множество складок так хорошо защищали руки и плеча от холода, что даже зимою не было нужды надевать какую-либо одежду в рукава". Действительно, покрой вторых или средних одежд вполне соответствовал назначению носить рукава сорочки наружу и даже как довольно заметный убор во всем наряде. Вторые одежды, хотя и шились тоже с рукавами, но в мышках имели всегда проймы, в которые обыкновенно и продевалась рука, одетая в сборчатый рукав сорочки, так что рукава вторых одежд висели за плечом и кроились больше для полноты наряда, а вовсе не для употребления. Ниже увидим, что сорочечные рукава украшались сверх того богатым золотным шитьем и низаньем, как необходимым убором для видной открытой части наряда.

По свидетельству Олеария и Корба, рукава сорочек бывали длиною в 6, 8 и 10 локтей. Если считать обыкновенный локоть в $10\frac{2}{3}$ вершков, как он переводился на русскую меру в XVI и XVII ст., то выйдет, что длины в таких рукавах бывало 4 ар., $5\frac{1}{3}$ и $6\frac{2}{3}$ арш.

Коллинс, говоря об одежде царицы, замечает, что ее наряд от других особенно отличался длиною рукавов у сорочки, которые бывали от 30 до 36 английских футов. Чем тоньше была материя, тем длиннее делались рукава и потому длина кисейных бывала больше 10 локтей.

Верхние сорочки шились из легких шелковых тканей, преимущественно из тафты червчатой, алой, белой, желтой; также из тафты полосатой — полосы белы да червчаты, желты да червчаты, зелены да червчаты; из *шиды**, полоски алы с золотом, белы с золотом; из *кушаков*, тоже шелковой полосатой ткани, полосы белы, а другие желты с золотом; из кисей, особенно из цветной полосатой, шелк желт—бел, — бел—зелен—червчат, — желт—зелен, — бел—червчат, и т.п. Нарядные сорочки по швам вынизывались мелким жемчугом в *веревочку*, причем рукава по запястью до лок-

* *Шидою* или *шитою*, откуда *ситец*, называлась индийская бумажная набивная ткань. У нас именем шиды могли обозначаться и различные шелковые ткани, особенно тонкие тафты, но также всегда набивные, привозимые тоже из Индии.

тя и по швам низались особым более красивым способом *рясою* или *ряскою*, т.е. наподобие бахромы.

Иногда вместо жемчугу по швам бывали *кладены* пояски плетеные (тесьмы), золотые или серебряные. Особенно богато всегда отделявались рукава, преимущественно на плечах и у запястья; здесь они узорочно вышивались цветными шелками, золотом, серебром, низались жемчугом с мелкими золотыми дробницами или разнообразными бляшками. У сорочек, которые надевались под вторую одежду, рукава богато украшались шитьем и низаньем только у запястий. «...»

Сорочка верхняя, как мы заметили, соответствовала в употреблении теперешнему *платью*. Это была исключительно комнатная повседневная одежда, носимая с поясом, след. обозначавшая стан и грудь, что и ставило ее в разряд одежд стыдливых. Показаться пред посторонними людьми и особенно пред мужчинами в такой сорочке для женщины было величайшим неприличием. По рассказу Поссевино из-за такого именно обстоятельства совершилось при Грозном несчастное убийство царевича Ивана. “Все благородные и не совсем бедные женщины, говорит он, носят здесь обыкновенно по три одежды, которые, сообразно с временем года и состоянием погоды, то легче, то тяжеле. Женщина, которая носит только одну одежду, навлекает на себя дурную славу. Однажды во дворце, в Александровской слободе, в жаркий летний вечер, третья жена царевича Ивана, бывшая на последних порах беременности, лежала, растянувшись на скамье в легкой одежде, как вдруг вошел свекор ее, великий князь. Она тотчас вскочила, но в. князь, вне себя от гнева ударил ее рукою по щеке, а потом палкою (посохом), которую постоянно носил с собою, до того ее отделал, что она в следующую же ночь преждевременно разрешилась сыном. Царевич Иван прибежал на этот шум, вступился за жену и стал упрекать отца, что по его же жестокости он лишился своих прежних двух жен, удаленных в монастырь. Тогда гнев отца обратился на него, и он нанес ему посохом такой сильный удар в висок, что тот упал смертельно раненый и, несмотря на всевозможную помощь, скончался по прошествии пяти дней”.

Мы видели, что и былины, описывая зазорное поведение некоторых своих героинь, изображают их в одной сорочке и притом еще без пояса, делая тем самым прямой намек на забвение необходимого и обычного приличия. Покрой сорочек см. на рис. VI, 6; VII, 6; VIII, 4.

Из вторых или выходных одежд самую употребительную была *телогрея*. Это было платье распашное, застегиваемое по передам небольшими пуговками или нашивкою, т.е. завязками. Она кроилась, как и все другие выходные одежды, в длину почти до пят, при среднем росте в 2 арш., в ширину в плечах около аршина, в подоле в 3 арш. (или кругом в 6 арш.), с воротом в 8 вер. ширины, с длинными до и ниже подола рукавами, имевшими ширины в корени вершков 6, в запястье около 3 вер., у которых под мышками,

в ластках, делались *проймы* вершков в 5 длиною, в расстоянии от ворота вершков на 6 и больше.

В эти *проймы* телогрея и надевалась на сорочку, так что ее рукава всегда оставались висящими и ниспадали позади рук до подолу или связывались назади за спиною в перекидку друг на друга. По свидетельству иностранцев такие рукава почитались необходимым украшением этого платья, как и вообще обычного женского выходного наряда*. Для телогрей, как и вообще для выходного платья, употреблялись ткани более тяжелые, чем для верхних сорочек, именно золотные и простые камки, атласы, обьяри (гродетур), изредка тафты, а иногда *зуфь*, шерстяная ткань вроде камлота, и т.п. По вороту, по полам и по подолу эта одежда окаймлялась кружевом, обыкновенно золотным, также шелковым; полы, как мы сказали, застегивались пуговицами, число которых бывало различно: от 9 до 20 и даже до 30; обыкновенно бывало 15 и 17. Они становились по всей поле от ворота до подола.

Холодные или *летние* телогреи подкладывались тафтою, а по подолу сверх того имели атласную или камчатную *подпушку*, вершка в 1½ шириною, которая во всех подобных одеждах употреблялась для сохранности подольной части платья. Подпушка своим цветом всегда более или менее ярко отделялась от подкладки. К лазоревой, червчатой, брусничной, зеленой подкладке пришивалась подпушка желтая; к белой, лазоревой, желтой — червчатая; к червчатой — светлозеленая; к желтой — зеленая, алая и т.п. Есть известие, что у телогрей бывали и *зепи*, карманы... Под *теплыми телогреями* подкладывался меховой *испод*, горностаевый, белый, лисий, соболий, песцовый, а иногда и черевий, заячий, с *лухом*, т.е. с бобровою опушкою, причем на полах оставлялся *подполок* из той же ткани, из коей был скроен верх. Белые меха нередко *нацвечивались* черными, напр., белый песцовый *нацвечивался* черными песцами, т.е. по местам вшивались лапки, хвостики**.

Покрой телогрей см. рис. I, 2, 5, 6; рис. II, 2, 6, 7, 8; рис. IV, 2.«...»

К тому же отделу вторых или средних одежд принадлежала *шубка накладная* или столовая, в XV и XVI ст. обозначаемая просто *шубою*. Верейский князь в 1486 г. отказывает своей дочери: “Шуба кована бархат червчат, шуба камка мисюрская, шуба червчатая, шуба зелена, шуба багряна, шуба рудо-желта, шуба бела да другая шуба бела“. Княгиня Иулиания Волоцкая, 1503 г., отдает своей внучке женского платья: две шубы скорлат червчет одна без тафты, да шуба бело-голуба без тавты ж, да шуба цини (ценинного

* В простом быту эти длинные рукава служили глубокими карманами или вернее мешками для поклажи надобных предметов и вещей. В народе ходило прислово: “*Шей вдова широки рукава, было б класть куда небылые слова*“, которым ярко обозначалось в старом обществе беззащитное положение вдовьего быта, всегда подверженного небылым словам, т.е. клеветам на вдовье поведение.

** Меха по мехдре прокладывались ветошками: 153 г. июля 15 наплечный мастер купил на 8 алт. 2 д. ветошек рубашечных на царицыну телогрею киндячную черную, на черевей заячий испод на настилку.

цвета) без тавты ж, да шуба червьчεται ипская, да шуба светло-зелена лунская, да шуба багрецы... Так как наиболее обыкновенную тканью для шубок было сукно, то в этой росписи о нем и не упоминается, а обозначается только его цвет, и иногда местность, откуда привозилось ипское, лунское.

Шубка этого названия шилась покроем сорочки, без разреза на полы, и надевалась, как сорочка, с головы, отчего в отличие от других верхних одежд и называлась *накладною*, ибо не накидывалась на плеча по кафтанному, а накладывалась, как мы сказали, с головы. В этом ее различие от телогреи. Кроилась она длиною тоже до пят, при среднем росте 2 арш., шириною в плечах около аршина, с высоким прямым воротом, как у сорочки, т.е. с небольшим разрезом на груди для надевания, который застегивался пуговкою с петлею. Рукава ее ниспадали почти до подолу и в мышках или ластках имели проймы, в которые обыкновенно продевались руки, одетые в сорочку. Ширина подола расставлялась клиньями и обыкновенно бывала в 3 арш. или кругом в 6 арш.

Это платье, быть может, потому называлось шубкою, что на него употреблялись ткани плотные и тяжелые, шелковые, и большею частью золотные бархаты, атласы, алтабасы, зарбафы, объяри, камки (по преимуществу камка кизылбашская и *бурская*, как самая дорогая и тяжелая). Из золотных тканей кроились шубки парадные, праздничные, выходные и ездовые. Они подкладывались обыкновенно тафтою. Другой разряд накладных шубок, назначаемый только для домашнего употребления кроился из сукна, белого, червчатого, желтого, без подкладки, только с тафтяною подушкою по подолу. В накладных шубках обыкновенно выходили за стол, отчего они и назывались также *столовыми*.

Так как накладная шубка не была одеждою распашною, то на ней и не встречаем никаких наружных уборов, ни кружева, ни нашивки, ни пуговиц. Она оставалась *чистою*, т.е. без всякого наряда и убора. На богатых выходных и ездовых шубках всегда носили *накладное ожерелье*, круглый широкий воротник или пелерину из бобрового меха. Покрой накладных шубок см. на рис. I, 1, 3, 4; V, 3.

Покрой шубки и дорогие тяжелые ткани, из которых она шилась, способствовали тому, что у царицы, как и у больших царевен, она, особо украшенная, приобретала значение царского платна, порфиры, или вообще одежды царственной. Тогда она делалась распашною, с рукавами длиною только по кисть и шириною в запястье вершков в 7 или 8, и роскошно украшалась широким кружевом по запястью рукавов, по полам и по подолу. На полах, кроме того, ставились богатые пуговицы, числом 13, 14 или 15. Кружево особенно по передам украшалось нередко *аламами*, большими круглыми бляхами из басменного золоченого серебра.

На плечах у такой шубки полагалось из той же ткани круглое широкое ожерелье, род пелерины, соответствовавшее царской диадеме и потому всегда богато украшаемое кружевом с аламами. обнизанными жемчугом.«...»

Летник принадлежал к одеждам накладным, т.е. надеваемым подобно сорочке с головы, а не в опашку и потому кроился также сорочкою без разреза на полы. Его покрой в стану сходствовал с покроем накладной шубки. Но он отличался от всех одежд особым покроем рукавов, которые и назывались даже не рукавами, а *накапками*. В длину эти рукава, начиная от плеча, равнялись длине всего платья, след. простирались несколько, вершка на 4, ниже подола; средняя их ширина была в половину длины, причем в корени они делались шире на вершок против запястья. Они сшивались рукавами только до половины длины или несколько более; нижняя их половина оставалась несшитой и украшалась вошвами, так что на руке они висели как перекинутое полотнище. Рис. I, 3; II, 9, 10; VI, 5.

Нет сомнения, что по этой кройке и по особой ширине рукавов, одежда и получила особое название летника, как одежды открытой в рукавах, прохладной. Стан в плечах также кроился на несколько вершков просторнее, чем у других летних и даже зимних одежд. Ширина подола была обыкновенная, 3 арш., или вокруг 6 арш. Длина всего платья простиралась до пят и при среднем росте имела около 2 арш., как и все другие верхние выходные одежды, носимые в хоромах.

В кройке составные части летника были следующие: перед, зад или стан, крыльца, клинья передние и задние поднакапошные, ворот (воротник), подольник. Перед и накапки иной раз кроились из одной ткани, более богатой, или узорчатой, а зад и клинья из другой; разумеется, подобранной под цвет и под узор; а если из гладкой, то в этом случае ее подделывали вышиваньем, золотным или шелковым, смотря по ткани переда.

Подольник составлял особую от платья кайму шириною с небольшим в 2 вершка, которая пришивалась по подолу, но не опушкой, в накладку, а как прибавка к длине подола; она по большей части бывала атласная или из другой подобной же блестящей ткани и всегда другого цвета с платьем; так к белому атласному летнику пришивался подольник алый или червчатый; к червчатому — зеленый, светло-зеленый, празеленый; к лазоревому или желтому — червчатый и т.п. Нет сомнения, что в выборе цвета на подольник руководились желанием подобрать его к лицу, т.е. возвысить им и собственную красоту и красоту всего наряда. Все платье шилось из золотных и шелковых тканей, по преимуществу из золотной камки бурской, кизылбашской и подобных, также из кушаков, золотной же тяжелой полосатой ткани, и из шелковых — атласа, камки, тафты, дорогов и пр. Подкладка ставилась подо всем платьем легкая тафтяная.

Особый наряд или убор летника составляли *вошвы*. Это были небольшие полотнища или платы, скроенные косынями длиною в $1\frac{3}{4}$ или $1\frac{1}{2}$ арш. шириною в верхнем конце вершков в 8 и более. Нижний же конец несколько округлялся и срезывался на нет. Они делались из более тяжелой, плотной и дорогой ткани, обыкновенно парчевой, а большею частью и из гладкого атласа или бархата, по которому роскошно и богато украшались золотым и шелковым

шитьем и жемчужным низаньем с дорогими каменьями и нередко с металлическими дробницами.

Эти косыни своею долевою стороною пришивались к нижнему концу рукавов или накапок, причем широкий конец вошвы ставился к передней части рукава, а острый к задней, так что, при подъеме руки, широкий конец находился вверху, а острый наспал к подолу; в этом положении вся вошва всегда оставалась открытою и служила самым видным и роскошным убором одежды. Для того чтобы вошвы всегда оставались пышными и несмятыми, их подклеивали с подкладки рыбьим клеем.

Разумеется, такой покроем и убор рукавов требовал, чтобы руки всегда были подняты или прижаты к груди, дабы поддерживать вошву в долевым и открытом ее положении. В чрезвычайно длинных накапках с такими дорогими вошвами опускать руки было невозможно; тогда и накапки и вошвы волочились бы по земле. Но так как летник и особенно богатый, нарядный, был всегда одеждою парадною, а известно, что в допетровское время во всяких парадных, церемонных, а по-русски, во всяких чинных случаях держание рук у груди представлялось для женщин обычным, самым необходимым приличием, выражавшим вообще кроткое и покоренное их положение в обществе, то это видимое неудобство в покрое рукавов летника вполне совпадало с обычными и приличными формами умения держать себя в обществе.

Самое слово *вошва* указывает, что плат вшивался в накапку. Но оно же могло обозначать и то, что эти платы в богатом и достаточном быту украшались всегда вышиваньем, след. означали предмет наряда исключительно вышивной работы. Кроме вошев на рукавах, летник украшался подобными же, но меньшими косынками на груди у ворота, которые поэтому назывались *передцами*.«...»

Передцами вообще назывались платы разного вида, вшиваемые в платье для большей красоты на видных передних местах. Самые вошвы — запястья накапок украшались иной раз тоже передцами, т.е. особыми нашивками. В царицыной казне времен Шуйского были вошвы столпчатые, очень богато расшитые золотом шипами и начеканное дело, у которых были пришиты передцы — шиты по черчатуму атласу золотом и серебром волоченым.

Для осеннего и зимнего времени летник опушался бобровым пухом, т.е. меховою лентою около полвершка или меньше шириною, по вороту, по краям вошев и по подолу. С такою опушкою летники иногда носили и летом.

В холодную пору с летниками носили накладное бобровое ожерелье; в летнее время вместо такого ожерелья подавалась *опашница*, род короткой мантии из богатой золотной ткани, украшенная золотым шитьем. На таких опашницах времени Шуйского были вышиты золотом и серебром на одной орлы, олени, павы; на другой — орлы и олени, на третьей — орлы. Кроме того, у одной из этих опашниц были еще и *передцы*, шитые тоже золотом и серебром и бархаченые шелками. Четвертая опашница имела 14 пуговиц.«...»

В свадебных чинах летник приобретал значение как бы штатной мундирной одежды, равно как и накладная шубка, надеваемая с

ним вместе. Свадебные чины, свахи, сидячие боярыни по уставу должны были до совершения обряда наряжаться в летники, желтые, в шубки червчатые, в убрusy и в бобровые ожерелья, а зимою, вместо убрusов в каптуры. Сама невеста, готовясь к обряду, была в венце и также в желтом летнике и в червчатой шубке.«...»

Летник, разрезанный на полы, распашной, назывался *роspашницею*, а иногда и *опашницею*. Рoспашницу кроили из легких шелковых или золотных тканей, из камки, тафты, атласу, большею частью белого или червчатого и алого цвета; подкладывали или тафтою, или дорогами, и украшали кружевом около ворота, на полах и по подолу; также дорогами пуговицами, числом 15 и 20, которые пришивали на вороту, т.е. в верхней поясной части пол; рукава обшивали богатыми вошвами. Неизвестно, как длинны бывали рукава этой одежды. От летника она отличалась еще и тем, что не имела подольника, который заменялся кружевом.«...»

Покрой рoспашницы см. рис. IV, 6.

Опашень, иначе *охобень*, верхнее летнее распашное платье, из шелковой или золотой добротной ткани, а большею частью из червчатого сукна. Покрой его был такой же, как и у других верхних одежд, т.е. с прямым станом и со вставкою по бокам обычных клиньев. Как верхняя одежда, он делался во всех частях полнее; ворот у опашня кроился скошенным к полам и служил их продолжением. Около шеи к нему пришивалось вокруг *ожерелье* или *воротник* из ткани более богатой, обыкновенно парчевой; ширина этого воротника бывала вершка в полтора и к концам скашивалась или закруглялась, а длиною он ставился вершков в 20, так что концами опускался вершков на 5 или 6 по груди по обеим сторонам. Рукава бывали полные, обычной длины, т.е. *невступно* до подола. Полы и подол украшались кружевом, золотным, жемчужным, а полы, кроме того, застегивались такими же петлями и серебряными пуговицами, всегда великими, величиною с грецкий орех и больше, иногда половинчатыми, которые по своей величине справедливо назывались также *чашками*... Они украшались финифтью и камнями. Кружево часто полагалось вдвойне, одно широкое, другое узкое. На суконных опашнях вместо кружева делалась *строка*, прострочка мелкая или крупная, или же обе вместе, которые бывали и низаны жемчугом, одна в рясную, другая в одно зерно. Иногда вместо строки полагался картулин.

С исподу опашень подкладывался тафтою с атласною подпушкою под передами, т.е. под полами; впрочем, бывала и одна только подкладка без подпушки или же одна подпушка без подкладки; суконные же по большей части делались с одною подпушкою.

Число пуговиц, которые ставились на опашень, бывало неодинаково, что зависело частью от их величины (особенно крупные, занимали места больше и, разумеется, ставились реже), а частью от роста, т.е. от длины пол. Пришивали, 5, 7, 9, 11 и 15 пуговиц.

Опашни, как выходная верхняя одежда, в царицыном быту всегда убирались с большим богатством...

Покрой опашня см. рис. IV, 7...

Опашень или охабень, положенный на меху собольем, лисьем, горностаевом и т.п., назывался *шубою*. Воротник (ожерелье) у шубы ставился бобровый, отворотный, как у опашня. На передах или полах пришивались такие же большие пуговицы, числом 9, 11 и больше, с петлями или нашивкою, всегда украшенную кистями с золотными или жемчужными ворворками. Кружево на шубе не употреблялось. В царском быту в XVII ст. шубы кроились только для детей и очень редко для взрослых, ибо их вполне заменяли теплые телогреи, обозначаемые иногда шубами; также кортли и торлопы. У цариц в числе платья даже вовсе не находим шуб. В простом быту шубы употреблялись на образец мужских. См. рис. V, 2.

Кортель, одежда зимняя меховая, соболья, беляя, горностаевая, кунья, иногда нагольная, но обыкновенно покрытая легкою шелковою тканью, тафтою, камкою, кушаками. Кортель, даже и нагольный, украшался всегда богатыми вошвами и подольником; эти его части указывают на сходство в покрое с летником, почему, за неимением других, более прямых указаний, можно полагать, что это был по крою тот же летник, только исключительно зимний, меховой. Сходство с летником дополняется и тем, что у кортеля не было ни кружева, ни пуговиц. Но были ли у него столь же длинные и столь же широкие рукава — накапки, неизвестно. Можно полагать, что рукава кортля делались в обычную длину, но были широки по-летничному, а потому и обозначались в описях только именем вошев, как необходимой их принадлежности. Впрочем, тем же именем, как мы видели выше, могло обозначаться и плечье, также передцы, т.е. особые платы, вшиваемые в одежду по плечам для большего ее убранства.

Кортель, как и всякая зимняя и вообще теплая одежда, опушался бобровым пухом, с тем отличием, что такой пух ставился у него гораздо шире, чем у других одежд.«...»

Торлоп, судя по описанию, то же, что и кортель, — меховая одежда, крытая тафтою, украшенная вошвами на рукавах и подольником. Быть может, от кортеля она отличалась воротником стоячим или отворотным, как у опашня и как у теперешнего тулупа, который происходит, по всему вероятно, от торлопа. Употребление вошев указывает, что рукава его были широкие, летничные.

В числе одежд торлопы вообще встречаются редко. В царицыной казне Марьи Ильиничны, в XVII ст. (1648—1676 гг.) находилась только один торлоп горностаевой опушен пухом черным, который и записан в числе кортлей, а по другой описи даже и значится под именем кортля... Видимо, что этим именем назван описанный выше нагольный кортель царицы Евдокии Лук. В таком случае можем заключить, что торлопом именовался кортель без покрывки, нагольный (тулуп). Впрочем, в царской казне Шуйских описан торлоп крытый тафтою.

Поверх некоторых одежд, именно летников, шубок, плеча, даже и в летнее время, покрывались, как мы говорили, пуховым (бобровым) ожерельем, которое по особым способам кройки называлось *накладным* и (в XVI ст.) *наметным*. Такое ожерелье кроилось из бобрового пушистого меха, непременно, черногого, т.е. подкрашенного в самый черный цвет. Оно делалось различной величины, смотря по желанию или по надобности, и потому кроилось иногда только из половины бобра, иногда из целого меха и самое полное из двух бобров. Хороший, добрый, бобровый мех ценился в половине XVII ст. (1644 г.) в 15 руб., так что полное ожерелье стоило 30 р. без приклада и без работы. Накладным оно называлось по той причине, что кроилось без разреза на полы, а цельным круглым воротником с отверстием в середине для надевания через голову. В этом отверстии для большего удобства при надевании делался спереди небольшой разрез, который потом застегивался с исподи пуговками. Впрочем, наметное ожерелье отличалось от накладного разрезом на полы. В этом последнем виде оно употребляется и теперь в простом быту при коротких шубейках. Наметкою в старину вообще назывался наряд вроде длинного воротника или пелерины (напр., наметка чернеческая).

В царицыном быту употреблялись пуховые ожерелья только накладные. В таком ожерелье на заглавной странице этой книги изображена царица Марья Ильинична. См. также рис. I и II и др. Пуховое бобровое ожерелье вообще придавало старинному наряду, по преимуществу цветному и золотному, весьма значительную долю красоты; оно же своим черным цветом много способствовало и возвышению красоты лица, всегда набеленного и нарумяненного. По этим причинам оно надевалось довольно часто. Несмотря на то, количество таких ожерелий, сохранившихся в царицыной казне, не было значительно. «...»

Зимою для защиты рук от холода, кроме теплых рукавков, царицы надевали иногда *рукав* (муфту). Этот рукав не был, однако, так пышен и полон, как делают муфты теперь. Кроился он из бархата или атласа и разных золотных тканей, длиною всего в 5 вершков, с опушкою из собольих хвостов вершка по 2 шириною, след. всей длины имели не более 9 верш. Внутри подкладывался также соболем пупками, полегче, или пластинами, потяжеле. Снаружи по простой шелковой ткани украшался иногда золотным кружевом, а в особых случаях и жемчужным низаньем с камнями. «...»

Судя по тому, что в описях царицыной казны первых лет XVII ст. вовсе не упоминается о перчатках или *рукавках перчатых*, даже и о простых рукавках, т.е. рукавичках, можем полагать, что в то время, а равно и в XVI ст. в царицыном быту они еще не были в употреблении, по крайней мере, не принадлежали к обычным статьям женского наряда. Разумеется, в простом трудовом быту в зимнее время употреблялись, смотря по надобности, и рукавицы, и простые и перчатые; но в общем наряде в них не было даже и надобности, ибо их вполне заменяли длинные рукава одежд, ко-

торыми руки прикрывались и от холода и во всяких других случаях.

Вообще, как статья нарядная, перчатки употреблялись очень редко.«...»

При выходах в церковь или к гостям и вообще в парадных случаях царицы и царевны, как и все женщины и девицы, в руках всегда носили *ширинку*, носовой платок, роскошно вышитый золотом, серебром и шелками, а иногда и низанный жемчугом и *накищенный* по каймам золотыми кистями. Изображение такой ширинки см. на рис. VII, 1. Ширинки кроились из тонких арабских миткалей, а по большей части и особенно наиболее богатые из белой виницейской тафты. Бывали также и кисейные, которые иногда присылались в дарах из Крыма. Особенная ценность ширинки заключалась в шитье, где со всею роскошью выказывалось женское рукодельное искусство, не только в чистоте и тонкости работы, но и в женском замыслении по отношению к сочинению узора и всяких украшений. Ширинка, таким образом, всегда служила хвостовским предметом домашнего рукоделья и указывала значение и высоту рукодельных достоинств всякой доброй и порядливой домоводницы из женщин и трудолюбивой и след. добронравной невесты из девиц. В самом наряде это была наиболее заметная статья в этом отношении; и женщина и девица, неся в руках ширинку, тем самым как бы доказывала, если не всегда собственные рукодельные таланты, то всегда искусство и совершенство работ своей светлицы, и след. свои хозяйские таланты. Оттого ширинки, вместе с убрусами, волосниками, сорочками, как исключительные предметы домашнего рукоделья, занимают очень видное место и в свадебных дарах, где такими дарами всегда старались представить с самой выгодной и похвальной стороны рукодельное прилежание и художество невесты и ее семьи. Чужой род, как и все гости, получали здесь наглядные доказательства о таких достоинствах невестина рода и дома.«...»

Должно заметить вообще, что ширинкою назывался носовой платок более или менее украшенный шитьем. Обыкновенные *платочки* носили свое обычное название и кроились в царицыном быту тоже из белой тафты или из миткалей, и редко из тонкого полотна.

При богомольных выходах царицы, по примеру своих супругов, употребляли также жезл, как знак царственного их достоинства. С таким жезлом в руке царица Марья Ильинична шествовала в Вознесенский мон. к панихидам, см. рис. I. В казне царицы Евдокии Лук. хранился: жезл, немецкое дело, дерево черное, гладкое; в рукоять врезываны травы серебряны: меж рукояти в дву шурупях серебряных золоченых шурупцы костяные, в шурупцах составы арагатные; да тут же костяной ставик с кровлею, а в нем зуботычки костяные. Да в том же жезле трубка зрительная; да поверх жезла и рукояти в шурупе серебряном золоченом часеи серебряные с

маточником. Кровля серебряна, золочена, на кровле дерется лев со змеем. Подковац у жезла серебрян золочен...

Царицыну обувь составляли: чулки, башмаки, ичедыги, чеботы. В царском быту чулки вязанные или вязеные употреблялись очень редко и дома не изготовлялись, а покупались у немцев готовые. У царицы Евдокеи Лук. было трое таких чулок: "чулки вязеные шолк лазорев с серебром, немецкое дело; двои чулки вязеные шолк ал да жолт, немецкое ж дело". Обыкновенно чулки кроились из тафты, камки, атласа, дорогов и даже из сукна. Атласу в кройку выходило на пару 1 ар. 2 вер. во всю ширину полотнища (12 верш.); таким образом, длина женских чулок была вершков в 12 и более. Ширина их измерялась в *верхах* и над *стрелками*, около щиколотки. Конечно, их кроили вплотную по ноге, для чего и необходимы были острые клинья или стрелки. Холодные чулки подкладывались тафтою: червчатые — лазоревую, желтые — червчатую и т.п. Под теплые подкраивались меховые исподы лисьи и бельи черевьи, собольи пупчатые, песцовые. В особых случаях холодные украшались даже кружевом. Так, царице Евдокеи Лук. на камчатные червчатые чулки было нашито кружево серебряное с пелеплы. При особой длине всех одежд для чулок такого убора, конечно, вовсе и не требовалось; но здесь, вероятно, обнаруживалось лишь общее требование богатого убора в соответствии всему остальному. По свидетельству Рейтенфельса чулки носили без подвязок. Действительно, сведений о женских подвязках нам не встретилось. Надо прибавить, что царицы носили и *онучки*, о чем свидетельствует расход Белой казны за 1587 г., когда 22 июня царице Ирине Фед. Годуновых было подано на онучки полотно Кадашевское.

Башмаки кроились из бархата, атласа и сафьяна. Бархату в кройку выходило 6 вершков во всю ширину (12 вер.) полотнища, атласу 9 вер. (шир. около 8 вер.), сафьяна четверть кожи; на подкладку тафты широкой в $1\frac{1}{2}$ арш. — 3 вершка. По *швам* башмаки обшивались золотым с шелком пояском или кружевом, которого выходило $1\frac{1}{2}$ арш. и больше; *каблуки* или *закаблучье* всегда обивались волоченым золотом, на что требовалось золотой нити 5 и 8 арш. Бархатные и атласные, как и сафьянные *переды* по большей части узорочно вышивались золотом, низались жемчугом, иногда с дорогими камнями. У сафьянных *переды* ставились иногда бархатные, на что употреблялось ткани 2 вер. По верхним краям башмаки опушались атласом или бархатом другого цвета. Наиболее употребительный цвет башмаков в царском быту был червчатый: но шились также башмаки белые, желтые, зеленые, алые, лазоревые. Под каблуки, которые бывали очень высоки, всегда ставились у простых повседневных скобы железные, а у нарядных выходных — серебряные. *Стельки* ставились полстянныя и обшивались червчатую тафтою. Употреблялась полсть *старицкая* белая. На поднаряд употреблялась иногда обьярь, шелковая ткань, а на подклейку *ирха* и клей; подошвы ставились обыкновенные. Башмаки, кроме того, всегда *строчились* волоченым золотом или серебром.

С башмаками, как их принадлежность, носились нередко *ичетыги* или *ичедоги*. Это в точном смысле — сафьянные чулки, ибо всегда шились из сафьяна без поднаряда и без особой подошвы. По большей части они покрывались, обволакивались камкою или атласом, и с исподней стороны подкладывались, как чулки, тафтою, того же цвета или червчатые — лазоревою, белые — червчатою и т.п.; по верхнему краю подпушались атласом другого цвета. В комнатном быту ичетыги могли заменять спальные сапоги, так что их носили и без башмаков; тогда к ним ставили легкую подошву. Очень редко они употреблялись без поволоки или оболоки шелковою тканью. Нет сомнения, что ичетыги с самым названием заимствованы у татар и в XVII ст. упоминаются нередко ичетыги крымские, крымское дело. Упоминаются при башмаках еще и *черевинки*, тоже крымские, быть может обувь вроде туфель или тех же ичетыгов.

Женские *чеботы*, род сапог, кроились, как и башмаки из сафьяна, бархата и атласа. Это были башмаки с голенищами (которые назывались *прежниками*), а потому и в кройке, отделке и в украшениях они сходствовали с башмаками. На чеботы выходило в кройку: на сафьянные — полсафьяна, на бархатные и атласные — этой ткани, на *полные* по 1 арш. 6 вер.; на *полуполные* по аршину с вершком и с 2 вер., смотря по ширине портища. На подкладку употреблялась тафта червчатая от 8 до 11 вер. Верхи обшивались атласом или бархатом другого цвета, выходило 3 вершка; по швам пришивался золотой поясок или кованое золотное узкое или широкое кружево, которого выходило 3 арш. и больше. Иногда на переды вместо кружева пришивались *образцы*, низанные жемчугом какие-либо изображения, фигуры или узоры; тогда на остальные части кружева выходило только 2 арш. Скобы ставились также у простых — железные, у нарядных — серебряные.

Кроме указанных украшений нарядные чеботы всегда вышивались богато золотом, унизывались жемчугом с камнями и по швам золотного пояса низались жемчугом же. Особенно узорочились их *переды* и *задники*.

Чеботы бывали *кривые* и *прямые* относительно кройки подошвы; *полные* и *полуполные*, относительно длины голенища. *Строчились* простые — шелком, а нарядные — золотом. Цвет употреблялся такой же, как и для башмаков, червчатый, белый, желтый, зеленый, алый. По свидетельству Маржерета вышина каблуков была в 3 пальца, т.е. вершка в $1\frac{1}{2}$. Олеарий говорит, что женщины и преимущественно девушки носили башмаки с очень высокими каблуками, вышиною в четверть аршина, так что носок едва касался земли, и ходить было очень затруднительно. Чрезмерную вышину каблуков подметили даже и народные былины. У Дюка Степановича были сапожки зелень сафьян, под пята-пята воробей пролети, о пята-пята яйцо прокати.

Сапогами в собственном значении называлась обувь кожаная, которая в царском быту в женском наряде не употреблялась, а изготовлялась только для придворных женщин. Они шились из опойка (телятинные) и из сафьяна (козловые и барановые) таких же

цветов, каких бывали и чеботы, т.е. червчатого, желтого, зеленого, лазоревого, белого и смиренные — черного. В царских кладовых в начале XVII ст. находим, однако ж, сапоги бархатные и атласные, низанные жемчугом с камнем.

Мы видели, что царицыно платье большею частию шилось из тканей довольно тяжелых, каковы были сукно и золотные и шелковые плотные скоба-скобой камки, атласы, бархаты и т.п. Очень понятно, что женские руки царицыных мастериц не могли хорошо управляться ни с кройкою, ни с шитьем таких портищ. Была необходима более сильная и твердая мужская рука для того, чтобы с успехом владеть ножницами, иглою и утюгом для устройства из этих толстых полотнищ целого наряда. Таким образом, мы и находим в Мастерской царицыной полате не портних, а портных мужчин, которые притом пользовались почетным именем *наплечных мастеров*, ибо одевали царское плечо...

Кроме наплечного или портняжного дела, мужские работы заключались еще и в изготовлении обуви и головных покровов: шапок, каптуров, столбунцов, треухов, тафей, шляп, а по однородности дела также меховых ожерелий и т.п., требовавших не одного шитья тканей, но их подклейки и шитья разных клеенок и кожи. Мастерская полата вообще занималась изготовлением всяких нарядов как бы вчерне. Все, что касалось украшения, убора в каждом таком наряде, то принадлежало уже занятиям и работам царицыной Светлицы.

Расход различных материалов при употреблении их в кройку или для другого изготовления очень подробно и обстоятельно, даже иногда с расценкою, записывался в особую книгу, которая по главной статье употребления называлась книгою *кроельною*. Здесь записывалась также и мера кроенному платью с обозначением *скуп* или *сыто* какая часть скроена, сколько оставлено в запасе и т.п. Из кроельных книг, хотя и не сохранившихся вполне, мы узнаем, по крайней мере приблизительно, какие именно предметы наряда бывали в большем употреблении, сравнительно с другими, и потому чаще строились и расходовались, совсем изношенные, в отставку, а годные и новые — для подарков родственным и служебным лицам.«...»

Кроме значения мастерской, которое было, так сказать, коренное, почему и самый Постельный царицын Приказ большею частию назывался тоже Мастерскою полатою, эта полата имела еще значение царицыной кладовой, иначе гардеробной, в которой, в особых помещениях, в поставцах, коробьях, шкатулках, ларцах, ящиках и сундуках сохранялись всякие предметы из платья и убора, разумеется, за исключением только тех, которые употреблялись всредневно и поэтому хранились в хоромах у самой царицы или у царевен. Выдавая наряды по назначению, полата вела точные и подробные об этом записки, известные под именем *выходных книг*, которые по отношению к царицам и царевнам, к сожалению, не сохранились.

Из общих ее описей мы получаем любопытные сведения о количестве платья и уборов, какое за известное время сохранялось в казне и которое дает понятие вообще о степени щегольства в быту цариц и царевен. С этою целью помещаем здесь сводную роспись различных одежд цариц Евдокии Стрешневых, Марьи Милославских, Агафьи Грушецких и взрослых царевен Больших, от Стрешневой, и Меньших, от Милославской.

Здесь не поименованы некоторые, особенно богатые уборы и вообще *кузь ларешная*, всякие драгоценности, по той причине, что, как мы уже говорили, и само ведомство Мастерской полаты ничего не знало об их количестве, ибо они хранились всегда в особых ларцах, ящиках, шкатулках и коробьях за царицыною печатью и в таком виде сдавались дворецкими и дьяками при случае нового пересмотра и новой переписи. Так, здесь нет описи царицыных корун, богатых ошивок, убрисов, жемчужных ожерелий, монист, серег, перстней и т.п. «...»

Что касается одеял и именно того обстоятельства, что у царевен они значатся в весьма достаточном количестве, то должно припомнить, что царевны совершали свои выходы под покровом именно таких одеял, или пол... изготовляемых для этой цели не только из сукна, но в парадных случаях большею частию из тяжелых золотых тканей.

Одежды и уборы цариц, после их смерти, преемственно переходили со всею их казною к новым царицам, за исключением разве носильного повседневного платья, которое большею частию раздавалось на помин души родственницам бывшей царицы или же продавалось с целью раздать деньги тоже на помин по церквам и монастырям. «...»

Не говорим о *выростках*, т.е. о детском платье, из которого дети вырастали и которое обыкновенно переходило последовательно к младшему поколению иногда в полном составе. Заметим также, что то богатство нарядов, какое мы находим в царицыной казне в эпоху Смутного времени, известное нам лишь по отрывочным, не вполне сохранившимся описям, объясняется тою же обычною бережливостью царского Двора. Здесь многие предметы, особенно предметы светличного рукоделья, каковы, напр., летничные вошвы, могли оставаться еще от первых цариц XVI ст., так, как в конце XVII ст. оставались еще в царицыной казне уборы, напр., кики и одежды царицы Евдокии (1645). Такая сохранность одежд и разных других предметов обнаруживала, с одной стороны, великую бережливость и, можно сказать, великое скопидомство, каким отличалось государево и особенно царицыно хозяйство до последних мелочей. Последний вершок ткани, остаток и обрезок сохранялся и шел в дело или в домовом обиходе или в дар. В расходных царицыных записках часто встречаются отметки, что тому или другому ее родственному или служащему лицу выдавались именно вершки тканей, золотники шелков и т.п.

Здесь старое хозяйство было верно своему старому исконивечному Домострою, который учил: "остатки и обрезки (от кройки тканей и др. предметов) ко всему пригожаются в домовитом деле: по-

Уборы и одежды	Ц А Р И Ц Ы				
	Евдокия Лук. 1626-8.	1632.	1642.	Марья Ильична	Агафья Сем.
Коруны					4
Кики	5	—	—	4	2
Рясы	4	—	—	1	—
Шляпы	7	—	—	6	—
Снуры шляпочные	3	—	—	3	—
Каптуры	18	—	—	7	—
Ожерелья бобровые	16	—	—	5	1
Шапки	8	15	38	27	2
Горлатные шапки	2	1	—	—	—
Пухъ шапочн.	—	—	—	3	—
Верхи шапочн.	—	—	5	11	1
Треухи	1	1	1	1	4
Столбунцы	—	—	—	—	3
Приволока	—	—	—	1	1
Опашни	2	5	6	7	—
Летники (вообще)	49	65	95	116	9
В том числе:					
Золотные	—	—	33	50	—
Атласные	—	—	11	20	—
Камчатные	—	—	25	27	—
Обьяринные	—	—	14	11	—
Тафтяные	—	—	11	8	—
Дорогильный	—	—	1	—	—
Роспашницы	—	3	9	9	—
(Золотн., камч., обьяр., тафт.)					
Кортли	—	3	5	4	—
Шубки (вообще)	—	—	—	—	—
Бархатные	5	5	—	—	4
Алтабасные	2	1	—	—	—
Атласные	5	4	—	—	3
Камчатные	2	2	—	—	—
Суконные	14	18	24	22	2
Золотные	—	—	11	14	—
Обьяринные	—	—	—	—	1
Телогреи, теплые и холодные (вообще)	35	52	124	—	—
В том числе:					
Золотные	—	—	27	—	35
Атласные	—	—	22	—	12
Камчатные	—	—	30	—	15
Обьяринные	—	—	20	—	8
Тафтяные	—	—	23	—	2
Дорогильные	—	—	2	—	—
Одеяла	—	4	—	—	—
Вошвы	13	12	—	—	—
Рукавки	1	1	1	—	2
Чеботы	12	20	42	—	—
Башмаки	7	9	18	—	8
Рукав	—	—	—	—	7
Чулки вязан. и камчат.	—	—	13	—	6

Царевны (1673 г.)

Ирины	Анны	Татьяны	Евдокии	Марфы	Софы	Екатерины	Мары
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	2
33	10	16	18	13	10	11	5
18	10	9	11	9	7	7	7
37	15	30	43	47	25	23	27
7	9	3		5	4	5	

платить ветчаново товож портища или к новому прибавить, или какое-нибудь починить; а остаток и обрезок как выручит, а в торгу устанешь прибираючи в то лицо, в три-дорога купишь, а иногда и не приберешь“. Этот добрый совет не оставался пустою речью или одним только поучительным присловьем, а водворялся в действительности, даже и в таком богатом и широком обиходе, каков был обиход царицы.«...»

Если с такой бережливостью сохранялись мелкие лоскутки, то очень естественно, что целые одежды переживали иной раз не одно поколение. Их бережные главным образом поддерживались тем обстоятельством, что в то время вовсе не были известны модные крои платья, которое кроилось по вековым неизменным образцам, притом из таких тканей, что могло даже через целое столетие отвечать и потребностям и вкусам тогдашних красавиц... Надо заметить, что Смутное время или Московская Разруха опустошила царские кладовые до нитки, так что первые царицы XVII ст. должны были делать себе все вновь, снова накапливать свою казну, которая в действительности к концу XVII ст. и наполнилась множеством различных одежд, нашитых разными царицами постепенно в течении столетия.

...Светлицею вообще, в старинных хоромах, называлась более обширная, сравнительно с другими, и светлая хоромина, которая в домовитом обиходе и особенно на женской половине устраивалась по преимуществу для женских рукоделий, была рабочей комнатой. Своим устройством, т.е. большими красными окнами и их количеством она походила на терем и отличалась от него лишь тем, что ставилась не в самом верхнем ярусе древних хором, т.е. не входила в состав жилого хозяйского верха, а принадлежала к хороминам нижним и в смысле местоположения и в смысле своего служебного, рабочего назначения. Впрочем, светлица всегда устраивалась только для чистых работ, и если в иных случаях занимала верхнее помещение, то и называлась теремом, каков, наприм., в царском дворце XVII ст. был *иконный терем*, находившийся в верхнем этаже набережной стороны Дворца. Сохраняя общее значение светлой, чистой и просторной рабочей комнаты, светлица, конечно, была необходимою принадлежностью и для других статей домовитого хозяйства, напр., в государевом дворце были особые светлицы на Сытном дворе... Но частное, так сказать, специальное ее значение оставалось по преимуществу за комнатой женских чистых рукоделий, которая и носила название Светлицы по преимуществу.

Сначала в государевом дворце Светлица находилась в деревянных хоромах и всегда обозначала совокупность нескольких рукодельных комнат. В 1625 г. позади дворцовых зданий над Куретными дворцовыми воротами выстроена особая *светличная каменная полата*, которая посредством крытых и открытых переходов или галлерей соединялась с постельными хоромами царицы и царевен, а след., и со всем остальным дворцом. Но и в это время подле Светличной полаты были поставлены и еще отдельные деревянные светлицы, по той причине, что, вероятно, одной каменной полаты

было недостаточно для помещения царицыных рукодельниц. В этих-то зданиях сосредотачивалась вся рукодельная статья царицыной жизни. Здесь постоянно работало более пятидесяти женщин, мужних жен, вдов и девиц, — мастериц и учениц, из которых одни занимались *белым* шитьем, т.е. шитьем всякого белья; другие — *золотым*, под именем которого разумелось и шелковое шитье, т.е. всякое вышивание золотом, серебром и шелками. Первые назывались поэтому *белыми швеями* и *белыми мастерицами*; вторые — *золотыми* и *золотными мастерицами*.

Само собой разумеется, что в царском дворце искусство вышивания получало самое деятельное и обширное применение и всегда стояло на высшей степени своего совершенства, всегда славилось и лучшими во всей стране искусницами шитья и лучшими образцами произведений, чему, конечно, очень много способствовали государственные дворцовые средства, как в отношении богатства, так и в отношении сосредоточения в своих руках всего лучшего, всего наиболее достойного по искусству и наиболее ценного по материалу. Царицына Светлица была, в своем роде, такую же художественную школу, какую на половине государя была Иконописная полата и которой Светлица ни в чем не уступала, изображая те же иконы не красками, а шелками, с такую тщательностью и отчетливостью, что они и до сих пор заслуживают удивление археологов. Стиль иконописной раскраски, своего рода мозаики, давал полную свободу подражать ему в воспроизведении иконописных ликов такую же мозаичную шелкового шитья, которое притом исполняло свои работы по тем же иконописным переводам, прорисям и образцам с соблюдением не только основных линий, но колорита раскраски.

Царицына Светлица, таким образом, представляет нам целый особый и забытый мир художественной деятельности, в которой художником является русская женщина, приносившая рядом с мужчиной свой усердный и столь же замечательный труд на возвышение красоты и великолепия Божьего храма.

Начало шелкового и золотого шитья мы должны относить к самым первым временам нашей истории, когда оно, по всему вероятию, служило лишь домашним потребностям богатого наряда и убора. Само собой разумеется, что с принятием христианства, благодаря потребностям церкви и знакомству и близким связям с византийскою Грецией, откуда, без сомнения, вместе с образцами работы являлись к нам мастера и мастерицы, это женское по преимуществу искусство получило обширнейшее применение, распространилось и утвердилось как особая отрасль искусства, служившего исключительно церкви. Вероятнее всего, что в первое время особому его распространению способствовали женские монастырские общины ...уже первые княжны основывают монастыри, собирают черноризиц и с богомольными целями путешествуют даже в Греки, в Царьград; где конечно, в женских же монастырях знакомятся еще ближе с искусством. Женский монастырь должен был существовать женским же рукоделием; а какое же рукоделие было соответственное монастырскому настроению мысли, как не то, которое прямо шло на украшение Божьего храма. Очень естественно, что первые

женские монастыри были и первыми мастерскими и первыми рассадниками этого искусства. Татищев упоминает, что первая монахиня из русских княжен, дочь Всеволода, Янка, сама учила черноризец девиц грамоте, петь, шить... Он же приводит свидетельство, что другая, Анна Всеволодовна, жена Рюрика Ростиславича (1200 г.), “ни о чем более прилежала, как о милости и милостыни; обидимых и страждущих в напастех охраняла и защищала, еще же и должность материнскую хранящи, научила чад своих словесам и закону Божию, также милости и благонравию. Сама прилежала трудам и рукоделиям, швениям золотом и серебром, как для себя и своих детей, паче же для монастыря Выдубицкого, которому особенно усердствовала вместе с мужем.«...»

Таким образом, не будет и малейшего сомнения в том, что в одно время с построением у нас первых христианских храмов явились на украшение их и первые памятники женского золотого и шелкового шитья. Скупые на подробности летописцы, редко, и то уже в позднее время, описывают самые предметы вышивания и обозначают их вообще именем церковной *круты*.

В 1146 г. они упоминают, как князь Изяслав взял город князя Святослава и церковь св. Вознесение всю облупиша, забрал: сосуды, “индитьбе и платы служебныя, а все шито золотом”.

В 1183 г. в граде Володимери Суздальском сгорела соборная церковь, Богородица Златоверхая, а в ней все узорчья и в том числе “порт (одежд) шитых золотом и жемчугом, яже вешали на праздник в две верви от Золотых ворот до Богородице, а от Богородице во владычных сеней во две же верви, чюдных”.

В XIII веке они упоминают: о церковных сооружениях Владимира Васильковича на Воляни, который между прочим устроил: “завесы золотом шиты, платцы (воздухи) оксамитны шиты золотом с жемчугом — херувим и серафим, индитья золотом шита вся“...

Из предметов мирского наряда упоминают облечье золотом шито, как принадлежность одежды знатных людей, и сапозы зеленого хза шиты золотом, что указывает вместе с тем и на мужское золотешвейное искусство.

Но, конечно, не одни монастырские мастерские доставляли украшениям церкви столько работ и еще чудных, как обозначает их летопись. Впоследствии, особенно, когда монастырские идеалы вполне водворились в семейном быту, каждый княжеский и боярский дом, каждый достаточный дом, направляемый благочестием и особенным усердием к церкви, точно так же приносил ей свои труды, или на помин души или исполняя свои набожные обеты и моления. Это становится наконец святым обычаем, которому следовали непреложно и неизменно в течение всего допетровского века, хранили его, как догмат благочестивой семейной жизни.

Многочисленные памятники этого женского, всегда молитвенного усерднейшего труда, сохраняются и доселе в ризницах монастырей и церквей и отчасти в светских собраниях и музеях. Видимо, что древние рукодельницы немало дорожили своими благочестивыми работами и своим искусством в вышивании и потому нередко

вносили и свои имена в надписи о сооружении таких памятников....

В последующее время, в XVI и XVII ст., мы находим, что в каждом домостройном и достаточном хозяйстве золотное и шелковое *пяличное* дело принадлежит уже к необходимым статьям общедомоводства и занимает самое видное место в числе разных других рукоделий. Каждая достаточная государыня и добрая домоводница, а главное, добрая рукодельница всегда сама была искусницею в этом пяличном деле. Оно служило первым признаком хорошего воспитания и образования в женском быту, лучшим украшением хозяйских добродетелей девицы и женщины. К тому же и самое положение женского быта, монастырски замкнутого и недоступного обществу, должно было особенно благоприятствовать ускорению и распространению этого рукоделия. В достаточной среде трудно было найти занятие более соответственное общему набожному настроению мыслей и набожным представлениям о наилучшем мирском подвиге жизни, с другой стороны, нельзя также было найти занятие более соответственного, так сказать, “изящному” проведению времени, по крайней мере по понятиям века и особенно для девиц. И действительно, это рукоделие вполне могло удовлетворять самым возвышенным потребностям тогдашних стремлений и вкусов, создавая памятники на украшение Божьему храму и производя множество предметов для красоты женского, а отчасти и мужского наряда. Словом сказать, золотное и шелковое шитье все-таки вводило людей в мир искусства вообще, приближало их к изящному в жизни, и тем самым, быть может, смягчало нравы, направляло их к лучшей по обстановке века жизни, т.е. к жизни иноческой.

Как бы ни было, но еще и до сих пор в монастырях и церквях, как мы упоминали, сохраняется множество памятников, которые показывают, что женский труд вышивания нисколько не уступал мужскому иконописному труду и в такой же мере обогащал церковь своими более разнообразными произведениями. В этих памятниках, пред лицом истории, женская личность свидетельствует о своей многовековой деятельности, о своем независимом самостоятельном труде, который был приносим с единою целью возвысить красотой и богатством обстановку церковного служения и молитвы о спасении души.

Некоторые памятники в своих надписях или в записках по случаю их постройки красноречиво рассказывают эти благочестивые стремления женской личности. Так, на одной древней епитрахили в Новгородском Антониевом монастыре читаем следующие слова: “Госпоже Богородице, Пречистая Мати Божия, Милостивая Царице, пожалуй, Госпоже, помилуй рабу свою Марию, отдай ей грех; буди, Госпоже, Помощница в сем веце и в будущем рабе своей Марии и раба своего Феодора. Спаси ее, Госпоже, Царица Пречистая. Пожалуй, Госпоже, помилуй!” В записках новгородского Софийского синодика XVI в. между прочим значится: “1541 г. шила *пеле-*

* Археол. описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, соч. архим. Макария, ч. II, стр. 337.

ну княгиня Анна Оболснская в дом св. Софии неизреченные премудрости Божия, к ней же пелена и приложена быть. А за то поминати (княгиню) в сенанике и в литейном поминании и в повседневном, докуда и храм св. Софии стоит, а из поминания не выгладити (не выскоблить имени) княгини Анны. — 1543 г. шила золотом и серебром *пелену* княгиня Ксения Шуйская в дом св. Софии, а приложена к Спасову образу. И как представится кн. Ксения — поминати (ее) в сенанике и в литейном поминании и в повседневном, докуды и храм св. Софии стоит. — 1548 г. та же княгиня Ксения шила *покров* десяти пядей образ Иоанна архиепископа новгородского — золотом и серебром и шолки различными цветы. И на праздник на св. Пасху положила на гробе чудотворца Иоанна во храме св. Иоанна Предтеча — за здравие князя Ивана Михайловича (ее супруга) и за свое и своих благородных чад. А по преставлении кн. Ивана и княгини Ксении поминати их во всенаники и в литеи во веки в церкви св. Софии и в храме св. Иоанна Предтеча, иде же лжат мощи Иоанна Новгородскаго**.

...Первая царица Анастасия Романовых вышивала и украшала своими руками на плащанице образ Никиты Столпника Переяславского чудотворца для положения на его раку в благодарность за его молебную помощь в чадородии. Само собой разумеется, что и последующия царицы по тем же или по другим благочестивым поводам точно так же своими руками устраивали различные церковные утвари.«...»

Таким образом, и в царицыной Светлице главными и первыми самыми видными предметами золотого и шелкового вышиванья были различные церковные утвари, исполняемые точно так же по обещанию или в ознаменование молений и благодарений по случаю каких-либо домашних семейных событий, домашних семейных отношений между царствующими супругами, за здравие живущих и на помин души умерших, так что сооружение таких памятников всегда олицетворяло в них внутреннюю задушевную историю благочестивой жизни царского Дома.

В разное время, смотря по требованиям и по назначению царицы или царевен, мастерицы изготовляли здесь следующие предметы церковной утвари: святительские шапки и саки (саккосы), омофоры, епитрахили, орари, оплечья ризные и стихарные, поручи; на церковные сосуды покровцы и воздухи, пелены и застенки к образам, убрूसцы; хоругви, плащаницы, надгробные покровы, и т.п.

Из домашних мирских вещей первое место в светличных золотшвейных рукоделиях принадлежало вошвам. Это были бархатные или атласные, вообще шелковые платы, о которых мы уже говорили... и которые всегда роскошно расшивались узором, травами и разными изображениями; а потому из них же очень часто устраивали оплечья у священнических риз и у дьяконских стихарей и их размер вполне был пригоден для такого употребления. Было в обычае богатые женские наряды, именно *причастные*, в которых причащались св. таин, и именно летники с богато шитыми вошвами,

* Временник Общ. Ист. и Др. кн. 24, стр. 40.

жертвовать по смерти в церковь на ризы. По всему вероятно, эти-то *вошвы-платы*, вшиваемые в оплечья риз, и возбудили мнение о неприличии такого дела еще в XII в., в известных "вопросах" Кирика.

Из других частей старинного женского и мужского наряда мастерицы вышивали: шапочные вершки, особенно у женских шапок, ожерелья или воротники, стоячие и отложные, запястья, женские башмачные и чеботные переды из бархата и атласа, вышивали также женские и мужские сорочки, фаты и особенно много изготовляли вышивных ширинок, фусток или платков, полотенец, убрусов, т.е. головных покровов. В государеву Мастерскую полату изготовляли так называемый *кречатий наряд*, убор ловчих птиц и, для собственного употребления и для посылки в дарах к турецкому султану в Царьград, в Кизилбаши к персидскому шаху и к европейским государям, особенно к английским королям. Этот убор состоял из вотолки, нагрудника, нахвостника, нагавок, шитых из атласа, и клубучка из бархата, которые частью вышивались золотом, а преимущественно низались жемчугом, а также из обнажей, должика, силец и задержек, которые украшались жемчужными низанными ворворками и кляпышками.

В золотное дело употреблялось волоченое золото и серебро, немецкое и отчасти турецкое, *сканое* и *пряденое* с шелком, а также золотая и серебрянная бить разновидного изготовления, именно *канитель*, *трунцал* или *струнцал*, *картулин* или *картулень*, *картунель*; *бгань*, или *збань*, и разные роды так называемых блесток: *звездки*, *пелепелы*, *плащики*, *цепочки* и т.п. Больше всего употреблялась канитель и особенно немецкая, которая была *тонкая* и *толстая*, *гладкая* и *грановитая*, *красная* собственно золотая, и *цветная* (разных цветов), а также *белая*, серебрянная; трунцаль также был *красный* золотой и *белый* серебрянный, как и вообще словом "белый" обозначалось серебро, в отличие от золота и золоченья.

Все эти предметы покупались в Серебряном ряду и у торговых немцев, за золотник по 5 алтын. Толстая канитель была дороже и покупалась по 6 алт. 4 д.; в этой же цене была канитель цветная. Трунцаль, бгань и цепочки продавались также несколько дороже, по 5 алт. по 3 и по 4 деньги золотник. Волоченое или пряденое золото и серебро продавалось намотанное на цевки или катушки или же связанное кистями, и весилось *литрами* (72 зол.) и цевками (6 зол.), отчего и называлось литренным и цевочным; нитями в золотнике считалось 10 нитей, а в цевке 60.«...»

Так как волоченого золота и серебра и канители употреблялось много, а дома все это можно было приготовить дешевле и выгоднее, то во Дворце еще в начале XVII ст. было заведено канительное производство, были вызваны немцы мастера и устроен канительный стан.«...»

О способах и о самом производстве золотого шитья мы имеем мало сведений. По всему вероятно, многое из старинной техники этого дела сохраняется и теперь, у нынешних русских золотошвеек, особенно по украинным старинным городам. О способах шитья в

XVII ст. встречается несколько указаний при описании шитых вещей. Так, обозначается шитье *гладью, высоким швом, высоким швом сканью, высоким швом с звездки; начеканное дело*, т.е. наподобие чеканной металлической работы; *на-канительное дело, спиралью; шитье в петлю, в большую петлю, в круги, в мелкие кружки, в цепки, в вязь, в клопец, в лом, в черенки, сканью, набром лапки*. Чаще встречается обозначение шитья *на-аксамитное дело*, наподобие аксамита, особого рода парчи, в которой узоры, травы и разводы ткались или возвышенно перед полем или фоном материи или же наоборот: поле ткалось возвышенно, а разводы углубленно, причем поле бывало золотное, а разводы шелковые, или поле шелковое, а разводы золотные. Золотое и шелковое шитье подражало этому способу ткани, почему и самый способ такого шитья определялся словом *аксамитить*, т.е. шить подобием аксамита. Таким же образом шитье подобием бархата обозначалось выражением: *бархатить*.

Нераздельно с золотошвейною работою стояло *низанье* или *саженье* жемчугом, который ценился по величине, окатности или скатости, особенной круглоте, и по чистоте воды, т.е. по чистоте (лоску) и белизне зерна, вообще цена ему была “по зерну смотря”, т.е. в высшей степени различна. “Память, почему знать купить разныя всякие купеческие рухляди и товары” насчет жемчуга советуют так: “покупай жемчуг все белый да чистый, а желтого никак не купи: на Руси его никто не купит”. Напротив, у восточных народов предпочитался жемчуг желтоватый, никогда не терявший своей воды, между тем как белый через несколько лет темнел и желтел.

Жемчуг зерновой окатной, чистый и белый, покупался в XVI в. за зерно без малого в золотник весом по 8 руб. По этому расчету с некоторым понижением ценились зерна и меньшей величины, так что зерно в $\frac{1}{6}$ зол. стоило рубль. — Это был жемчуг “великий, большой”. Жемчуг средний и мелкий, сыпной, и притом *рядовой*, т.е. обыкновенный, не отличавшийся особенно чистотою и окатностью ценился также сообразно своей величине: 15 зерен в золотнике стоило $1\frac{1}{2}$ р.; 30 зерен — 1 р.; 50 зерен — полтина и т.д. Зубоватый, т.е. не гладкий, угольчатый, рогатый, но чистый, шел при гладком в полцены; а самый окатный или окатистый чистый, при рядовом, в две цены. *Зернятка*, очень мелкий, и *бутор*, лом, продавался еще дешевле.

Лучшим, а след. и более дорогим почитался жемчуг *гурмыцкий* или *бурмицкий, бурминский*, вывозимый из Ормуза или Гурмыза (страна, город и остров при Персидском заливе). Затем следовал жемчуг *кафимский*, вывозимый из Кафы (Феодосии). Много жемчугу привозили и с западной границы чрез Архангельск. Употреблялся также и русский жемчуг *варзужский*, добываемый в р. Варзуге (Арханг. губ., Кемского уезда), он же, вероятно, в начале XVI ст. назывался *новгородским*.

Низали жемчугом *в низку, в ряску, в рясную, рясою, в перье, въпрядь, в одну, в две, в три пряди, в одно зерно, в шахмат, в ре-*

фидь, лесом, зель, т.е. в виде буквы зела, и т.п., вообще способ низанья обозначался фигурой узора или какого изображения.

Кроме жемчугу в украшение золотого и серебряного шитья употреблялись и дорогие камни разных наименований, всегда для низанья просверленные; а также и простые камни из стеклянных сплавов, называемые *достоканами*, *варениками* и *смазнями*. В XVII ст. употреблялись в низанье камни *черные бирюзки*. *Пронизки* или бусы и *бисер* в работах царицыной Светлицы употреблялись редко, по той простой причине, что это был наряд небогатый. В соотвествии камням шитье украшалось нередко и металлическими золотыми и серебряными *дробницами*, т.е. дробными мелкими чеканными или резными фигурами и *запонами* с камнями или с финифтью.

Всякие изображения и узоры и надписи, назначаемые для вышивания или низания, прорисовывали по ткани обыкновенно белилами или чернилами состоявшие при светлице *знаменщики* или рисовальщики. В иных случаях рисунки изготовлялись и на бумаге, черчением и прокальванием. Мастерницы по рисунку выметывали очерк белью и затем расшивали шелками или золотом и серебром. В свое время для царицыной Светлицы много работал и знаменитый иконописец второй половины XVII ст. Симон Федоров Ушаков, состоявший сначала знаменщиком в Серебряной полате.

По штату при Светлице знаменщиков было двое.«...»

Чтобы дать некоторое понятие вообще о рукодельной деятельности царицыной светлицы, приводим в отделе материалов несколько записок о *знаменных* делах, по которым исполняли свои работы мастерицы.

Само собою разумеется, что рукоделия царицыной Светличной полаты не ограничивались только этими первостепенными богатыми и роскошными работами, вышиваньем и низаньем. Мастерицы занимались также шелковым и золотным плетеньем, вязаньем, тканьем, сканьем (сученьем), изготовлением кистей, шнурков, поясков, тесемок и т.п., разными мелочными делами, не говоря уже о *белом деле*, о шитье белья, и вообще о шитье всяких предметов, даже и кукол маленьким царевнам и царевичам и разного потешного их рукоделья....

Во второй половине XVII ст. в Москве славились своими работами и светлицы некоторых боярынь. Андрей Матвеев говорит, что окольный Василий Вольтинский, человек гораздо посредственного смысла и легкомысленной совести и муж малограмотный, вошел у тогдашних временщиков в великое жалованье, а стало быть проложил себе путь и к высшим местам, по своему лицемерному похлебничеству и "*супруги своей по всехвальному в Москве в те времена всякого золотом и серебром дорогого шитья в своем доме, гораздо знаменитых швей художеству*"; таким образом, не по разуму своему, но токмо по той лъстивой и стеклянной фортуне приобрел зело светлое благополучие. Ему был дан в управление даже Посольский Приказ, а он это управление и политические дела столько остро знал, сколько медведь на органах играть.«...»

Третья не менее, если не более знаменитая в то время светлица принадлежала жене стольника Ивана Вас. Дашкова, Анне Алексеевне, представителем которой в сношениях с Патриаршим домом является сам стольник, принимал заказы, получал деньги на приклад и за работу, доставлял исполненные работы.«...»

Именем *белой казны* обозначался запас полотен и разных других льняных изделий, изготовляемых про царский обиход. Как в крестьянском быту льняное дело находилось исключительно в женских руках, так точно и в государевом дворце эта статья домашнего хозяйства принадлежала исключительно ведомству самой царицы. Здесь по обширности потребностей это дело было устроено в широких размерах. Изготовлением разных предметов белой казны занимались две большие городские слободы — в Москве Кадашевская и в Твери Константиновская (впоследствии переведенная в Москву) и два села Ярославского уезда Тимонинского стану, Брситово и Черкасово. И слободы и села назывались *хамовными* по имени главного производства, которым занимались, т.е. тканья полотен, что в собственном смысле и называлось *хамовным делом*. Нельзя полагать, что это слово *хам* идет от шведского *ham* “рубашка” и вообще от немецкого... По всему, вероятно, оно идет, быть может, вместе с производством, еще из Индии, где хаман значит полотно бумажное, белое, очень тонкое и частное, уподобляющееся голландскому. Оттуда вместе со многими индийскими тканями, напр. шидю (ситец), оно и привозилось в древнейшее время; а после, по его образцу, стали ткать его и у нас.

Полотна в царицыных слободах ткались двойные из двойной пряжи, гладкие и полосатые; тройные из тройной пряжи, потолще, тоже гладкие и полосатые, тверские, тоже тройные, составлявшие третий сорт, похуже первых двух. Затем скатерти или скатертные столбцы — задеичатые, посольские, большие, средние и малые, тверские, хлопчатые; убрусы или полки убрусные; утиральники, полотенца, и кроме того, изготовлялись нити и бель.

Производством занимались *хамовники* (ткачи) и *деловицы*: ткальи, пряльи, бральи, швеи, задельницы, бельницы или беляницы и бердники. Работа была распределена между ними на годовые уроки. Каждый урок назывался *делом*: дело ткалейное, дело прядитье, дело бралейное, швейное, беляное, бердяное. Объем дела уравнивался большею или меньшею трудностью изделия; *хамовники* работали *на дело*, т.е. в годовой урок по семи полотен тонких (двойных) и по семи полотен тверских (тройных), причем двойное полотно считали за $1\frac{1}{2}$ полотна тройных и так счет держали между собою при раскладке дел по общему тяглу.

Мастерицы-ткальи работали на дело по 6 полотен двойных и по 8 тройных. Меров в длину полотна ткались в 14 арш. Для полотен пряжу готовили для каждого сорта особые прялья и ставили пряжи на дело в годовой урок для двойных полотен 2 полотна, а для тройных 3 полотна. Пряльи тверских полотен ставили пряжи на дело по 8 полотен тверских. Убрусы или убрусные полки и утиральнички готовили также бральи, пряльи и швеи. Бральи ставили на дело по

10 полочек, причем утиральничек брались ставили *во бранье* за три полочки убрусных, след. по работе он в три раза был труднее убрусов. Для того же дела пряли ставили, т.е. пряли основы, называемые по особому качеству пряжи убрусными. На дело в годовой урок таких основок они пряли по 20. Швеи утиральничных и убрусных дел шили на дело по 5 убрусов, и утиральничек в шитье ставили по трудности работы за 4 убруса.«...»

Полотна скатертные или скатертные столбцы изготовлялись бралями, пряльями и бельницами. Эти столбцы также бывали двойные и тройные, мерою по 10 арш. Здесь, по особому способу работы, ткалей заменяли бралями, которые готовили на дело в годовой урок по 2 столбца двойных и тройных. Пряжу для них ставили особые пряли, работавшие в годовое дело пряжи для двойных столбцов — по 2 столбца; для тройных столбцов — по 6 столбцов; для хлопчатных скатертей — по 8 столбцов. Бель для тех же скатертных столбцов ставили пряли-беляницы: для двойных столбцов по 4 столбца; для тройных — по 8 столбцов. Двойные столбцы называли также задеичатыми. Прялки этих задеичатых скатертей работали пряжи на дело по 10 основок и по 10 утков. Так называемых посольских скатертей, украшаемых кроме бранья еще и шитьем, изготовлялось всего 2 столбца в год, на что требовалось бралейных $4\frac{1}{2}$ дела, а швейных 9 дел.

Обыкновенно каждый скатертный столбец, т.е. полдела, работала одна браля, одна пряля пряла основы и утки и одна беляница давала бель. Но иногда два столбца работали три брали, три пряли и две беляницы.

Узоры, которые выбирались на скатертях, известны следующие: 1) ключатик, 2) ореховая развода по два оленя в гнезде, 3) ореховая развода по оленю в гнезде, 4) лоси под деревом, 5) полтинки, 6) петухи, 7) немецкое колесо, 8) чешуйки, 9) листочки, 10) месяцы, 11) деревье, 12) осмерног в двазубь, 13) осмерног в тризубь, 14) бараньи рога, 15) безконечник, 16) кривоног, 17) красная развода, 18) короваи, 19) гусиная плоть — узор наиболее употребительный для расхожих скатертей, 20) клетчатина, именем которой обозначалась и вообще скатертная ткань; и др.

Годовой урок нитной пряжи для нитей расхожих, а равно и белевой измерялся мерою полотна, т.е. количеством пряжи, какое ставилось на целое полотно. На годовое дело нитные пряли ставили нитей по 6 полотен. Кроме того, дело нитное и белевое измерялось также мотами или пятинками. Бели целое дело заключало в себе 24 мота, а столбцами — 8 столбцов, ибо столбец считался за 3 мота.

Бердники в целое годовое дело изготовляли бердь на 100 дел различной белой казны, ткалейных, бралейных прядитьих.

На покупку необходимых для производства работы припасов, на лен, мыло, золу, на ничаницы (тонкие веревки) и окончины для окон выдавалось из царицыной казны денежное жалованье, смотря по делу. В ярославских селах пряли получали в год на дело 47 алт. 4 д.; ткальи — 23 алт. 2 д.; брали убрусов — 23 алт. 2 д.; брали скатертей — 46 алт. 4 д.; швеи — 35 алт. 3 д.; бердники на

лен на перевой — 46 алт. 4 д. В Кадашевской слободе хамовники и бердники по 30 алт., деловицы все кругом — по 17 алт.

Кроме того, выдавалось еще хлебное жалованье также по размеру дела. На целое дело шло в Кадашове в 1631 г. по 10 четвертей без полуосмины ржи и по 7 четвертей без полуосмины овса. В ярославских селах в 1670 г. — по 10 чет. с осьминою ржи и по 6 четв. овса. В тверской Константиновской солобе в 1659 г. — 9 и 6 четв. ржи, 10 четв. с осьминою и 7 четв. с осминою овса и на квасы по четверику овса.

Каждая хамовная слобода и ярославские села были обложены известным количеством дел, соответственно количеству земли, занимаемой дворцами и для посева льна, а также и полевой в селах, отделяемой тоже для посева льна. Мера *деловой* дворовой земли называлась *дворовою загородкою* и равнялась, кажется, 200 квадр. саж. К этому в селах на дело назначалось для посева льна полевой земли по два *четвертачка* или по полудесятине в поле, а в дву по тому ж. «...»

Царицына Мастерская полата назначала в слободы и села только общее количество окладных дел и не входила в подробности распределения этих окладов между хамовниками и деловицами. Слободы и села сами уже разверстывали оклады по дворам и по людям, смотря потому, кто и какую долю общего земельного надела пользовался и какую долю хамовного дела работал. В этом случае хамовному населению была предоставлена полная свобода. Из окладных дел всякий брал себе то, что умел сработать. Каждое дело при разверстке дробилось не только на половины и четверти, но даже и осмухи, и двор — семья мог сидеть и на полуторе деле, и на целом деле, и на трех четвертях, и на половине, и на четверти дела, и к тому еще даже и эту величину мог составлять из мелких долей различных дел, смотря по тому, кто что умел в семье работать. Так, бывали дворы или семьи, работавшие, напр., полдела с осмухою или пять осмушек: 3 осмушки дела прядитья двойных полотен, осмуха дела прядитья тройных полотен, осмуха прядитья двойных убрусов. Или: двор — на три осмухи прядет полотно двойное без четверти да на осмуху два убруса с четвертью двойных убрусов. Или двор — три чети дела: полдела ткалейна тройных полотен да четь прядитья двойных полотен; двор — целое дело: полдела прядитья тройных полотен, четь прядитья двойных полотен, четь швейная тонких убрусов; двор — целое дело: полдела прядитья тонких убрусов, четь прядитья тройных полотен, четь бралейна двойных столбцов. Таким образом каждый член семьи из женского племени избирал себе большую или меньшую долю того или другого дела и работал эту долю на годовой урок. «...»

Нам неизвестно время первоначального заведения хамовных слобод и сел. Знаем только, что московские слободы существовали уже в половине XVI ст., именно за Москвою-рекою, где в Кадашове в это время царем Иваном Вас. была построена церковь Козмы и Дамьяна, которая и содержалась на государственной руге. В той же местности царица Анастасия Романовна устроила еще слободу *белильную*, которая по церкви именовалась *Екатерининскою* (теперь цер-

ковь св. Екатерины на Ордынке) и поставляла в царицыну казну белевую пряжу. Впоследствии эта слобода принадлежала царице Ирине Федоровне, а после Московской разрухи (Смутное время) по приказу иноки Марфы Ив. в 1626 г. ее стали снова собирать со льготою на три года, из вольных охочих людей.«...»

Хамовные слободы, хотя и находились в ведомстве Постельного Приказа цариц, и были подсудны только этому Приказу, но во внутренних своих делах управлялись по старым обычаям собственными выборными людьми, мирским сходом или советом и старостою с целовальниками и десятскими, которые все выбирались обыкновенно на год. Эти служащие лица утверждались в своих должностях особою записью, *выбором*, где прописывались и обоюдные обязанности. В Кадашевской хамовной слободе в конце XVII ст. по случаю большого населения (больше 2000 дворов) выбирали двоих старост, 4 целовальников, 16 десятских и дьячка (писаря).«...» В ярославских селах в выборных службах бывало: староста, три целовальника, два земские дьяка, два доводчика.

Центральною местностью слободы в деловом отношении был Хамовный двор, на котором находилось несколько хамовных изб, просторных и светлых, с большими окнами, для производства различных работ, ткалейных, бралейных и швейных. Сюда-то и собирались каждый рабочий день хамовники и деловицы, садились за станы, ткали полотна, брали скатерти и убрусы и шили в пальцах. По дворам они работали только не очень сложные дела, по преимуществу пряжные или прядить и вообще такие, которые не требовали обширного помещения.

В Кадашевской слободе на Хамовном же дворе жила в особом помещении кадашевская приказная боярыня и стоял особый анбар с хамовною всякою казною, где хранился лен нечесаный, очесаный кужель, счески и т.п.; также берда простые и берда с набилками, что берут посольские скатерти, берда наметочные полотенные, утиральничные, убрусные, нитные и пр. На том же дворе находилась и слободская *схожая* изба, в которой слобожане собирались на мирские советы.«...»

Управлявшая хамовным делом слободы кадашевская боярыня заботилась главным образом о том, чтобы белая казна во всех своих видах работалась как возможно лучше, чище, отчетливее. Когда она доставляла царице казну в наиболее исправном виде, то обыкновенно получала в награду портище сукна на опашень. Точно так же хамовники и деловицы, особенно отличавшиеся в искусстве своего рукоделья, тоже получали от царицы награду, а их рукоделье посылалось на хамовный двор, как образец для работы с приказом, делали точь-в-точь по такому образцу. Время от времени являлись большие искусники в том или другом роде хамовного рукоделья.«...»

1



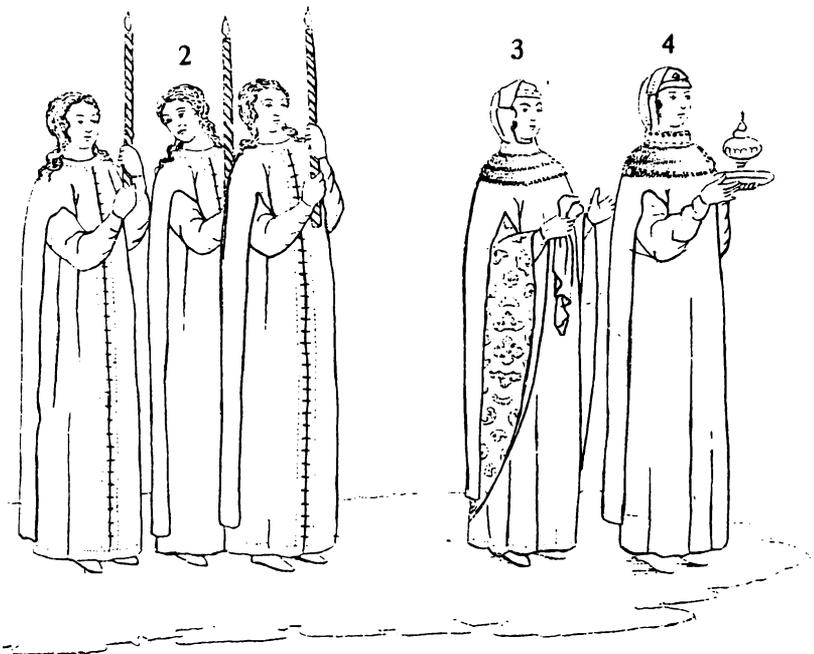
7



8



I

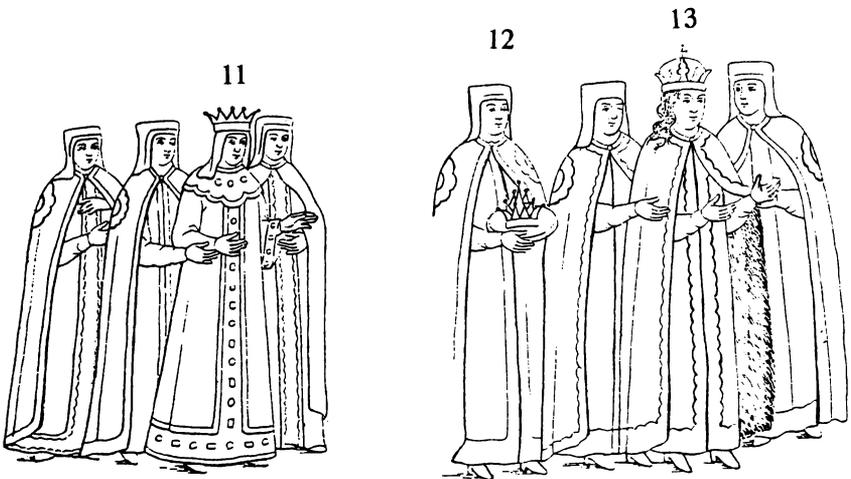


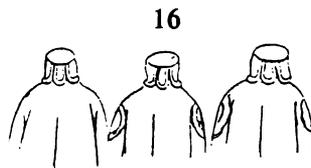
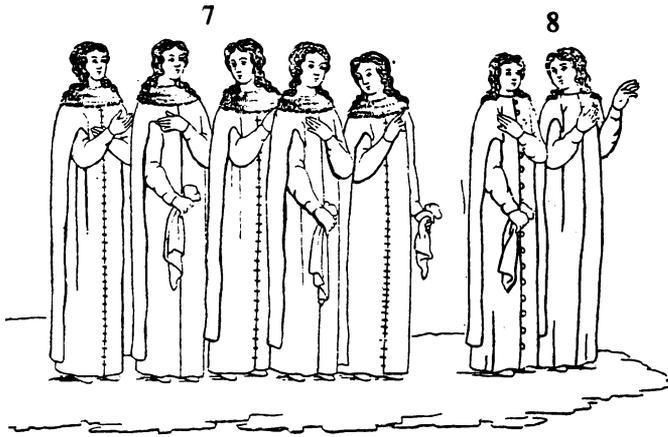
9

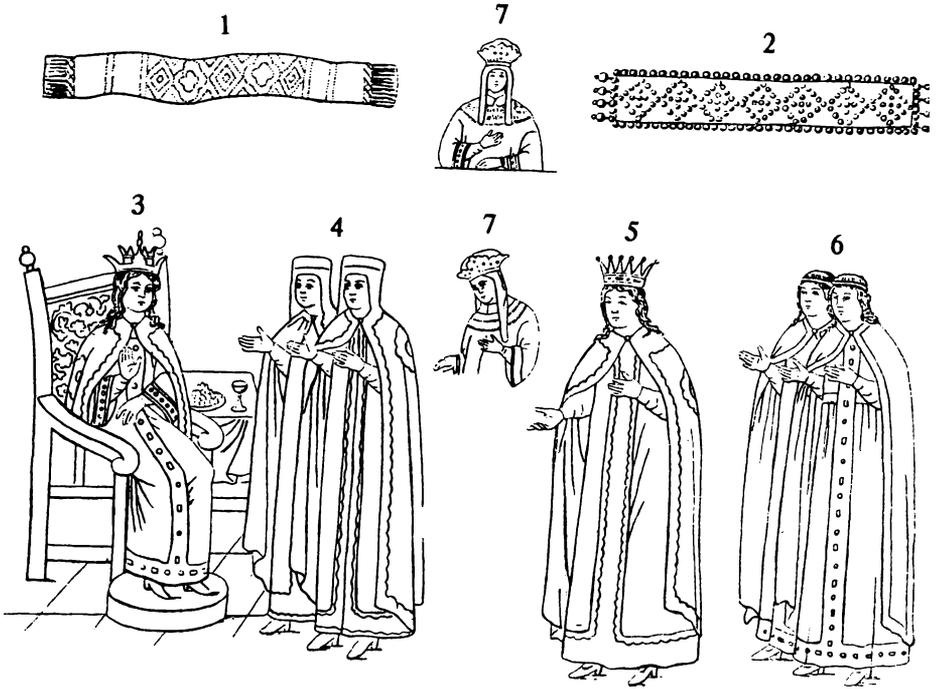


10









IV

1



2



3



4

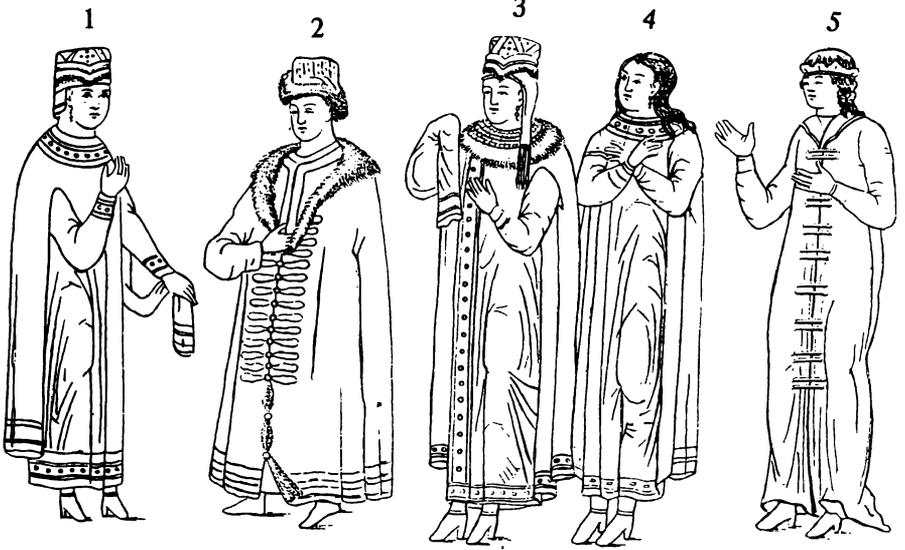


5

6

7





1



3



2



4



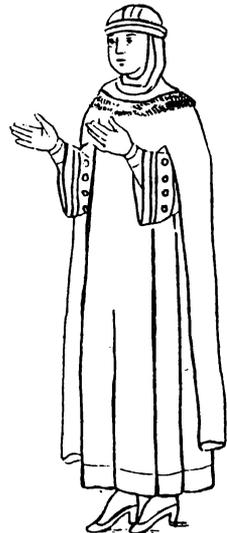
5

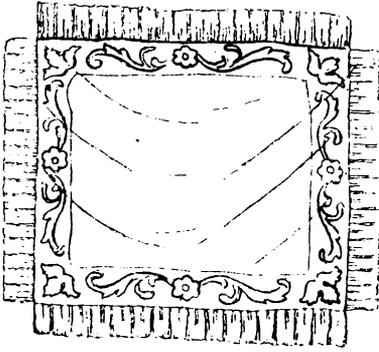


6



7





2



3



4



5



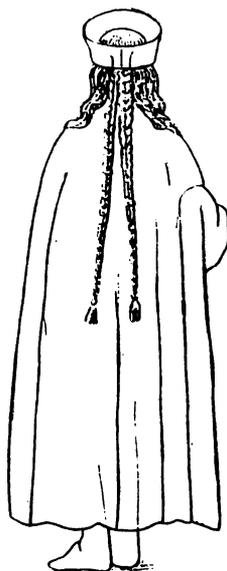
6



1



2



3



4



5



ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ

- I 1. Царица Марья Ильична шествует в монастырь к панихиде; на ней убрус с волосником, или ошивкой, ожерелье жемчужное, ожерелье бобровое, шубка золотная накладная, в руках жезл и ширинка; 2. Сенные боярышни в телогреях; 3. Крайчая Анна Михайлова Вельяминова, на ней убрус с волосником, бобровое ожерелье, летник с вошвами, в руке ширинка; 4. Верховая боярыня, несущая канун, кутью; на ней убрус с волосником, жемчужное и бобровое ожерелья, шубка накладная; 5. Верховая боярыня в сопровождении; на ней убрус с волосником, телогрея, в руке ширинка; 6. Сенная боярышня, несущая над царичею солнечник, или зонтик; на ней телогрея; 7. Царица Евдокия кушает во время своей свадьбы в избушке; на ней венец, убрус, царская шубка — платно; 8,9. Новобрачные царь с царицею шествуют к сенику; на царице тот же наряд; 10. Боярыни в каптурах, шубках и телогреях.
- II 1. Царица Марья Ил. шествует в большой праздник на богомолье в церковь; на ней коруна, убрус, ожерелья жемчужное и бобровое, шубка золотная накладная, в руке ширинка; 2. Девица, несущая маленького царевича; на ней телогрея; 3—5. Три старших царевны; на них венцы, бобровые ожерелья, золотые шубки, в руках у старшей четки, у младшей — ширинки; 6. Сенные боярышни, поддерживающие большой солнечник (балдахин); на них телогреи; 7—8. Сенные боярышни, в предшестве; на них бобровые ожерелья, телогреи, в руках ширинки; 9—10. Крайчая и верховые боярыни в сопровождении; на них убрусы с волосниками, бобровые ожерелья, летники с вошвами, в руках ширинки; 11. Царица Евдокия с царевною шествует к брачному венцу; на ней венец с убрусом и царская шубка — платно. Боярыни поддерживают ее под руки; на них телогреи и шубки; 12—13. Царица Евдокия с царевною шествует в Грановитую палату на брачное место; на ней коруна, телогрея, теплая шубка; 12. Боярыня, несущая на блюде кичу; 14. Царица Евдокия в своих хоромх, принимающая по случаю брака благословение патриарха и поздравление от властей и бояр. На ней венец с убрусом, шубка — платно, в руке ширинка; 15. Царица Евдокия, входящая в Успенский собор к брачному венцу; на ней кика, убрус, царская шубка — платно; 16. Боярыни, сидящие за столом в каптурах и телогреях.
- III 1. Убрус; 2. Жемчужное ожерелье; 3. Царица Евдокия в наряде избранной невесты (царевны), ожидающая до времени в своих хоромх выхода на свадебное место; на ней венец с города, телогрея и шубка — платно; 4. Боярыни свахи; 5. Царица Евдокия, нареченная царевною, введена в царские хоромы; на ней венец, телогрея и шубка; 6. Девицы-боярышни, сопровождающие нареченную царевну; на них перевязки, телогреи и шубки; 7. Наряд невесты нач. XVII ст.: кика, убрус, ожерелья жемчужное и бобровое, шубка — платно.
- IV 1. Великая княгиня Елена Глинских в убрусе, ожерельях и в шубке — платне; 2. Одежда XVI ст.: волосник, убрус, телогрея; 3. Боярыни, сопровождающие вел. кн. Елену, в шляпах и убрусах; 4. Они же в убрусах; 5. Шествие великой инокини Марфы Ив. во вдовьем старицком наряде; 6. Сопровождающие ее женщины в убрусах, распашниках, телогреях, башмаках; 7. Девицы в шапках, ожерельях жемчужных, верхней одежде — опашнях.

V Наряд женский: 1. Шапка, подзатылень, серьги, шубка; 2. Дворянка в шапке, телогрее и верхней одежде — шубе; 3. Шапка, убрус, серьги, ожерелья жемчужное и бобровое, телогрея, чеботы.

Наряд девичий: 4. Шубка, чеботы; 5. Венец, телогрея.

VI 1. Каптур, из-под него видна часть ошивки; 2. Наряд девичий: шапка, кика с рясами, ожерелье, шапка и коса; 3. Убрус; 4. Шляпа, убрус, бобровое ожерелье; 5. Боярыня, потчующая гостей; на ней шапка, ожерелье, летник с вошвами, в руках чарка; 6. Девица в сорочке с поясом; 7. Женщина в наряде XVI ст.: волоснике с убрусом, бобровом ожерелье, шубке, чеботах.

VII 1. Ширинка; 2. Зимний наряд девиц-дворянок: шапка лисья, телогрея; 3. Девичья повязка; 4. Наряд боярышен: шапка лисья, ожерелья жемчужное и бобровое, шубка; 5. Девица посадская; на ней шапка из медвежьего меха, шубка или сарафан; 6. Девица в сорочке, верхней и нижней с поясом.

VIII 1. Посадская девица в кике и кафтане; 2. Девичья повязка с волосным убрусом в две косы; 3. Боярыня в шапке и в опашне; 4. Девица в сорочке с поясом; 5. Женщина посадская в охабне и фате.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Г Л А В А 1. ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ДОПЕТРОВСКОМ ОБЩЕСТВЕ.	5
<p>Общие черты положения женской личности в допетровском обществе. Суждение Котошихина и суждения исследователей-идилликов. Каково было древнерусское общество. Его идеалы. Коренное его начало. Родовой быт. Идиллия семейно-общинного быта. Смысл рода и смысл общины. Родовая идея есть идея родительской воли-опеки. Достоинством личности было "отечество". Местничество и вече — суть выражения древнерусской общности. Существенный ее характер. Родовая идея — воспитательница русской личности. Домострой — школа личного развития. В чем полагалась самостоятельность личности. Основные черты характера русской личности: господарство воли и детство воли. Общая характеристика допетровского общества.</p>	
Г Л А В А 2. ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ.	41
<p>Языческое время; княгиня Ольга. Влияние византийской культуры. Постнический идеал. Происхождение терема. Удаление женской личности от общества. Идеал постницы. Боярыня Морозова. Царевна Софья и значение царского девичьего терема в конце XVII ст.</p>	
Г Л А В А 3. ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛОЖЕНИИ ЦАРИЦЫ.	97
<p>Особенные условия этого положения. Причины, которыми вызваны такие условия. Государевы браки. История государевых невест. Призвание царицыной личности.</p>	
Г Л А В А 4. ОБРЯД ЦАРИЦЫНОЙ ЖИЗНИ, КОМНАТНЫЙ И ВЫХОДНОЙ.	138
<p>Замкнутость царицына быта. Повседневное молитвенное правило. Молитва и милостыня как общая стихия царицыной жизни: богомольные выходы и выезды, повседневные и годовые. Приемы праздничные. Приезжие боярыни. Столы праздничные и семейные. Особые торжественные приемы. Приемы повседневные. Очерк комнатной повседневной царицыной жизни. Выезды для гулянья.</p>	
Г Л А В А 5. ЦАРИЦЫНЫ НАРЯДЫ, УБОРЫ И ОДЕЖДА.....	171
<p>Общий обзор. Головной убор, девичий и женский. Золотые уборы или ларечная кузнь: золото, сажень, низанье. Одежда. Обувь. Мастерская палата. Светлица и ее рукоделья. Белая казна.</p>	
ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ	240

Забелин И.Е.

3-12 **Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. —**
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. — 246 с.
ISBN 5—02—029796—8.

Настоящее переиздание книги почетного члена Петербургской академии наук И.Е. Забелина посвящено анализу женской личности и положению женщин, в том числе цариц, в допетровское время. Рассматривается история государственных невест и браков. Описываются нравы царского двора, образ жизни русских цариц, наряды, приемы, забавы.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

0503020200—065

3 ----- КБ—44—65—1991

042(02)—92

ББК 63.3 (2) 4

Научное издание

Забелин Иван Егорович

**ДОМАШНИЙ БЫТ
РУССКИХ ЦАРИЦ
в XVI и XVII столетиях**

Редактор издательства
Л.В. Островская

Художник
В.И. Шумаков

Технический редактор
Л.П. Минеева

Корректоры
С.М. Погудина, Л.А. Шербакова

Оператор набора
Т.Р. Пантюхина

Оператор электронной верстки
О.П. Хмелева

ИБ № 42649

Сдано в набор 23.04.91. Подписано к печати 18.03.92. Формат 60x90 ¹/₁₆.
Гарнитура таймс. Бумага типографская. Офсетная печать. Усл. печ. л. 16.
Усл. кр.-отт. 16. Уч. изд. л. 19,3. Тираж 60000 экз. Заказ № 752. С065.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука", Сибирское
отделение. 630099 Новосибирск, ул. Советская, 18.

Оригинал-макет изготовлен на настольной издательской системе.

4-я типография издательства "Наука". 630077 Новосибирск,
ул. Станиславского, 25. .



Любимые, нужные книги ищут, ждут, выбирают, а купив, дорожат ими, как сокровищем. Именно поэтому наше товарищество основным направлением деятельности которого является книжная торговля, называется "Тезаурус", что в переводе с греческого значит сокровище.

Мы стремимся к тому, чтобы наш книжный салон был сокровищницей книг, отвечающих самым разным интересам и вкусам читателей. У нас можно купить издаваемые в городах России, Украины, Прибалтики, республик Средней Азии художественную литературу, словари, справочники и др.

Мы предлагаем книжную продукцию по ценам ниже рыночных.

Мы не только покупаем и продаем книги, но и участвуем в их издании.

Мы будем рады новым деловым контактам с издателями и книготоргующими организациями.

*Адрес книжного салона "Тезаурус":
630075, Новосибирск, ул. Народная, 8.
Контактный телефон 76-99-82.
Факс 76-99-82.*

АОЗТ "ТРИНА"

частное издательство

В мае 1992 г. выпускает в свет книгу экстрасенса Ирины Васильевой "Сам себе целитель", тираж 100 тыс. экз.; фантастический роман Клиффорда Саймака "Заповедник гоблинов", тираж 50 тыс. экз.

Принимаются заказы от частных лиц, организаций и предприятий на издание книг, буклетов, рекламы, брошюр, визитных карточек.

АОЗТ "ТРИНА" ведет коммерческие операции, реализует книги.

*Заявки принимаются по телефону:
22-32-88 Воробьева Наталья Эммануиловна*

Новое поколение выбирает АМЕРИКУ!

На постоянное место жительства и работу за океаном можете не рассчитывать — конкурентов многовато, а вот получить образование в США — это реальность. С таким багажом бедно проживете и в России.

Вы не знаете, как и куда следует писать, где взять доллары?

В брошюре “ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ В США“ адреса 67 американских университетов и 17 фондов, которые берут на себя финансирование иностранных студентов. Эта же брошюра подскажет, как правильно оформить бумаги.

Если не откладывать дела в долгий ящик, уже следующий учебный сезон вы вполне могли бы начать в стране небоскребов. Кстати, автор брошюры Андрей Лобес уже преодолел тот бумаготворческий процесс, который вам предстоит, и с сентября нынешнего года начал отсчет четырехлетнего обучения за океаном.

Приобрести брошюру достаточно просто. Надо перечислить три рубля на счет №001609721 в коммерческом банке “Центральный“ МФО 22497, выслать квитанцию о переводе денег по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92, а/я 48 и четко указать обратный адрес.

Максимум через две недели вы начнете свое первое письмо: “*Dear Sir or Madame ...*“





**Акционерное общество
открытого типа
"ДОМ"**

Оптовые поставки

- строительного оборудования
- транспорта
- офисной мебели
- товаров народного потребления
- продуктов питания

Строительство коттеджей

Заказы направляйте:

630051 Новосибирск, ул. Волочаевская, ба.

Контактный телефон:

(383-2) 77-83-02

Факс:

(383-2) 77-05-16

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА “НАУКА”

выпускает в 1992 г. книги:

Островский И. В. Столыпин и его время.

В монографии рассматривается последняя в истории дореволюционной России “революция сверху” — социально-экономические и политические преобразования П.А. Столыпина. Автор отказался от устоявшейся в историографии оценки этих преобразований как не отвечающих исторической логике развития России. Показано столкновение реформаторской и консервативной линий во внутренней политике царского правительства в начале XX в. Выделяются сюжеты, изучение которых помогает извлечь исторические уроки из опыта столыпинских реформ.

АНГЛО-РУССКИЙ, РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ

НОВОСИБИРСК: НАУКА

1992 (III квартал)

Внеплановое издание. Цена договорная

Словарь охватывает 18 тыс. наиболее употребительных слов и выражений литературного и обиходного языка. Публикуется приложение — таблицы неправильных глаголов и метрических схем измерений.

Издание рассчитано на учащихся средних школ и гимназий, студентов вузов и колледжей, коммерсантов и всех тех, кто изучает английский язык или постоянно использует его в своей деятельности.

Заявки направлять по адресу:

630099, Новосибирск, Советская, 18

СО издательства "Наука"

Редакция исторической и филологической литературы

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ, РУССКО-НЕМЕЦКИЙ СЛОВАРЬ

НОВОСИБИРСК: НАУКА,

1992 (III квартал)

Внеплановое издание. Цена договорная.

Словарь включает 8600 немецких и 10 800 русских наиболее употребительных слов обиходного языка, ряд фразеологизмов, а также список географических названий.

Объединение двух частей (немецко-русской и русско-немецкой) в одной книге делает ее удобной для читателя.

Словарь рассчитан на учащихся средних школ и гимназий, студентов вузов и колледжей, коммерсантов.

Заказы направлять по адресу:

630099, Новосибирск, ул. Советская, 18

СО издательства "Наука"

Редакция исторической и филологической литературы

**ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЙ,
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЛОВАРЬ**

НОВОСИБИРСК: НАУКА,

1992 (IV квартал)

Издание внеплановое. Цена договорная.

Словарь содержит 23 тысячи слов: 12 тыс. — во французской, 11 тыс. — в русской части. Включает наиболее употребительные слова литературного и разговорного языка, идиоматические выражения. В конце каждой части помещены краткий грамматический материал (глаголы, синонимы и т.д.), а также географические названия.

Словарь рассчитан на широкий круг читателей.

Заявки направлять по адресу:

630099, Новосибирск, ул. Советская, 18

СО издательство "Наука"

Редакция исторической и филологической литературы

МАКАРЕНКО А.А.

СИБИРСКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

13 печ. л.

Книга представляет собой переиздание работы, увидевшей свет в 1913 году. В ней рассказывается о русских народных праздниках, о понимании разными слоями населения праздников церковных, о значении календаря в трудовой и духовной жизни крестьян, о сходстве и различии сибирского народного календаря и великорусского. В книге приводится подробный перечень праздников, дается описание связанных с ними примет и ритуалов. Издание поможет земледельцам ориентироваться в сроках сельскохозяйственных работ.

Книга предназначена для специалистов в области сельского хозяйства, этнографов и для всех интересующихся культурой русского населения Сибири.

Ш е л е г и н а О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII — первая половина XIX в.).

Монография посвящена комплексному историко-этнографическому изучению материальной культуры (жилые и хозяйственные постройки, одежда) русских крестьян Западной Сибири. В научный оборот вводятся обширные, большей частью не известные ранее архивные материалы, используется большое число загадок, пословиц, песен, отражающих состояние материальной культуры крестьян. Впервые предпринимается количественный анализ: разработана методика обработки на ЭВМ массовых архивных источников, содержащих сведения о материальной культуре русских крестьян Сибири, применены математико-статистические методы.

В книге приведены иллюстрации, приложение, содержащее данные примерно 4 тыс. элементов народного костюма.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!

Книги можно предварительно заказать в магазинах Всесоюзной фирмы "Академкнига", в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2, магазин "Книга — почтой" Всесоюзной фирмы "Академкнига"; 252208 Киев, проспект Правды, 80а, магазин "Книга — почтой"; 197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7, магазин "Книга — почтой" Северо-Западной конторы "Академкнига" или в ближайший магазин "Академкнига", имеющий отдел "Книга — почтой".

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 ("Книга — почтой")

370001 Баку, ул. Коммунистическая, 51 ("Книга — почтой")

720001 Бишкек, бульвар Дзержинского, 42 ("Книга — почтой")

232600 Вильнюс, ул. Университето, 4 ("Книга — почтой")

690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 ("Книга — почтой")

320093 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 ("Книга — почтой")

734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 ("Книга — почтой")

620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга — почтой")

375002 Ереван, ул. Туманяна, 31

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 ("Книга — почтой")

420043 Казань, ул. Достоевского, 53 ("Книга — почтой")

252030 Киев, ул. Ленина, 42

252142 Киев, проспект Вернадского, 79

252025 Киев, ул. Осипенко, 17

- 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148 (“Книга — почтой”)
- 343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 (“Книга — почтой”)
- 660049 Красноярск, проспект Мира, 84
- 220012 Минск, Ленинский проспект, 72 (“Книга — почтой”)
- 103009 Москва, ул. Тверская, 19а
- 117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7
- 630076 Новосибирск, Красный проспект, 51
- 630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 (“Книга — почтой”)
- 142284 Протвино Московской обл., ул. Победы, 8
- 142292 Пушкино Московской обл., МР, “В”, 1 (“Книга — почтой”)
- 443002 Самара, проспект Ленина, 2 (“Книга — почтой”)
- 191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57
- 190164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2
- 194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4
- 700000 Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1
- 700029 Ташкент, ул. Ленина, 73
- 700070 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43
- 700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 (“Книга — почтой”)
- 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18
- 450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 (“Книга — почтой”)
- 450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49
- 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 (“Книга — почтой”)

